

**БОРИС  
КРЯЧКО**

**ИЗБРАННАЯ ПРОЗА**

**VE**

**Vene Entsüklopeedia**  
**Tallinn**  
**2000**



**БОРИС  
КРЯЧКО**

## **ИЗБРАННАЯ ПРОЗА**

**Сцены из античной жизни  
роман**

**Битые собаки  
Во саду ли, в огороде  
Корни  
повести**

**рассказы  
письма**

**VE  
Таллинн  
2000**

**Борис Крячко**  
**Избранная проза**

Редактор-составитель,  
автор вступительной статьи, комментариев  
Людмила Глушковская

Технический редактор-оформитель  
Олег Костанди

**Благодарим**  
**Фонд Eesti Kultuurkapital**  
**за финансовую поддержку**

ISBN 9985-60-834-8

© Eesti Kultuurikeskus Vene Entsüklopeedia -  
Эстонский культурный центр "Русская энциклопедия"  
© Журнал "Вышгород" (Таллинн)

## ОБОРВАННАЯ СЮИТА

“Избранное” открывается автобиографической повестью “Корни”. И все-таки автор исповедывал родство не только (и не столько) по крови. Он был - и остается - абсолютно “своевременным” писателем, преподносящим нам реалии XX века в их классической, рельефной, античной наготе.

В первом, “пушкинском”, выпуске журнала “Вышгород” в 1995 году мы, сведя личное знакомство с Мастером, сразу же опубликовали его завораживающий азиатской мудростью рассказ “Сказал стихами”. С радостью предоставили страницы для повести Бориса Крячко “Во саду ли, в огороде” (“Вышгород” 3,96). И совсем не думали, что будем давать его большой роман - с продолжением чуть ли не в каждом номере. Но не устояли перед магией Слова Бориса Крячко, который неожиданно одушевляет такие одеревеневшие, такие “отесанные” факты истории, придавая современной “античности” узнаваемое, интимно-индивидуальное выражение...

В “Сценах”, которые он “ставил” в журнале “Вышгород” с первого номера 1997 года, - подлинное действующее лицо - ссыльный после лагерей, известный всему ученому миру археолог (поэтому и гости к нему “заезживают” в его убогое жилище из Франции, да из Эстонии, да такие, как *неизвестный* и прочие художники). И вот этот Сергей Николаевич Юренев живет в среднеазиатском городе и занимается необычными “раскопками”: он нашел послевоенное заброшенное захоронение солдат, умиравших от ран в местном госпитале, и восстанавливает их имена, восстанавливает исторический пласт человеческой памяти. Одна-

ко неистощимая на выдумки советская пропаганда претворяет этот гражданский подвиг в Мемориал-обманку с фальшивыми надгробиями и выдуманными именами... А гид-переводчик Володя Киселёв - alter ego автора - водит туда иностранных туристов... И однажды открывает им глаза на всю эту “мертвечину”! Что властями предрежащими не прощается. Ибо всё-всё-всё, и память наша - как определение себя по отношению к прошлому, отечественному ли, мировой ли истории - всё подлежало “программной заданности”. Автор “Сцен из античной жизни” эту “заданность” опрокидывает. “Несостоявшийся якобинец”, он от любви к революциям и обожания робеспьеров переметнулся на сторону уже взошедшего на эшафот Людовика Шестнадцатого, потому что тот спросил - и это было его последней заботой, - “нет ли каких вестей о Лаперузе”. Вестей об адмирале не было. “Король скорбно вздохнул и бестрепетно вложил голову в деревянный ошейник. Я запомнил его слова и долго над ними думал...”

Завещанием звучат строки: “Казалось бы, какая ему разница, какое дело до кого б то ни было в последнюю минуту жизни, а вот поди ж ты! Не всё, стало быть, со смертью кончается, кое-что и остается. Тут не только сочувствие-соучастие, но и смена ориентиров...”

Он верил в высокое предназначение литературы, в то, что “никогда телевизор не заменит книгу”.

Оставалось всего четыре дня жизни. В письме 26 октября 1998 года Борис Юлианович написал нам в Таллинн из Пярну, где он жил и занимался писательским трудом четверть века: “Меня постиг очередной сердечный приступ и я слег в больницу, откуда вышел буквально на днях”.

И тут же снова взялся за работу. Заканчивал - перекраивал, переписывал, перепечатывал - роман “Сцены из античной жизни”. Заканчивал, “возвращаясь” из Пярну в далекую жаркую Бухару, в те давние-давние годы... И что он чувствовал?.. Об этом можно судить по февральскому письму того же 1998 года: “Не так давно мне сообщили, что в Бухаре теперь есть улица его (Юренева - Л.Г.) имени, чему я бесконечно рад”. Мы решили тогда сделать Борису Юлиановичу сюрприз и в ближайшем номере журнала очередную “сцену” предварили, повторив напечатанный в начале романа сонет Сергея Юренева: “Ах, это вы, великий Дон-Кихот, / Я ваш слуга, целую ваши руки”. (Ингрид, жена Бориса Крячко, говорила, что в больнице - уже после двух

инфарктов - он изучал испанский, хотел в оригинале прочесть “Дон Кихота”!)

С нетерпением ожидая “продолжений”, мы прочитывали их взахлёб, - так это чудно, и так слову весело у него, и так смех тебя разбирает... А потом комок застревает в горле и глаза застилает...

И вот - последние его строки. Точка.

“Одну из своих глав в “Сценах” я нашел излишней и выбросил. Она слишком ретроспективна и отвлекает от современной конкретики. Называлась она “На круги своя”, но теперь ее уже нет и осталась распоследняя глава: “Стихи непрофессиональных поэтов о городе, в котором проходила большая часть описанных событий”. Это будет немного в духе сюиты Чайковского “Осень”, которая кончается вдруг, и недосказано, - да будет так”.

Вместе с заключительными главами он прислал для журнала рассказ “Движение масс”, посвященный Тамаре Павловне Милутиной, которую называл матушкой. Помню, он читал именно эти страницы вслух у нее дома, в Тарту. И как мы все, слушатели, уговаривали его немедленно рассказ печатать. Но он любил “отшлифовывать”, выпячивая под ударами нелепые, уродливые зазубрины жизни. Потому что относился к этой жизни с пронзительной нежностью...

Блистательный филолог, знаток языков, гид-переводчик; интеллеktуал и чернорабочий-котельщик; одновременно “адмирал, король и несостоявшийся яacobинец” - он испытал себя на земле от края до края: Средняя Азия, Дальний Восток, Камчатка, Балтика. Ему шел 69-й год (10.09.1930, Красная Яруга Курской области - 30.10.1998, Пярну, Эстония). В наследство он оставил свои произведения в журналах “Радуга”, “Таллинн”, “Грани”, “Вышгород”. В России же опубликовался при жизни только в журнале “Охота и охотничье хозяйство”, спасибо за то. Многие по разным причинам в условиях жесткой советской идеологической цензуры отвергались, “отлеживались” в столе, до сих пор не было напечатано, не поспело за уходящим часом...

Когда-то Б.Ю. написал замечательную повесть “Битые собаки”, включенную в одноименный сборник рассказов (Таллинн, “Ээсти раамат”, 1989). Битые собаки...

На пярнуском кладбище, где нашел свой последний приют один из самых выдающихся (со временем его творчество оценится по заслугам) русских писателей Эстонии, - мы прощались там с Борисом Юлиановичем 8 ноября, - какой-то незнакомец подо-

шел к его сыновьям: Владимир (преподаватель) приехал из Волжска, Александр (скульптор) - из Москвы. Незнакомец спросил их.

- Он был счастливым человеком?

- Счастливым. Он оставил людям свои книги.

- Так он писатель... И какие он оставил книги?

- У него есть повесть "Битые собаки"...

- Битые собаки?.. В переносном смысле?..

- В прямом... Повесть о собаках...

- Да нет, - сказал незнакомец, - так по-русски называют много страдавших, битых жизнью людей... Битые собаки... Битая собака...

Это был девятый день. И если душа его была с нами, ей понравился этот диалог, эта сцена. Она сродни его размышлениям о счастье, о доблести, о славе...

В сентябрьском письме от Бориса Юлиановича была нам на долгую память фотография: "Русский Б. Крячко и немец Рикки"... Он преданно любил животных, они платили ему тем же...

Недосказано и больно. От нашей беспомощности перед такими "окончаниями" и вины перед ним, живым...

*Людмила ГЛУШКОВСКАЯ*

## КОРНИ

**Б**абушка встает раньше всех, часов в пять. Смочив ладони из кухонного рукомоя, она разглаживает лицо, вытирается, причесывает волосы, и все это быстро-быстро. Еще быстрее мотается по стенам и потолку ее тень, и я по ней догадываюсь, что бабушка делает. Ходит она мелко и неслышно, боится нас разбудить, бесшумно скользит-катается, не споткнется, не уронит, не прогремит. Покатавшись-посновав и не сменив ночной до пят полотняной сорочки, она вдруг останавливается, и тень тоже, - сейчас молиться будет. Делает она это вслух, отчетливо выговаривая слова, а когда они изо дня в день повторяются, запомнить их несложно. Я их вытвердил до одной, не загадывая наперед, сгодятся они мне когда-нибудь или нет.

Чередовались молитвы по порядку: "Отче наш", "Достойно", "Пресвятая Троица", а за ними начинался разговор с Богом: что было вчера, что будет сегодня, что - подай, Господи, от чего - оборони и помилуй. Слова всякий день были новые, трудно упомнить, разве что отдельные места: "Забыла Тебе вчера сказать, Господи" или "Это Ты, Господи, хорошо придумал, до ума довёл", а то еще "Бачишь, Господи, как я боялась, так и вышло", а дальше имена, имена, имена, разные пустяки бытειαкие, семейно-родовые нелады Богу в уши, чтоб разобрался хорошенько и до беды не доводил. Одна такая отсебятина запомнилась крепко и надолго.

Как-то она стала просить Бога, чтоб ее старшая дочь Таиска, моя, значит, тетка, не бросала мужа Ивана ради своей подруги Пашки, которая бессрамно похвально жить с Таиской лучше, чем муж с женой, людям на зависть, врагам на зло, - тут бабушкин голос звучал, как с пластинки: "Хиба ж цэ дило? Хиба ж цэ так треба, щоб ворогам та злыдням, а нэ дитям на радисть? Та звидкиля ж воны йих возьмуть, дитэй, баба вид бабы, чи що? А Ты, Божечко, усэ бачишь и ничего нэ робышь". И бабушка стала учить Бога, что делать и как: чтоб они обрыдли друг другу; чтоб их разрознить одну от другой подальше; Таиска нехай с Иваном живет, а

Пашку, розбышаку, пройдысвитку, бисову душу, выслать на край земли и пусть там, как знает.

Тетка Пашка мне и самому не нравилась. Она ловила меня за мотню и таскала, приговаривая: “Расти большой на радость маме”, а потом обижалась, что я шуток не понимаю. Дядя Иван звал ее “конь с яйцами”. Она точно была на мужика похожа, ходила враскачку, как грузчик, кривая на один глаз, в драке выбили, самогон жрала стаканами, выражалась позорно и папиросы курила, ну, мужик-мужиком из самых что ни есть наперед церкви отпетых. Был ли какой-нибудь прок в том, что я узнавал из бесед бабушки с Богом, трудно сказать, но с тех пор и до сих я совершенно не понимаю однополю любви, испытываю к ней чувство сильнейшего прещения и определенно знаю, кому я за эту неприязнь обязан. Что касается той молитвы, то она без внимания не осталась и была выполнена по существу нижайшего ходатайства, правда, не раньше, чем тетя Тая развелась с дядей Иваном и померли дедушка с бабушкой. После того Бог сманил Пашку большими заработками за полярный круг, где она среди суровой красоты Севера безвестно затерялась.

Вечерами бабушка норовила лечь пораньше и кратко прочитывала “Царю небесный” и “Богородица-Дева, радуйся” без каких-либо собеседований, - то ли стесняясь нас, то ли боясь надоест Богу. Мы с братом Алькой долго оставались некрещеными, - в те годы это было рискованно: попов за такие дела стреляли, кумовьев гнали взащей с работы, а родителей отправляли строить каналы. По признаку отношения к вере все в доме делилось на сознательных и несознательных. Дедушка и бабушка были, конечно, несознательными, остальные до одного сознавали, как надо отвечать, когда их о Боге спрашивают.

Дедушка молился иначе. Он подолгу мылся, брился, одевался, переключаясь с домашними, пока, наконец, не замарал перед Оплечным Спасом, как солдат перед фельдмаршалом по стойке “смирно”, и молча простаивал минут пять-семь, только в начале молитвы да в конце осенялся крестным знаменем и утвердительно кивал Богу головой. Зато он ходил в церковь, приносил просфорку, торжественно разрезал на восьмерых и каждого одаривал. На Пасху он шел стоять всю ночь и возвращался часа в четыре ночи. Войдя в дом он так громко возвещал “Христос Воскресе”, что все просыпались, заспанными голосами вразнобой отвечали “Воистину”, и вновь становилось тихо, как в валенке, а я до того, как уснуть, успевал подумать, что утром бу-

дет красивый стол и на нем полно всякой снеди. Будить домашних в ночь под Пасху было чем-то вроде семейного обычая; наверное так же делали и прадед, которого я не захватил, и другие деды, имена которых мне внушали до седьмого по счету, а возможно, и те, кого я даже вовсе знать не обязан.

У них, гляди, и жизнь прошла, как у дедушки с бабушкой: в одном доме, в одной кровати, под одним одеялом. Я бы и сам так не прочь, да взять негде; люди переменялись, общегитие первой семьи, общественное главней личного, - сам этого не миновал. У первой моей жены была тяжелая рука и бойцовский норов; она неделями молчала, как партизан на допросе, а дралась - я по сей день рубцы во рту языком пользую. Вторая шикарно материлась и до того любила личную жизнь, что и клялась не заикалась, и врала недорого брала, а имущество всегда за теми, кто злей, наглей, лживей и оскалистей. Сперва я оставил ложе, а следом и территорию, и это было так же натурально, как купи козу и продай козу. Я, разумеется, ничего не забыл, но свадебный пирог памятен мне и значим не больше, чем прием в пионеры или членство в МОПРе, а вот расторжение брачных уз запомнилось, как выздоровление после тяжелой и продолжительной болезни.

Мой личный опыт. Самое ценное достояние. Трудно наживать, легко пользоваться. К нему я в первую очередь обращаюсь, и лишь когда его не хватает, прибегаю к истории, философии, искусству и литературе, где в поколениях обобщены бесчисленные множества эмпирических рядов, серий и циклов,двигающих общественную мысль. Это значит, что я ставлю личное выше общественного, а всякую отдельную жизнь и свою тоже понимаю как частный эксперимент или, если угодно, первичное накопление капитала. Первичность личного опыта и вторичность общественного для меня так же несомненна, как народная мудрость: всякий баран за свою ляжку висит. Еще лучше об этом сказал андреевский цыган, приговоренный за разбой к повешению. "Вы уж, ваше благородие, - просит он жандармского офицера, - мыла на удавочку не пожалейте". Офицер ему: - "Не извольте беспокоиться". "Это как же мне-то не беспокоиться, - возражает цыган. - Вешать-то будут меня, а не вас". Абсолютно прав цыган. Именно так: вешать будут меня, а не Владимира Ильича.

Мне было лет пятнадцать, когда я неожиданно узнал, что бабушку зовут Александра Аникиевна. Новость потрясла меня от макушки до пяток; я долго приходил в себя и не мог

сообразить, зачем ей это надо. Дедушка - другой разговор. Он фельдшер, его в станице знают и кличут - Антон Маркович, это понятно, а бабушке что за нужда? Бабушка всегда бабушка, по имени-отчеству на моем слуху ее никто не называл. Дедушка называет ее "стара", она его - "старый", родители зовут ее "мамо", родство кто как: тётка, сваха, крёстная, но чтобы по паспорту, - я извиняюсь, чего нет, того нет.

Домашнее мое воспитание, насколько могу судить, проходило в старорежимном укладе на кратком поводке запретов и разрешений по всякому пустяку, примерно, как "цоб" и "цобё", когда волов ярмовых вправо или влево правят без каких-либо объяснений, - почему. Иногда объяснения прилагались, но меня не устраивали.

- Не бей тараканов, - говорит бабушка. - Тараканы к дням.

А я и не знал! Лишь теперь до меня доходит, отчего они так бедно живут да еще в чужом доме по улице Лев Толстой, мне их жаль и я думаю: эх, тараканов бы!

- Не свисти в хате, - говорит бабушка, забыв, чему меня только что учила. - Тараканы заведутся, отбою не будет.

- Ну и пусть, - отвечаю. - Денег зато будет навалом. Дом новый купим, велосипед. Сад разведем. Разве плохо?

Некоторое время она молчит и раздумывает, но заподозрив неладное, грозит сказать дедушке, что я ее не слушаю. А у дедушки разговор строже, последовательней и с прогнозом: "Если ты так-то и так-то, я тебе то-то и то-то", потому что серьезный человек, с ним шутки через раз проходят.

- Если у тебя будет друг лях или грузин, - говорит он в подходящий для воспитания момент, - и ты приведешь его домой, я вас обоих выгону. Их и тато не любили.

Ну, с поляками все ясно. У него в синодике целая толпа заупокойников и среди них Северин, "убиенный ляхами под Берестечком". Имя, конечно, толковое, при таком имени с любой девчонкой можно познакомиться, а кто такой, неизвестно. Дедушка тоже, поди, не в курсе; мало ли родства, кто жил, кто помер, записать - не вещь, а запоминать - голова не резиновая, да и кому это надо? И дедушка не знает, потому как незачем.

- Знаю, - говорит он вопреки ожиданиям. - Хорошо знаю. Наша порода, наш корень, как не знать? Мне в тринадцатом колене, тебе в пятнадцатом, - чего тут непонятно?

По моим догадкам, это он из-за Северина Пятнадцатого поляков на дух не переносит, зовет по старинке ляхами и,

когда сердится, обязательно их затронет: лядская вера, скажет, лядская душа, кому на ляд нужно... А за что грузин не любит, трудно придумать: и причин не видно, и вера православная, а получается вроде того: и ему не ко двору, и мне под страхом расправы заказано.

- А еврея? - спрашиваю.

- Жида можно, - разрешает он. - Жиды люди приёмные, вспомогательные. Спаситель из жидов, Богородица, апостолы... С правильными людьми чего ж не водиться?

Жид - это прилично. Он всех евреев жидами кличет так же без охулки, как когда-то сволочью называли всё, что отстает или следом волочится. Ему восьмой десяток, он долго служил то в Грузии, то в Персии, то еще где и дослужился до старшего урядника. Потом служба ему приелась, и он попросился из линейных в госпитальные, выучился на полевого фельдшера и всю жизнь благодарил за это судьбу и начальство. Из Тебриза он привез два красивых ковра; один раскулачили вместе с домом, а другой, поменьше, висит на стене, я под ним сплю. Знает он, конечно, не особо много, но понимает больше моего и требует, чтобы я читал ему вслух учебную историю для 10-го класса, а сам слушает и смеется, когда я прочитываю о революционерах, которые, благодаря себя, выручили народы от сырой жизни в подвалах и без радио. По смеху я чувствую, что революционеры для него никакие не герои, а что-то навроде мошенников, и тогда между нами происходит разговор.

- Чего вам, дедушка, смешно, - говорю, - если вы их, могло быть, в глаза не видели, революционеров этих, а сами насмехаетесь.

- Сколько раз, - отвечает, - их в Тифлисе еще до японской войны полно было.

И дальше рассказывает: идет по улице человек в культурной шляпе, при галстукке, часы у него как сопли по животу блестят, палочкой помахивает от удовольствия на хорошей погоде и по виду, если не купец, то ученый или даже инженер. А за ним другой поспекает, то ли купец, то ли ученый, а может, инженер, но, в общем, сразу видно, что такой же культурный и на хорошей должности: в шляпе, в галстукке, при часах и с палочкой. Догнал, поднял свою палочку и ширнул первого инженера под лопатку. Тот, конечно, хлоп на тротуар, взбрыкнул правой ножкой в лаковой штиблетке и воздух из себя выпустил, а другой чинно его обошел, чтобы не уделаться, в пролетку сел и митькой звать. А палочка у них специальная, с пружиной, с длинным лезвием, само выскакивает и заскакивает, дедушка собственными глазами

повидал в разобранном виде, а казаков, когда в город отпустили, приказывали стеречься скубентов с бомбами и революционеров с палочками, - эти никого не жалели.

- По-вашему, значит, революционеры - бандиты?

- Выходит так, - огорчительно разводит дедушка руками.

- Как же мне их называть, герои, что ли? Со спины зашел, ножиком человека проткнул прямо на улице, посреди людей. Магазины грабили, банки. Листовки печатали: пусть, мол, японцы сперва нас разобьют, а потом наша власть будет. Бандиты и есть. Ты читай, читай, что там еще за ними числится.

Но желание читать пропадает. Я смотрю на учебник, как на бельевую вошь, и разом меняю пластинку.

- Дедушка, - говорю, - а корова раньше сколько стоила?

- Молочная, хорошая, рублей двадцать.

- Овца?

- Больше рубля никто не давал. Можно было копеек за восемьдесят, если поторговаться. Мы у курдов по полтиннику за штуку брали. Курица гривенник, утка пятиалтын, индюк или гусь к Рождеству четвертак, поросся на Пасху - та же цена, копейки. За пятак на ярмарке или в духане можно пообедать, за гривенник с вином. Кольцо золотое, подешевле, рубля два с полтиной.

- А кони?

- Кони дорого стоили. Пара волов в ярме рублей под тридцать, пахотная лошадь полсотни, строевая под седло до ста, но если чистой породы, с большими деньгами подходи.

- У нас лошадей сколько было?

- Восемнадцать.

- Зачем столько?

- Затем. Небось, лишнего в убыток не держали. Считаю сам: пять казаков - пять коней; еще трое порезвей на выезд, встретить кого, проводить, надо? надо; свадьбу сыграть, на пожар послать, тройку в общий поезд поставить, детей покатасть на Троицу, на Крещение, - да мало ли. Скубент один тут был, сам в Питере учился, летом дядю Алешку готовил поступать, так за ним рессорку посылали аж в Екатеринбург. Остальные в работе: косить, возить, молотить...

- А коров?

- Четыре.

- На восемнадцать коней четыре коровы не бедно?

- Хватало. Потом овцы, куры, гуси, сколько их было, не знаю. Еще молотилка, крупорушка, триер, веялки, маслобойня. Паровик свой мечтали заиметь.

- Управлялись?

- Пораньше вставать, справишься. В косовицу рук не хватало или строить чего, - тогда нанимали. Сюда до семнадцатого года много людей приходило на заработки. А как семнадцатый ударил...

- Отобрали?

- Не сказать, совсем. Отобрали, кто революционерам поверил, а кто не поверил, тот сразу все сбыл, пока цена. В восемнадцатом грабежи пошли: то красные, то белые, то серомалиновые, - "Давай, - кричат, - кони, скотину, фураж, теперь все народное". "Берите, - тато говорят, Марко Петрович, - что есть, а чего нету, не прогневайтесь". Они, значит, в конюшню, по сараям, в клуню, а там лях ночевал. "Ах вы, такие-сякие, нанимать вашу мать, где хозяйство передерживаете, живо отвечай". "В запрошлые годы продали, - говорит Марко Петрович. - Нужда была, семья большая, убытки". Комиссар сердится, конем утесняет, плеткой грозит: - "Ну, дед, сильно ты умный, мы тебе это не простим. Как народную жизнь устроим, то я тебя лично приеду кончать под красным знаменем". "Воля ваша, - тато говорят, - только поскорей управляйтесь, а то не доживу на вас порадоваться, годы преклонные".

Так, слово по слову, втягивается в разговор мой прадед Марк Петрович и сразу все берет на себя, как самый главный. Его давно на свете нет, а он все еще по привычке командует, руководит, выговаривает, и не спорь с ним, потому что закон: кто со старшим спорит, тот говна не стоит. Хлеба он, понятно, не употребляет, питается исключительно одним почетом и живет, где хочет: в хате, в омшаннике, на чердаке и под всякой загнутой. Я, когда из бочки тайком мед таскаю, крышку, бывает, снять боюсь: а что, думаю, как он там засахарился и сопит через камышину.

Редкий день без него обходится, а по праздникам в хате вообще дышать нечем: кислород выгорел и воздух состоит из густого восторга со сладким стенанием. О-о-о! это был казак, теперь таких нету. Вдохновитель и организатор. Крепость и порука. Лад и достаток. Сурьез и благочин. Да о чем речь, когда сам генерал Гурко за руку с ним повлетался, в обе щеки облобызал и следующие произнес слова: "Спасибо, козаче, твоему батькови". Конечно, похвала прославленного генерала из того же ряда, что и "Посцым", - сказал Суворов", и я, изо всех сил стараясь не засмеяться, интересуюсь, за что же он так исторически Марка Петровича до неба возвеличил. "Значит, было за что, - хором все отвечают. - За то, что человек, значит, хороший, Марк, то есть, Пет-

рович. И не так собой грамотный, как ученый. Наука при нем была. Всем пример внушал: "Расти, - говорил, - умный, вырастешь мудрый". Не пил. Не курил. В карты не играл. У кого из молодых-неженатых карты найдет, того на конюшню и собственной рукой ума вложит через задние ворота. Игруля штаны потом подберет, утрется и душевно возблагодарит: "Спасибо, диду, за науку". (Конечно, это для красного словца сказано, а в жизни так не бывает. Я сам в детстве был дважды порот, один раз дедушкой за обман, другой раз отцом за воровство, но чувство благодарности к науке у меня появилось не тотчас после порки, а много лет погодя, когда я сообразил, что стать вором или мошенником мне уже не светит.) "Нема за що", - отзовется Марк Петрович с лаской в голосе и, отложивши плеть, объяснит урок по-хорошему. "Ты мне, - скажет, - не чужой, я за тебя в ответе, чтоб люди пальцем не тюкали, когда ты до креста проиграешься. Это тебе спасибо за соображение, за способность, оно и мне работы меньше, а ежели не поумнел, не журись: пока живой, лайдаком тебя не оставлю, дурь вышибу, умом поделюсь. Но наука уже пойдет круче: ты это не забывай и на меня загодя не обижайся".

Поминали его при любом подходящем случае и, как правило, во множественном числе: как бы Марк Петрович посмотрели, что подумали и каково присоветовали в таком-то и таком-то разборе. Я же стал этой фигурой озадачиваться гораздо позднее, а до поры до времени жил, как свинья под дубом, и не считал себя обязанным задумываться о людях, которых ни разу в глаза не видел.

Хотя, конечно, связь между нами просматривается напрямую, и я вполне мог бы о себе сказать, что родился волею Божьей по любви и доброму согласию своих родителей, а также с дозволения Марка Петровича, прадеда моего по отцу, - без его же ведома и конь на базу не валялся, так что в автобиографии мне следовало бы поминать прадеда прежде отца-матери и непременно вторым после Господа Бога. Жили мы на Кубани в станице Новомышастовской одним домом, одним подворьем, одной семьей, где по обычаю тот командовал, кто годами взял, поэтому рулил хозяйством не отец и даже не дед, а прадед.

Как он выглядел, не знаю, и ни на одной семейной карточке его нет, скорее всего потому, что пока фотография была в новинку, он уже набрался консерватизма и радикализма и не хотел видеть себя нигде, кроме зеркала по большим церковным праздникам. Однако мне о нем достаточно много понарасказывали, и я его себе представляю та-

ким же подвижным и неожиданным, как отец, чуть повыше среднего роста, прямой и необрюзгший. Стрижку носил под ёжика, чтобы умывать не одно лицо, но и всю голову; седина пометила его неровно, - брови чуть тронула, усы с низу кисточкой задела, снежком по бобриковой стерне прошлась и сделала волосы сивыми, а бороду выбелила до льняного полотна, - росла она у него как-то насуперечь, и он ее то и дело оглаживал.

Человек он был занимательный и завел в семье советские порядки задолго до советской власти. Если бы он к тому же воровал, обманывал, злоупотреблял, нерадел к хозяйству и мотался по чужим бабам, его можно бы и в партию, но он был верующий, работающий, строгий, обязательный, запросы имел проще некуда, а с понятиями о личных удобствах недалеко ушел от первобытных привычек и после смерти жены перебрался спать из дому в конюшню, где воздух был прочнут колдовской смесью парных конских каштанов, стойкого лошадиного пота и хмельного пойменного сена.

Он рано овдовел, но дети к тому времени повзросли и жениться еще раз не было нужды. Сколько их у него было, сказать затрудняюсь, знаю только, что жил он с младшим своим сыном Антоном Марковичем, да еще в станице то ли Титаровской, то ли Ивановской жил другой сын, Тарас Маркович, которого я тоже малость захватил. Характер у него был властный, деспотический и неуступчивый. Всюду он лез, все пробовал на палец, на нюх и на язык, ложиться приказывал с солнцем, вставать с петухами, до всего ему было дело и по всякому пустяку надо было идти к нему на поклон.

Старший отцов брат, дядя Илья, когда вздумал жениться, пошел, как и полагалось, к Марку Петровичу. "Диду, - сказал он по-украински, как все в станице тогда говорили, - хочу жениться". Марк Петрович обрадовался, аж присел. "Оце гарно! - возликовал он на весь курень. - Оце казак! Оце молодец! Сколько ж тебе, Илько, бурлаковать, - пора и за ум браться. Бесова душа, думал, помру, не дождусь". И давай хвалить дядю сверх потолка с крышей и за способности, и за мужество, и за удальство, хоть и не совсем понятно, из чего оно состояло, удальство дяди Ильи, который давно был взрослым и поступал по законам природы, а не наперекосы. Под конец Марк Петрович даже заплакал. "Илько, - позвал он, промокая слезы счастья табачно-сморкательным платком. - Илько, хлопчику, дай я тебя обниму".

Он обнял дядю, посадил вплотную к себе и некоторое

время сидел с ним, как либерал с демократом. Потом спросил: “А кого брать думаешь?” Дядя Илья назвал. Марк Петрович, не жалея руки, грохнул по столешнице, сказав тихо: - “Не будет этого”, - и от либерализма с демократией помину не осталось. “Это как так не будет? - совсем не испугался дядя. - Кто у нас женится, не пойму, вы или я?” “Ты, - ответил прадед. - А я при тебе тоже не без дела”. “Лампу, что ли, держать в почивальне? - засмеялся дядя. - Да вы, диду, шуткарь”. “Это твое дело, чего там как держать, - несмущенно ответил Марк Петрович. - Мне, главное, чтоб ты по дурусти беды не натворил”. “Да какая ж беда? - удивился дядя. - Ничего, кроме детей”. “Во! - потряс прадед клюкой перед носом взрослого внука. - Дети! Сам говоришь! Коли б не они (“Колы б нэ воны”), стал бы я тебя на старости ублажать? Но раз для них живем, значит, надо. Ты вот не знаешь, а я знаю, что у твоей дивчины по материной родне прадед был глухонемой, так и звали, - Немкó. Его громом в степи убило, молодой еще был, сейчас мало кто помнит. Так что ты ночью спи, а днем думай, какие у вас могут дети произойти”. “И думать нечего, - уперся дядя на своем. - Мои дети, не ваши, чего думать попусту”. “ТЬфу, лях тебе в печенку, прости Господи, - расстроился прадед и заорал: - А мои правнуки! У них же наша фамилия будет. А по фамилии кто из нас старше? И мои права старше. И отвечать не тебе. Это про меня они скажут... Хотя, какой там “скажут”, несчастные, глухие, немые, - на пальцах покажут: “Не хватило у диды Марка в голове десятой клёпки, знал и не отсоветовал, а нам из-за него страдать”. У нас в роду никого, чтоб немой, хромой, заикастый, пропоец, умом обиженный. К нам и черная оспа не пристает, рябых тоже нет. Да мы в землю ложимся все зубы целые. Чистая кровь, здоровая порода. Ты подумай, сколько людей для тебя, дурня, это здоровье собирали! И ты за раз все хочешь порушить? Нэ дам!”

Он вскочил враскоряк, будто полсветёлки занял: огромный, могучий, седоволосый, на него невозможно было глядеть. “Все одно женюсь”, - сказал дядя Илья, не подняв головы. “Женись, - неожиданно смирился Марк Петрович и даже приласкал упрямца по плечу. - Женись, женись. Я тебе что, - мешаю? Борони Господь! Хоть сегодня свадьбу затевай. Из хозяйства, правда, ничего тебе не выделю. Не беда, наймешься к кому. Наймиты, как все, трудом кормятся, и ты проживешь. Со двора иди куда хочешь, лучше сразу. Попервах оно, конечно, будет стыдоба, как на тебя люди станут показывать, - ну как же! был казак, стал наймит, - но ты молодой, переживешь, а я твоего позора, Илько, не оси-

лю и всего больше жалею, что доброй нашей фамилии не могу тебя лишить. Достал ты меня, собачий сын, при могиле на конец житья”.

Сейчас подобными речами никого не проймешь, но в не столь давние времена словами наказывали, как батогом, так что у ослушника горели уши, блуждали глаза и он готов был глухонемым позавидовать. Что значит продаться внаймы? Или отойти напрочь без движимого-недвижимого? А нравственная сторона поступка? Пойти старшим наперекор! Не получить родительского благословения! Быть изгнанным из родного дома! Статочное ли дело одному человеку столько хулы на себе понести? “Бежать отсюда, - подумает он первой же мыслью, - бежать, не оглядываясь, куда глаза, где меня никто не знает, и поскорей, чтоб до вечера ноги моей тут не было”. Но опять же задача: а куда бежать со своей земли? в какие-такие палестины? Это сейчас, когда весь народ внаймах да в кочевьях, катись на все четыре стороны, а при оседлой жизни нелегко на такое было решиться, и если слово оставляли под залог в кредитных лавках, значит, оно много стоило.

Короче, дяде Илье было отчего сгорать со стыда; он еще немного подергался и сообщил деду, мол, так и так, девчонка на четвертом месяце и, коль скоро, жениться на ней нельзя, то что же делать? Марк Петрович сказал, что. Перво-наперво передать, что родительского благословения дяде Илье нету и не будет, а по каковой причине, про то пусть у него спрашивают, у Марка Петровича. Другое: как девка не из иногородних, а казачьего роду-племени, то отступные пусть назначают сами, - что девке за поруху, что детине на возрастание, а Марк Петрович, как главный ответчик, обязуется выплатить, а ежели помрет раньше, чем детине семнадцать стукнет, то расчет передаст старшему в роду и на том крест готов целовать при свидетелях и своим подписом нужную бумагу закрепить. Третье: в случае родители дивчины надумают взять дядю Илью к себе в зятя, как он есть, безземельный, бесхозяйственный и без родительской перед Богом заступы, пусть на то будет их добрая воля и общее согласие, а родная семья уже не будет считать его своим и отрекается от него на веки вечные.

На третьем пункте джентльменского соглашения дядя Илья спёкся. Он опустил на колени, как мальчик на горох, целовал дедовы руки и слезно просил выкинуть позорный для него пункт, а дед, будучи в душе все-таки либералом, тоже расчувствовался и сделал по просьбе внука. На том дело, однако, не кончилось; родней дивчины причина была

сочтена неосновательной, отношения прерваны, отступное вено с презрением отвергнуто. “Ну, Илько, держись, - предупредил его Марк Петрович. - Не захотел Бог моей опеки, пусть Он теперь Сам тебя и милует, и взыщет”.

Вскоре после того пришла ночью до дому заседланная лошадь дяди Ильи без верхового и принялась ржать, чтоб пустили. Поднялась суматоха, а лошадь без человека, как признак, обозначает то же самое, что лодка с опущенными веслами или потухший очаг, - смерть. Всадника нашли поутру в степи при дороге; он плавал в кровавой луже, но был жив, только сильно избит, и те, кто бил, дважды проткнули ему насквозь грудную клетку вилками-тройчатками. Переливать кровь тогда не умели, и дядя Илья от большой ее потери чуть жизнь за любовь не отдал, но первое, что он сделал придя в себя, так это - назвал поименно троих родных братьев своей возлюбленной.

Судоустройство в станице было на вкус и на цвет; дела разбирались либо судом присяжных из Екатеринодара, либо казачьим кругом. Присяжные действовали по законам Российской империи и всё мерили на один салтык, “повинен - неповинен”, а кто такой - не суть принцип. Казачий же круг вникал в дело со стороны именно “кто такой?”, так как для своих предусматривалась одна шкала наказаний, для чужих другая. Дедушка Антон Маркович рассказывал, как это выглядит. Изловили в Красном лесу банду шесть человек, разбоем занимались, и казачишка один местный туда затесался, так его выпороли на плацу, лишили прав и выгнали из станицы, а для остальных собрали круг, вывели всех с повязанными руками на веранду атаманской конторы и спрашивают: “Что, господа казаки, будем с ними делать?”, а снизу кричат: “Давай их сюда!” Ну, давай, так давай. Поставили пятерых в серёдке круга, толпа ненадолго сомкнулась, потом отхлынула, а на земле пять трупов лежат. В общем, самосуд. А уж куда дело передать, зависело от человека, в чьих руках находилась атаманская насечка с печатью.

На ту пору атаманил в станице второй мой прадед по бабке. Был он лет на десять помоложе Марка Петровича, фамилия у него была Остапенко, звали Аникий, а отчества не упомяну. Весь расклад случившейся бытовухи показывал ему ясней ясного передать дело на круг, тем более, что дядя Илья шел на поправку, а уж старики догадались бы, что раз суд Божий состоялся, то человекам тут и делать нечего: никто никому не должен, обе стороны квиты, да будет мир и покой, а ежели кто из сторон этот покой нарушит, то-

му пригрозить переводом в иногородние со всеми вытекающими. Но деду Аникию родной внук был ближе, чем противная сторона или станичные миротворцы, и он позвал присяжных, а те присудили троих братьев к семилетней каторге и послали в Сибирь, откуда ни один из них не вернулся. Три жизни оборвалось из-за одной незадавшейся любви. Говорят, что жизнь сама по себе умней нас и в ней всегда полно смысла. В данном случае я этого не нахожу. Впрочем, я и прадеду Аникию не судья. Пока горе по чужим дворам ходит, мы все смотрим на него отстраненно и выносим правильные решения, а когда оно случается с нами, мы совсем по-иному мыслим и абсолютно других суждений придерживаемся. Наверное, мы все-таки ближе к природе, чем к цивилизации, если позволяем чувствам нашим торжествовать над рассудком, но по совести сказать, я не знаю, хорошо это или плохо. Не знаю также, как дальше сложится. Казаки нынче много толкуют, что, мол, установят автономию и станут жить, как раньше: казачий круг, суд Линча и все такое. Внутреннюю политику будет определять публичная порка, а внешнюю - право зипуна. Неохота думать, что все это возможно.

Между тем, дядя Илья выздоровел, но о семейном благоустройстве не заикался. Уже и дядя Алексей женился, а он так бобылем и ходит. "Ты женишься думаешь?" - спросил его Марк Петрович, когда надоело ждать. "Нет", - ответил тот. "Так мы тебя сами женим". "Вам надо, вы и жените", - махнул дядя рукой и разговору конец.

Невесту сосватали добротную, породистую, из богатого двора, и посмотреть было на что. Я ее звал тетя Ориша. Отгуляли свадьбу, провели ближнюю-дальнюю родню, отоспались за месяц, съели по мешку фундуковых и грецких орехов и стали понемногу привыкать, что теперь так всю жизнь будет, как вдруг молодую невестку определили во двор к летней печке стряпать на всю семью. Дальше пошла чистая литература, которая очень даже не прочь в такие места нос сунуть, где варят-парят-жарят, и обязательно подыскать чего-нибудь классического для затравки. Я самолично встречал по данной теме сюжета три идеально одинаковых и от моего разнящихся лишь тем, что там были собаки, а здесь кошка. Словом, пока невестка там что-то варила-жарила-пекла, круг печки кошка бегала, есть просила, а молодой поварихе ума, поди, не хватило съестным каким-нибудь отрывком тварь домашнюю пожалеть, и она ее кипятком обдала. Кошка, конечно, взвыла и побежала зализываться, а Марк Петрович все это слышал и наблюдал. Не

откладывая, чтоб не заржавело, достал он научную свою плеть и отодрал тетю Оришу с такой беспримерной жестокостью, с какой, небось, ни скотину не бил, ни картежников. Она, говорят, недели две страдала в скорбях телесных, а Марк Петрович тем часом, не исключено, раздумывал, стоит ли его селекция таких затрат и жертв.

Дядя Илья и тетя Ориша прожили жизнь, как кошка с собакой, родив при этом четверых детей, - здоровых, осанистых и красивых. Младший мальчик помер лет восьми, поевши кислой капусты из цинкового ведра. Другого, Костика, убили на войне под Великими Луками, и я его помню всего по одному случаю. Мы пошли с ним к ерику за станицей, он сделал бумажный кораблик и пустил в воду. Кораблик поплыл, на него опустился мотылек с ярким ковровым узором, - это было так красиво, что запомнилось в подробностях. Я был вне себя от счастья, воображая, как, должно быть, приятно мотыльку путешествовать столь необычным образом, о чем он, возвратясь, расскажет другим мотылькам и все будут ему завидовать. А Павлушу и Тоню я очень любил и не переставал удивляться, что оба они провели на войне без малого четыре года и - хоть бы царапина. Дядя Илья умер вскоре после войны, но не своей смертью, - его убила лошадь, ударив копытом в сердце с такой силой, что оно сразу же остановилось. Кто мог предвидеть подобный конец за день, за час, за минуту?

Блажен, кто с вечера знает, что ему утром делать, а я знаю абсолютно точно и ни разу еще не ошибся. Из тех, о ком я рассказываю, теперь уже никого нет, одни имена остались, и единственное, что я знаю наперед о всяком завтрашнем дне, так это то, что поочередно назову их имена в заупокойной с утра молитве, а их у меня, как четок на длинной нитке. Прадеда тоже назову, - он мне очень интересен. Я давным-давно различаю его внешность и нрав среди толпы знакомых лиц, только одно смущает: он никогда не выглядит моложе шестидесяти. Тут, по-видимому, две причины: мы с ним ни разу в жизни не виделись, а те прыжки, что за ним записаны, происходили уже на склоне лет, когда ума девать некуда и характер испорчен. Здесь он на месте по праву первородства, а остальные, возможно, и приметны не все. Это нормально; рядом с ним всякий другой обязательно должен был что-то потерять и остаться за чертой. Он был ни на кого не похож, а несходство людей, кроме нрава и внешности, определяется еще и поступками.

С ним вместе доживал свой век конь кабардинской породы по кличке Буланный, и ни одна лошадь не вызывала

столько недобрых слов, как этот дряхлый, смиренный, истерший до десен зубы коняга. Лошадиной вины в том никакой не было, но прадед сам всех против него настроил своей каждодневной к нему привязанностью. “Коня моего поили?” “Поили, поили”, - отмахивались от прадеда, как от занудной мухи. “Когда ж это успели?” “Да вместе со всеми”. Марк Петрович поднимался на дыбки и устраивал разнос, потому что поить Буланого полагалось отдельно, смягчив студеную воду теплой, непременно при этом насвистывая что-то вроде “баю-бай” и теребя рукой холку. Кормить его нужно было первой других, и сено получше, и овса побольше, а из него уже, что вкладывали, то и выходило, - зерно распаренное, непрожеванное, его куры следом расклевывали. Прадед же по беспамятству спрашивал и забывал, и опять спрашивал об одном и том же, - нетрудно догадаться, как он всем голову заморочил. Не сказать, что никто не знал, сколько Буланому лет, но в отместку за бездельную беспечную старость ему давали больше, чем было на самом деле, а дядя Алексей, который помнил дедова кабардинца первой еще памятью, думал, что они с дедом годки. Конечно, был он на пределе лошадиного своего возраста, никто на него в гражданскую не позавидовал, и стоял он один-одинешенек и, наверное, думал: - “Ну что за жизнь такая! Когда же, наконец, я себя хорошо буду чувствовать?” Марк Петрович очень его жалел и не забывал ни гриву расчесать, ни сахаром побаловать или помолчать о чем в обнимку, а то подседлать в кои веки по погоде да не понукая, а лишь губами поцелуinho причмокивая, шагом, в степь, встречным надувным ветром подышать, - домашние называли это “пробздеться”. Если прадеда долго не было на конюшне, конь надсадно ржал и беспокойно топтался.

Когда Буланый подох, прадед переживал больше всех. Он с Антоном Марковичем и старшими внуками выкопал коню яму за станичной балкой, выстелил сеном, положил рядом с конем седло, накрыл все попоной и первый бросил горсть земли. Могила получилась круглая. В нее врыли шест, повесили конскую торбу с овсом. Речь Марка Петровича состояла из упреков, похвал и просьбы. Сначала он обижался на коня, что тот его не дождал, и совсем забыл, что по Христовой вере людей с лошадьми не хоронят. Затем воздал Буланому честь и славу за то, что тот хоть и был у него седьмым по счету, зато самым верным и разлюбезным, и Марк Петрович выполнил перед ним все, о чем договаривались, докормил до смертного часа и похоронил по правилам, то есть с седлом, сбруей и не снимая шкуры. На

прощание сказал: - "Ты меня, Буланко, дождись, я скоро. Как заявлюсь, первым делом тебя найду и тогда уже вёрхи, прямо на Божий суд". Так бабушка рассказывала. Она же водила меня за балку, где Буланого закопали, но к тому времени там была ровная степь и никаких следов.

Отец был лет на пятнадцать моложе дяди Ильи и, окончив школу, поступил в педагогический техникум станицы Полтавской на том же кубанском правобережье, что и Новомышастовская, в полутора днях пешего от нее пути. Тут еще одна есть привязка к Полтавской, - это из нее в 1825 году выселился мой прапрадед Петр Гордиевич вместе, понятно, со многими другими семьями, чем и было положено начало Новомышастовской. А еще прежде того, по упразднении Запорожской Сечи как "самостийной" военной организации, украинское казачество откочевало к Северному Кавказу походно-боевым порядком - куренями. Курень - понятие многозначное; так назывался дом, двор, семья, хозяйство, а еще боевое формирование по численности близко к полку.

Каждый курень содержал в своем имени след последнего места обитания и исходный пункт долгих перемещений: Львов, Крым, Умань, Полтава, Киев, Казатин, Канев, Переяслав, - отсюда же названия самых первых станиц. При дальнейшем расселении в кубанских степях появились наименования и не столь значительных украинских местечек, и никто ничего: стоял близдиканьковский хуторок в кубанской леваде и не чаял ни сном ни духом, что придет время и его первобытное название раскулачат вместе с домами-садами-пашнями, а сам он, потеряв признак, станет называться Пролетарским или Крупским, или Советским, или еще каким-нибудь недоношенным словом. Уже через десяток-другой лет объявленной свободы без креста местность на карте так же трудно было узнать, как человека, переболевшего паршой и стригущим лишаем, и уж никак нельзя было определить на слух, что станица Красноармейская - она и есть бывшая Полтавская. Теперь, по прошествии, можно бы сказать, что недолго музыка играла, но это не так; долго, очень долго, куда дольше, чем жизнь средней продолжительности, три поколения подряд, - жутко подумать! - так что до полной победы совсем уже чуть-чуть оставалось: Москва да Сызрань, да Новомышастовская, да кой-чего по мелочи. Наше счастье, что страна большая; всю географию обосрать говна не хватило.

Короче, отец поехал учиться, а Марк Петрович, ожёгшись на молоке, на воду стал дуть: все ему казалось, - вот

Лёнчук снюхается там с какой-нибудь беспородной и произведут они на свет и на вечное для него поношение что-то совершенно непотребное с двумя носами и одним глазом. Для беспокойства у него, правду сказать, были все причины: отцу шел девятнадцатый год, а у нас в саду фрукты рано поспевают. Году в десятом Марк Петрович самолично ездил в Екатеринодар устраивать другого своего внука в юнкера и обставлять его молодую жизнь кучей всяких препон и неудобств, но тогда он был помоложе и покрепче, а после семидесяти ему стало невозможно кататься туда-сюда по чужим делам, и он сильно переживал, если кто-нибудь из молодежи отбивался на сторону, не обзаведясь семьей. Об этом своем дяде я за вычетом фамилии ничего не могу сказать, разве кое-что по мелочи: был он есаулом казачьих войск, служил у генерала Корнилова и уехал из Новороссийска за море - вот и все, да и того на беду с походом хватило бы, так что на всякое о нем упоминание в семье налагалось табу, в особенности при детях.

Станица Полтавская, куда уехал отец учиться и где они с мамой встретились, нам не чужая; на тамошнем погосте еще двое наших отдыхают, - Гордий Опанасович и Опанас Батькович. А за ними большой пробел, только вдалеке где-то и в одиночестве дед Северин шаблюком помалкивает. Я был молод, глуп и глупостями занят, не догадался у Антона Марковича разузнать, а теперь спросить уже не у кого. В первую же зиму отец приехал на каникулы, и у него с дедом состоялась беседа неизвестно о чем, но уверен, что не стал бы ее пересказывать до тех пор, пока Марк Петрович не спросил отца очень кратко: - "У тэбэ дивчина е?" "Е", - ответил отец короче некуда, и с этого момента разговор пошел живей, потому что любовь делает и жизнь интересней, и всякие о себе растабары.

Что, да как, да почему,  
Да по какому случаю,  
Кари глазочки люблю,  
Сама себя мучаю?

Вроде того: как зовут, сколько лет, откуда родом, что за семья, кто родители, почему не спросил, а кто за тебя знать должен и еще сто вопросов по мелочёвке, а главное под конец: - "Смотри, чтоб летом в гости привез, мы тебе не сбoku припёку, нам тоже интересно". Словом, у прадеда наметился план и сбить его со стези было сверх ожиданий. Отец уступил и на лето приехал с дивчиной, - это была наша мама. Марк Петрович не тратя времени взял ее в оборот. "Родители живы-здоровы?" "Мама живы, тато померли

в двадцатом году”. “С какой же напасти?” “От тифа”. “Божья воля, царство небесное. А где тато работал?” “В шахте. Взрывником. Бригадиром”. “Пил, мабуть? Да ты, дивчинко, не стесняйся, говори, как есть. Шахтари все пьют. Такого шахтаря, чтоб не пил, и на свете не было”. “Не все. Тато не пили. У нас семья - восемь детей, мама девятые, один тато работали. Дом был свой, участок, трое старших в платной гимназии учились, в магазинах кредит. Если б тато пили, мы б от нужды не выучились”, - и еще много чего. Возможно, мама глянулась-таки Марку Петровичу, но вряд ли у родителей то лето было из лучших: прадед вечно отирался поблизости и держал их под прицелом, а с заходом солнца всех разгонял спать. Папа шел в курень к дяде Илье, который жил с семьей отдельно, маме стелили в светлице рядом со спальней дедушки и бабушки, остальные спали, где обычно, Марк же Петрович почивал в стойле своего Буланого, который к тому времени лет уже пять, как издох. И так все лето.

Не думаю, что родители были там преизбыточно счастливы. Верней всего, дня не чаяли, скоро ли лето кончится, и чувствовали себя, как подследственные: за каждым дозором, словом нельзя наедине перемолвиться, за руку друга друга тронуть, - что это за любовь? - а взглядом встретились, когда, поди, за станицу выехали, да и то не один раз назад оглядывались, не догоняет ли прадед с клюкой, еще что-то у мамы спросить забыл.

После их отъезда прадед присмирел, задумался, перестал ворчать и засобирался в Новоафонский монастырь грехи замаливать. Чекмень почистил, котомку снарядил. Перед малым дитём, смиренный и грехами изнуренный, останавливался, кланялся в пояс, говорил “Прощайте”, умолял не обижаться и не поминать худым словом, если кому чем не угодил, а он поимённо за всех помолится и свечку поставит перед Чудотворной. С тем и отбыл, но не в Новый Афон, а в село Боково-Платово, что неподалеку от города Луганска. Никто из маминой родни в той местности давно уже не проживал, поразъехались, но родом все были оттуда, и многие жители хорошо их знали. Там Марк Петрович снял квартиру со столом и прожил пару недель, наводя справки. Странно, поди, все это теперь покажется.

А зря. Чего-чего, а странностей у нас и поныне хватает в каком угодно пересчете, хоть на душу населения, хоть на единицу площади. Мы вообще люди странные и тем только замечательны, что с нами никому скучно не бывает. И селекция осталась в самом советском виде, хуже какого на

свете нет. Я, когда институт заканчивал, так, помню, к нашей сокурснице жених приехал. Ну, жених, он и в Африке жених, - фигура над общим уровнем слегка приподнятая, но возражений не вызывает, а что его появление собой знаменует, всем ясно даже в Африке. Казалось бы, ничего странного: и молодые друг другу подходят по разноимённости зарядов, и исторический материализм соблюдают, и в схему развития человечества укладываются, да и предки на сей счет недвусмысленно выразились, сказавши: "Веселым пирком да за свадебку". Но, понятно, не сразу, всякому торжеству подготовка предшествует. Сначала жених пошел по кабинетам и комитетам с расспросами о так называемой наречённой и суженой: как учится? соблюдает ли нормы соцобщезития? какую несет общественную нагрузку? имеет ли академзадолженности? какие читает газеты? достаточно ли активна в субботниках, воскресниках, спартакиадах и подписках на заём? посещает ли лекции о международном положении? о дружбе, любви, товариществе? об экономических проблемах в свете трудов по языкознанию?... "Нонка, - говорят ей, - дура, где ты его унюхала, неужели пойдешь за него? Он же мудака". "Это у него работа такая ответственная, - оправдывается Нонка. - Срочно жениться приказано, а то за границу не пустят. Он про меня все должен знать потому что". Затем, конечно, свадьба, хоть и комсомольская, а все равно неприятно, то есть, странно, то есть, то и другое, - впрочем, кому как: иностранцам, небось, странно, а нам все-таки больше неприятно, потому что странность - это когда со стороны, но когда лично и по голове, то уже не чешется, а болит и называется по-другому. Таковы странности жизни в нашей странной стране. Это совсем уже не то, когда старики с юморком за молодых решали: "Ваш товар, наш купец, по кобылке жеребец" или когда молодежь сама договаривалась: "Ты мне, я тебе, а дети общие". Прошли времена, теперь газеты надо читать. А если она не те газеты читает? Или вообще терпеть их не может? И пять раз зачет по марксизму пересдавала? И на первомайскую демонстрацию не пошла по болезни, а справку потеряла, - где ее теперь достанешь?... Тоже, конечно, селекция, только еще хуже, чем у Марка Петровича, и по результатам полная безнадега; от осла с лошадью хоть мул может произойти, а от мула, которого советским народом зовут, ничего живого отродиться не может.

Марка Петровича так долго не было, что дома от мала до велика умилялись, как он там, в монастыре, должно быть, старательно молится, кается, исповедается, штаны, гляди,

на коленях истерлись от длительных стояний перед Неугасимой, но потом обеспокоились, - не больно на него похоже полтора месяца в грехах отчитываться, и тут, как по заявке, пилигрим появился из паломничества: безгрешный, просветленный, обновленный и как бы смазанный репейным маслом. Крестом осенившись на образа, он одарил всех гостинцами, разрезал по числу душ освященную просфорку, и в разговоре у него появилась мягкость. С того дня он уже не командовал, не ругался и ни во что не вникал, но будто покидал жизнь по однажды пройденному пути, еще раз переживая в обратном порядке все, что не только было, но и былшем поросло, пока не достиг созерцательности пятилетнего ребенка, чем и составил компанию своим правнукам, и уже из обретенного состояния не выходил до конца дней. Однако на пару выходов под занавес его все же хватало.

Когда отец приехал после зимней сессии, Марк Петрович долго на него смотрел, узнавая - не узнавая, потом спросил: "Лёнчук, а где Нина?" Отец ответил, что домой поехала, у нее тоже есть дом и родные люди, не век же ей по гостям разъезжать. Прадед молча слушал, наливаясь гневом, и вдруг треснул клюкой по столу и закричал: - "Сподманул! Сподманул, пройдисвет, девку и бросил, - га! На новом поле сеять затеял, вражий сын, - га! а там пахано-перепахано, - га! пахарей до бесовой матери, а сеять нашему дурню, - га! На сорном поле, клятая твоя душа, что вырастет, - га! Репухи да очерет?"

Его гуртом принялись осаживать, а отец стал отдельно оправдываться, что не бросил, что в думках было, вот же ей-Богу, дозволения у деда просить и жениться, за тем и приехал, а через две недели они опять же съедутся и все добром-ладом пойдет. Некоторое время прадед бушевал в свое хотение и грозил, что не даст хорошие семена в сорное поле на выброс, но скоро дал отбой, только сказал в конце, как печать поставил: - "Сперва побачу, потом поверю". И отец понял это по-своему. То есть ничего особенного по части старческого слабоумия с ним не приключилось, просто зады человек повторял по домострою и семейному ковчегу задавал нужный курс.

Свадьбу играли летом в саду, и гостей было много. Церкви тогда уже поразоряли, венчаться было негде, и Марк Петрович самолично благословил молодых домашней иконой. Со свадьбы же у мамы осталась обида на Марка Петровича, и я долго не знал отчего, а на расспросы она всегда отвечала: - "Это тебе не нужно". Но мне было из-

вестно, что нет такой обиды на свете, какую мама не в состоянии была бы простить, и не было человека, который громко сказал бы о ней какую-нибудь гадость. Правда, я тогда еще не соображал, что простить - это одно, а забыть - совсем другое, да и христианская мораль о том же: призывая прощать врагам, она не отягощает нас непосильным обязательством предавать забвению обиды или содеянное зло, что было бы во вред и требованиям разума, и благому поступку прощения. Но я тогда не во всем разбирался, в рассуждениях частенько ставил телегу поперёд лошади и у меня крепко чесался затылок: почему такой хороший человек, как мама, столько лет обижается на такого хорошего человека, как прадедушка, давно к тому же покойного?

Дело тут, ясно, не в прадеде, с него вина, как половина с зерна, не он первый, обычай велел, сам таково женился, детей женил, внуков к семейной жизни руководствовал, все в станице делали, как он, и он поступал на других глядя, никого с краю не видел, чтоб ухватиться и оспорить круговой обычай, который за тысячу лет ни разу не нарушился. А что значит обычай? Тот же закон, только закон меняется, а обычай нет, да еще одна есть о нем примета: закон хоть и писан, но не всякому дано знать, а обычай писать труда не стоит, - в нем рождались, с ним жили, по нему умом размышляли: жени сына по первоцвету и девку за него бери честную, потому как известно-говорят: "Девка чёстная - мать чёстная". "Эпиталама" Антона Григорьевича о том же.

Слава Нерону, невеста непорочна,

Как невинные очи и как светлое чело.

Счастья, счастья, блаженства новобрачным...

Короче, не мы этот обычай заводили, и возраст у него не тысяча лет, а куда больше. Правда, невдомёк, за что Нерону слава, а Не-Весте одно замужество, но шут с ним, с Нероном, он император, ему что весталка, что гетера, а нам как Не-Весту определить в ее натуральной цельнокупности - вот задача. На Нерона полагаться себе дороже, на светлом челе Не-Весты ничего не написано, не пальцем же проверять, если на то пошло.

Потому и заглядывают спозаранку к молодоженам в постель: есть на простынях кровь - есть чем гордиться; чистое белье - срочно что-нибудь от позора придумывай, лучше всего, конечно, курице топором голову оттяпать и ложе новобрачных слегка внатруську покропить, - анализ, чай, снимать не будут. Да оно и не без того, потому как молодые не всегда своего часа дожидаются, но раз уж дело слажено полюбовно, то и беда невелика.

После того все это безобразие надо гостям показать, сопровождая демонстрацию охами, вздохами и причитаниями: “Бог радоваться велел, смотрите, гости дорогие, убожайтесь нашим счастьем, радуйтесь нашей радости”, а гости и родство долго будут восторгаться шедевром нерукотворного абстракционизма и встретят молодых церковной песней “Гряди, гряди, голубица” да затем станут шумно возглашать здравицы “за молодое вино сего числа распочатое”; кричать “Скрыни не треба”, что значит, приданого не нужно, оно, дескать, при невесте оказалось; одаривать молодых подарками и прибаутками, - “Вот вам деньги на недоуздок, а коня кúпите сами” вплоть до битья посуды на счастье с громкими пожеланиями “коханья и доли”.

Между тем свекровь устраивается на всеобщем виду и затевает парадную стирку испачканного барахла, да не абы как скорей поспеть, а тщательно, с роздыхом, не торопясь, чтоб все видели, - девка-то цельная, без порухи. А когда белье сохнуть будет и плескаться на веревке, вернется свекровь к столу, и все заметят, вскочат, закричат: “Свашенька, дорогэсэнька, да где ж ты ходишь, хай ёму грэць, у нас без тебя и во рту сухо, и веселья чёрт-ма, сидай с нами да рюмку пригубь, руки, мабуть, заморила, пока отстиралась, кровищи-то поглядеть, как с разбоя, прости Господи...” Она сядет и рюмку пригубит, и впервые почувствует себя вознагражденной, - ну как же, тридцать лет что ни день до первой невестки семью обстирывала, не разгибаясь, и никто не замечал, а тут пара простыней на раз плюнуть и - всем угодила.

Если даже невеста в девках была, как говорится, слаба на передок и по причине сердечной доброты никому отказать не могла, ей тоже в семейном счастье не отказывали, и свадьба катилась своим чередом, разве что белье разглядывали с избытком воображения и множеством намеков, жалея в душе зарезанную хохлатку, да “Гряди, гряди” не пели, - “Какая, - говорили, - голубица, когда раньше голубя бывала”.

Уже на моей жизни свадебный ритуал здорово изменился: гости в тесноте да не в обиде за единым столом помещались, самодеятельность выдохлась, как вишневая наливка, что заткнуть забыли, от “Голубицы” вообще слова запомывали, но, главное, белье перестали показывать в тех видах, что половая жизнь начиналась лет с двенадцати и на цельных девок к выданью большой замечался неурожай, да и кур по дворам становилось все меньше и меньше. Хотя обычай до конца не пропал, и если дома ему в месте было

отказано, так он и на улицу не постеснялся. Такая вскоре появилась мода: после брачной ночи, как всегда, ходили молодожены по родственникам, и молодая супруга при этом держала в руке флажок цвета кумача и надясь утраченного целомудрия, что называется, и опыт нажила, и невинность соблюла. Это понятно; объевшись сладким, всегда хочется чего-нибудь попроще, а скромность никогда никого так не украшала, как блядей и большевиков. Вот уж действительно, сочетались сладострастие и целомудрие браком законным, и родилось у них дитя - ложь. Такая вот грустная история: Таня + Ваня = любовь. Так и ходят с флажком. По сей день. Премудрость же о честной девке и честной матери вышла из обихода сразу после войны, и об этом остались одни воспоминания.

На другой день родителей затемно подняли в баню, столы же накрыли не в саду, а в доме, и когда папа с мамой вернулись, громада уже успела опохмелиться и встретила их "Голубицей" с таким рвением, что уши закладывало и крыша над домом, казалось, вот-вот сорвется. Едва хорал закончили, Марк Петрович велел всем налить до краев и сказал папе: "А теперь, Лёнчук, дай нам посмотреть, как ты молодую жену любишь", потому что на кубанских свадьбах в те годы не кричали "Горько!", а выражались только так. Родители целовались, а их славословили, хвалили, величали по заведенному распорядку, но маме было непривычно, и она тихонько спросила у отца: "Что это они нас? На царство, что ли, венчают?" Он ответил, и мама расплакалась. И чем безутешней она плакала, тем пуще веселилась ватага крепко выпивших и не особо понятливых людей.

Наверное, сложнее всего разбираться в недоразумениях между человеком и обществом, и я, по совести, не знаю, кто тут прав, кто виноват, но думаю, что мама в тот момент чувствовала обиду и стыд с потрясающим ощущением наготы и одиночества, невзирая на присутствие отца. Я себя тоже чувствовал бы подобным образом, случись такое со мной. Что касается прадеда, то он остался, по-видимому, без меры доволен и записал в синодик маминых родителей: Иваненко Кузьму Григорьевича за упокой и Ирину Трифоновну урожденную Беликову за здравие, а я, благодаря ему, знаю теперь своих предков также и по женской линии до четвертого колена. Помимо того, Марк Петрович выказал отменное знакомство с маминой генеалогией в пределах, разумеется, настоящего продленного времени, когда перечислил на пальцах ее сродников, никого не пропустив, и просил кланяться в Боково-Платово каким-то Сидоренкам,

которые вообще доводились нашему тыну двоюродным плетнём. Маму это до такой степени удивило, что она перестала плакать, а домашние пораскрыли рты, наперегонки догадываясь, что наш пострел везде поспел.

Окрутив родителей, прадед имел с дедушкой Антоном Марковичем последний нешуточный разговор. Старик нюхом чуял погоду лет на десять вперед и загодя выискивал гавань, чтобы уберечь команду, если семейный ковчег потерпит кораблекрушение в бурном море бытеевском. Сказал же он по отрывочным воспоминаниям дедушки примерно так: "Анчихрист надвигается и пробудет долго. Церкви пограбили, а проедятся, людей начнут грабить, земли лишать, хозяйства, из хат своих выгонять, - разбой пойдёт. Я, слава Богу, скоро помру, управляйся без меня. Ну, землю с постройками куда денешь? - нехай пользуются, а что другое распродай до напёрстка. За ценой не гонись, но бумажкам не верь, монету бери в звоне, чтоб над ней ни власть не стояла, ни сырость, ни пожар. Скарб в одних руках не держи, раздели, где по душам, где по семьям. И живей поворачивайся; времени у тебя - хорошо, если год. Будут гроши - будут харчи, а при харчах и в клуне проживете. Власть лайдаки себе заберут и будут царствовать на кровях, на голоде и на воровстве, а кто не подчинится, тому не жить. Вы с ними не спорьте, во всем соглашайтесь, ихней дурости потакайте, чтоб самим не пропасть, но веры им давать нельзя, потому как лайдаки, они во всем лайдаки, и кто им верит, тот жалобно плачет. Да еще чтоб накрепко разумели: враг страшен, а Бог милостив, и нашему роду нет переводу".

С делами Антон Маркович управлялся споро или, как потом стали говорить, досрочно. Из хозяйства, восстановленного после гражданской войны, оставил всего две коровы, да и тех поделил: одну себе, другую дяде Илье. Дом и коров, конечно, забрали, когда раскулачивали, землю - тоже. Ковчег таки пошел ко дну, но на нем был очень надежный капитан и из экипажа при кораблекрушении никто не пострадал, все благополучно выбрались на какой ни есть берег.

Марк Петрович умер месяца через полтора после свадьбы. Он как раз играл с двоюродным моим братом Павлушей, сыном того самого дяди Ильи, которого прадед так неудачно женил. Тот скакал верхом на подсолнухе, а подсолнух был схвачен петлей и вздет на шею, чтобы руки оставались свободными для джигитовки. Старый, между тем, готовил малому полосы препятствий тоже из подсолнухов, и Павлуша не столько их саблей рубил, сколько конем топтал,

как вдруг конь развязался. Пока Марк Петрович налаживал новую петельку, мальчишке расхотелось играть и он объявил: "Спать хóчу". "Я тоже", - сказал прадед. Они устроились во дворе на завалинке, притулившись друг к другу, и, обласканные сентябрьским солнцем, крепко уснули, один на полчаса, другой насовсем.

Разве так умирают? Так переходят из одного помещения в другое или, на худой конец, меняют место жительства. Да и о смерти ли речь? Как все верующие люди, я верую в спасительное участие Господа Бога в жизни и в бессмертие души, но моя вера столь же незамысловата и бесхитростна, как у моего прадеда, который до последнего был уверен, что предстанет перед Судом Божиим не иначе как на буланом коне, и уже там, спешившись, преклонит колени.

Этак помирать каждый бы согласился. Прощел бы я, скажем, тоннель, на простор выбрался, глядь! - да это же сызмалу знакомая мне местность: лес с высоченными дубами, степь с султанчиками ковыля, много тепла и света и всадник неподалёку рукой машет: сюда! сюда! И начался бы долгий разговор между своими людьми.

Сначала я бы сказал Марку Петровичу: так, мол, и так, война с ляхами кончилась. Был у меня знакомый поляк, Володя Ясиновский. Мы с ним студентами целый год в одной комнате жили и за год слова неправды друг другу не сказали. Сами знаете, кем он мне доводится, - есть такая степень душевного родства.

А с грузинами не получилось. Ездил я туда к ним, искал Моурави и никого не нашел. Нас вообще за дураков держат и говорят, будто Петр Первый тоже грузин, - так уж получилось, что Наталью Кирилловну не Алексей Михайлович обработал, а грузинский посол, потому и ребенок получился такой способный.

Может, мне не повезло? Ну, хоть бы один на бедность. Я бы его в общий знаменатель вынес и покрыл бы им чужие глупости и свои огорчения. По теории мне известно, что плохих народов нет, есть плохие люди, но, к сожалению, практика этого не подтвердила, а Руставели, Казбеги, Ниношвили и Табидзе давно померли и личным опытом уже никого не обогатят, так как достать его можно только у современников.

А тут еще времена. Марку Петровичу просторно жилось на свете, а сегодня на каждого тогдашнего восемь теперешних, - земля прогибается. Это как если бы в нашей позанадышней семье не двадцать человек было, а сто шестьдесят при том же хозяйстве. Проще сказать, не живем, а в

жизнь играем и правила игры строгие: убей, обмани, соблазни, укради. Особенно, укради. Ох, крадут! - вор у вора, сторож у сторожа. Но тоже, небось, до поры до времени. Вот поднакопится еще столько людей и украсть будет нечего. Как дальше сложится, не предвижу, но на лучшее не надеюсь, а в переселение людей на морское дно или к созвездию Гончих Псов я не верю; это, по-моему, пустая байка и ерунда на постном масле.

Тот хлопчик, что от дяди Ильи, - я его видел, когда после сессии на каникулы приезжал; нормальный, ладный мужик, заметно старше Павлуши, ему теперь лет будет под восемьдесят, если живой. А вот девчонка у него, диду, ваша правда, глухонемая. Нас с ней познакомили, и она мне сразу же понравилась, но я забыл, как ее звали; у глухонемых имя не признак, и окликать их не приходится. Мне давно глухонемые нравятся, с ними и дружить хорошо. Я видел, как ловко они через окно в поезде разговаривают. Нормальные, те надсаживаются, суетятся, вопят, а они пальцами повертели и через стекло договорились. Сейчас, возможно, это самые доброкачественные в стране люди: остальные с вывихами, с комплексами, с придурью, один больше, другой меньше, только и всего.

А дом наш, диду, стоит. Все там же по улице Северной, такой же могущественный и поместительный, как раньше, и каждое его бревно вы, говорят, обстучали и проверили, и все внутри и снаружи вам памятно и ведомо. Дворовых построек не сохранилось, один он, сирота. Чего в нем только не было: правление колхоза, церковь, клуб для танцев, сельхозтехника, товарный склад. Года три тому, когда я наведывался в станицу, там детский сад размещался. "Вам чего?", - спросила женщина в белом, то ли воспитательница, то ли заведующая. Я ответил, что смотрю на свой дом, из которого выгнали мою родню, когда раскулачивали. Она сердито на меня похмурилась и ушла. Это понятно, что всякому вору трудно сознаться в воровстве и возвращать краденое. Но вы, диду, как в воду глядели, когда предупреждали, что новая власть воровская, и это правда. Конечно, вор вору рознь; обыкновенного вора, когда он чересчур хапнет, совесть слегка щиплет за душу, и он тогда ради собственного спокойствия малую только краденого возвращает и называется уже не вором, а спонсором, благотворителем, альтруистом-бессеребренником и прочими наградными понятиями, но советский вор на порядок выше и никому никогда ничего не возвращал.

Вскоре после войны, году где-то в сорок седьмом, все

мужчины нашего роду-племени, кто живой с войны вернулся, собрались скопом и написали письмо Сталину, - бабушка называла его не иначе, как Милостивец. Сейчас я об этом вспоминаю со смехом и ужасом: дедушка, папа, дядья и двоюродные братья, до десятка взрослых людей, ссылаясь на фронтовые подвиги, пересчитывая в общей свалке награды и величая Милостивца отцом родным, просили вернуть раскулаченный курень, - ни больше, ни меньше. Самого письма я не читал, но по рассказам оно выглядит глупым и унижительным. Нашли, кого просить! Это же придумать такое: десять нормальных мужиков, чохом рехнувшись, сами легли под топор и семьи положили.

Бабушка была в отчаянии. Она всех называла "скаженными", а Антона Марковича старым дурнем, просила хоть детей пожалеть, если себя не жалко, а кому жить опротивело, тот нехай в Краснодар едет и под поезд ложится, - так меньше беды. Милостивец тогда был еще жив; бабушка называла его блядским сыном и осыпала древними проклятиями, причисляя отца народов то к ляхам, то к сатане. Она просила детей и внуков не будить лихо, пока оно тихо; она осенялась перед иконами и клялась, что ногой не ступит в собственный дом; она могла бы сама там помереть, если б мужчины не отступились. Дедушка вошел в рассудок первым и бросил письмо в печь.

А оно было совсем готово: заклеено, адресовано, маркировано, а на марках Милостивец с девочкой Мамлакат. Оставалось только на почту отнести. Когда я вживаюсь в тот тесный момент, необратимость времени пропадает, и я чувствую, как у меня опускаются внутренности, и подкожный страх, подобно грязной чесотке, расползается по телу. Тот самый, что мне с малых лет внушили Родина, Партия и Милостивец, и который вряд ли удастся изжить до конца дней. Прощай, дом предков. Наверное, и моя нога не ступит под твою кровлю, но с тобой жива память, и я тебе за нее обязан.

Я родился в селе Красная Яруга Курской области в тридцатом году, что значит, четыре года спустя после смерти Марка Петровича, и мое рождение совпадает с его кончиной день в день, десятого сентября.

## ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

### I

**Х**ранился у меня в архивах памяти один сюжет, и те, кому я его показывал, говорили, что годится, а хороший сюжет - это полдела сделано, что называется, вещь на крючке, не теряй времени. Я бы так и поступил, будь он без изъяна, но он, куда ни кинь и как ни верти, насквозь политический, а я с политикой не в ладах, - поэтому, но не только. В общем, лежал он, лежал и пролежал тридцать лет и три года, - целая жизнь, прожитая стариком со старухой у синего моря. Попервах состоял он на консервации, поскольку пристроить его в журнал нечего было даже думать, а писать в стол смелости не хватало, - тема непроходная потому что, а у меня семья, дети, здоровье, работа, какая ни есть, то да сё и не последнее дело, так как жизнью я дорожил, здоровье берег, детей любил, работал на совесть, чтоб не выгнали, - все, как у людей. Наверное, нетрудно догадаться, что протестант из меня сам себе на уме и фига в кармане, да и времена аховые, не медведя в окно дразнить: я ведь шестидесятник и рассказ, признаться, о том же самом. Последний десяток лет страхов, правда, поубавилось, зато раздумий появилось не в пример: стоит, не стоит; язык один, уха два; щи хлебай да поменьшей бай; глядь! а мне уже за среднюю продолжительность перевалило. Короче, захотелось поделиться и жалость взяла, что об этом достопамятном случае никто не узнает, - это раз, а во-вторых, хоть люди и говорят, будто своя ноша не тянет, а она с возрастом все-таки тянет и еще как. Стало быть, дай Бог память.

Из событий оттепельных шестидесятых годов хорошо помнится, как Гагарин в космос летал, Гаганова отказалась от полочки, везде росла кукуруза, снежный человек оставил на Памире следы семьдесят пятого размера, в небе появились тарелочки, в Новочеркасске расстреляли рабочих, Роза Кулешова с завязанными глазами стояла перед картиной Левитана, пальцами на нее смотрела и рассказывала, что

там нарисовано, приговаривая - "На все пальцами погляжу, все, миленькие, вам доложу", - а в Союз приехал вице-президент США Ричард Никсон. Эпоха также фиксируется повестью об Иване Денисовиче, песнями о дяде Ване, о тете Шуре и о Мишке, первыми джинсами, первыми взбрыками рокен-ролла и еще много чем, но всего важней, первыми растабарами о правах. Диссиденты тут ни при чем, их тогда и во сне никто не предвидел, во всем повинно начальство. Совсем еще недавно в ответ на заявление работяги: - "Я буду жаловаться", - руководство говорило: - "А я тебя с говном смешаю", - и вдруг стали говорить: - "Это ваше право", - а о говне ни полслова, вроде его и не было, - вот тебе на! Лиха беда начало, почин милей конца. Диссиденты же с отщепенцами попали на готовенькое, только и того, что просклоняли новое имя существительное во всех числах и падежах, пока до прав человека не добрались. Сейчас данный факт ставят в заслугу инакомыслящим людям, тогда как в действительности инициатива шла исключительно сверху по партийно-советской линии, так что давайте не будем лишать исторического авторства тех, кто к нему практически больше других причастен, а то ведь что получается? проходимцам нобелевки, а истинным устроителям причин и следствий хер на палочке, - несправедливо.

Может, оттого теперь о шестидесятых годах и небылицы плетут: время, ста, наступило муторное; жизнь покачнулась; ждали мобилизации; спички, мыло и соль исчезли; очередями сдавали в сберкассу деньги; сушили сухари, отправляли детей в деревню, писали последние письма, прощали друг другу обиды, готовили смертное белье и кляли на чем свет Соединенные Штаты, а кроме того, по Москве тучами летал тополиный пух и донимали тараканы, самое бесспорное знаменье наворачившейся атомной беды, - мать честная, сколько их и откуда взялись, проходу не было, везде они: в борще, в карманах, в кухонном кране, - ты его открыл, а вместо воды тараканы. Мне шел тогда четвертый десяток, и я мог бы присягнуть на всех конституциях ООН, что войной в самом деле пахивало и очереди были, и пересуды всякие, а в остальном все вздор, вранье и, как сказали бы насмешливые наши предки, - вскую шаташася языцы. Народ был бодр, настроение приподнятое, в жилищах музыка, во дворах доминошно-волейбольные игрища, мужчины ображали на троих, женщин без авосек уже не наблюдалось, молодежь занималась сексом и модерново матюганила, - о чем речь? что за уныние? откуда вы с луны свалились? Нам ли пристало паниковать, когда вся страна от мала до вели-

ка билась об заклад на соревнованиях, боролась за мир, воевала с пьянством, и каждый гражданин боевито наращивал темпы в поле и на производстве, работал над собой и сражался с собственными недостатками, ничуть не интересуясь, сколько ему заплатят.

Наверху тоже не скучали. В партийно-правительственном ареопаге с чувством глубокого удовлетворения, то ли в шутку, то ли кроме шуток, решался вопрос о переименовании всех подряд географических понятий, а заодно и дней недели в режиме пятилеток: начальник, ускоряльник, решальник, определяльник, завершальник, субботник и воскресник. А молодежные фестивали, когда в аптеках презервативы шли нарасхват для изготовления цветных воздушных шаров. А интеллигентский диалог, отражавший, как в зеркале, диалектику всякой новации во всесоюзном охвате: “Верно ли, будто Иван Иванович выиграл в лотерею “Волгу”? “Верно. Только не Иван Иванович, а Петр Сергеевич, и не в лотерею, а в преферанс, и не “Волгу”, а десять рублей, и не выиграл, а проиграл”. А народные гуляния, когда в киосках Союзпечати близ общественных туалетов раскупались газеты вплоть до прошлогодних. И еще настоящие, желтенькие, мяконецкие цыплятки; их недорого продавали, и родители охотно их брали, чтобы ознакомить детишек с живой природой отечества. Знакомство начиналось с утра и кончалось к вечеру познавательной заинтересованной беседой взрослых с детьми: “Папа, а где наш цыпленочек?” “Пошел домой, родненькая. Скоро вечер”. “К маме-курочке?” “Да, да, к маме-курочке. У всех есть мама, у цыпленочка тоже”. “Он будет баиньки?” “Баиньки, солнышко, баиньки”. “А мама-курочка его не заругает?” “Зачем же его ругать, когда он такой хороший” и так далее. А наутро мусорщики, похмельно сквернословя, очищали урны, доверху набитые отвердевшими тельцами несостоявшихся курочек-рябок и петушков-золотых-гребешков. К тому же утреннему часу разноцветные презервативы стравливали излишек воздуха и обретали форму мужских гениталий в натуральную величину, не только весьма собой украшая призыв поперёк улицы догнать и перегнать Америку, но и придавая патриотам уверенности, что так оно и будет. А над всем балаганом парила любимая песня о неполинявшем с войны синеньком скромном платочке: “И среди ночек синий платочек вспомним в стране боевой”.

Что боевая, это точно. А уж какова страна, таков и народ. Или напротив: каков народ, такова страна, - на ваш вкус. В тождестве, как и в сложении, перестановка ничего не обоз-

начает, но о многом говорит. Это очень удобно, и подобных тождеств в русском языке вагон и маленькая тележка: поп и приход, строитель и обитель, сани и сами, - дальше ищите у Даля. Такие дела; житье-бытье кубарем-самотеклом помню, цыплят помню с презервативами, а насчет тараканов могу сказать, что в городских квартирах они всегда водились и считать их знаменем я бы не советовал даже теперь. Так не будем же хаять прошлое, тем паче, что наши люди жили тогда счастливо, весело и были готовы буквально ко всему. Войны мы не боялись, на скандалы пёрли напропалую и всех врагов грозились побить воловьим рожном, но одну сложность в будущей войне со Штатами наши военные все же предусматривали: очень трудно будет трофеи снимать, дома у них там больно высокие, этажи начинают считать лишь с пятидесятого, - о том же и трудящиеся массы любили порассуждать в преддверье третьей мировой. Готов повторить еще раз: советский народ мог бояться чего угодно, - партии, родины, правительства, начальства, милиции, которая приходила и забирала, а спросить "За что?" - отвечали: "В кепезе узнаешь", - но бояться войны? - извините, чего не было, того не было.

Взять хотя бы войну в Афганистане, - кто ее не помнит? дело-то, можно сказать, надышнее. Но и о ней глупости рассказывают, вроде того, что рабочий класс и трудовое крестьянство супротивничали, выступали, матом крыли Брежнева в хвост и в гриву, за малым до забастовок не дошло. Это уже ложь наглая, безо всяких "мягко говоря", без скидок на девичью память или на искаженную вдали веков действительность. Происходило как раз наоборот. Столь всеобщего экстаза я не припомню со времен спасения челюскинцев или со дня победы над Германией. Какой треск поднялся, какой повальный восторг и ликование правили населением, когда началась эта война дураков, - ей-ей, можно было подумать: опять у нас очередная большая победа не сэмо, так овáмо, не в Европе, так в Африке, не на земле, так в космосе, словом, неважно где, важно, что победа. Высказываний тоже было, хоть отбавляй: давно пора, много мечтали, долго ждали, теперь наши танки по песку, как по лужку, вот-вот в Иране будем, а там и до Индии рукой подать, - ну, моральный дух общества был очень, очень высок.

Причем, каждый наособицу догадывался, что ему от интервентского броска на юг не перепадет ломаного гроша, и не в зачет скудному своему бытию отвечал так: - "Ну и что? Зато себя покажем, шороху на целый мир наведем, пусть

знают нашего брата”. Радость сходила с лиц медленно и по мере того, как с феатра военных действий чужой и никому не нужной страны стали в изобилии поступать цинковые гробы, большая часть которых не подлежала вскрытию. Ленинское всенародное прозрение чем-то напоминало дневниковую запись моего покойного друга о знакомстве со своей женой: “Встретилось оно мне нечто прекрасное и выяснялось постепенно”. Любопытно, что об этом лет через десять скажут. Посмотрим - иншалла! - говорят на Востоке от сглаза, а я закончу нудную политическую часть еще одним тождеством: каков народ, таково и правительство. Два сапога пара. По-другому не бывает.

Пасьянс готов, можно приступать. Берем шестидесятые годы и приезд Никсона в Советский Союз.

## II

Мы с Америкой были тогда на ножах, американцы первые не выдержали и прислали своего вице-президента к нам, - нельзя ли, мол, поубавить количество страха на душу населения Соединенных Штатов, и если можно, давайте договоримся. Его, конечно, встретили, накормили, спать уложили, в баню он сам не захотел, на другой день страну повезли показывать, Москва-Ленинград-Киев, да мало-помалу разохотились, до Свердловска доехали и не заметили как. Оно и заметить, правда, часу не было, всю дорогу переговоры, переговоры, заявления для прессы, интервью, встречи с народом. Но переговоры не заладились: он нам про Фому, мы ему про Ерёму; он про капитализм, мы про социализм; он за свободу, мы за порядок, - ну, ничего общего. И с народом разговор не сложился: в Киеве ему посоветовали хвалить день вечером, в Москве обещали показать мать Кузьмы, в Ленинграде сказали - “Мы вас закопаем”, в Свердловске - “Мы вас разобьем”, к тому же на кухне с Хрущевым перессорились. А уж газетчики за моё-моё повеселились, будто на них и Главлита не стало: письма трудящихся, запросы депутатам, да зачем его было впускать, да не надо теперь выпускать, да как его в зампрезы выбрали, - карнавал. Видит Никсон, что дела идут ни “тпру”, ни “но”, ни “кукареку”, подписал какое-то пустячное коммюнике и сыграл отбой. Свиту и челядь отпустил по домам, а при себе оставил для души спокойствия пару челюстных молодцов, которые по-русски говорили, как мы с вами, и купил в “Интуристе” на троих тур в Среднюю Азию частным образом. Посмотреть, значит, памятники старины и самолично убедиться, так ли мы счастливы и едины, как ему по-

казывали, и нет ли между нами каких-либо расхождений с предпосылками на будущее.

В тот самый злосчастный день, да изгладится он из памяти и не войдет в календари, управляющий Самаркандским отделением ВАО "Интурист" Самад Шамсиевич Шамсиев получил правительственную телеграмму следующего содержания: "Такого-то числа рейс такой-то амтурист люкс двумя сопровождающими размещение люкс плюс полулюкс питание алякарт транспорт безлимитный обратно Москву тогда-то рейс такой-то", а дальше исходящий номер и фамилия члена правительства, - их там всех раком не пересставишь, если назвать, вы скажете "Первый раз слышу". К тому времени Самад Шамсиевич давно возглавлял учреждение, и телеграммы с красной шапкой были для него не внове, так что принял он ее с подачи и моментально разобрался: "Зажиточный американский еврей по фамилии Никсон (нотабене: своя рука в правительстве) двумя родственниками (сын с невесткой, возможны варианты) желают посмотреть Тимура и того-сего кругом него. Поселить врознь; папашу в полулюксе без помех по ночам газы стравливать, а молодежи предоставить люкс, - ей, молодежи, простор давай, по возможности с разгоном, трех комнат должно хватить, пусть бесятся". Затем подумал: "Впервой, что ли? Вдруг не приедут, номера держать холостыми, а за них начет, - тоже бывало. Ладно, обойдется, а там ребята сработают на подхвате". И, не глядя, сунул депешу в бумажную неразбериху стола.

Первый грубый промах. Обычно он держал такого рода информацию при себе и, обедая в компании, как бы ненароком выкладывал ее на стол текстом вниз, сарафаном вверх, чтобы страшное слово бросалось в глаза и вызывало у сотрапезников те же чувства, какие испытывают японцы перед императорской хризантемой: ну, еще бы! - вот сидит человек, с которым переписывается правительство. Как ни странно, ничего подобного не случалось, и эффект был противоположен чаемому: лица вытягивались, непринужденность общения пропадала, легкий разговор прекращался, и обкомовские мужики смотрели на телеграмму такими глазами, какими вещей Олег на роковую змею не смотрел, пока кто-нибудь не говорил: - "Ради Аллаха и его избранных! Убери ты ее с глаз долой, дай поесть спокойно". Инструкторы и завотделами обкома веровали в Бога и, блюдя обычай, не забывали после еды благодарно провести пальцами по лицу, но если там был чужак, слово "Аллах" во избежание кривотолков заменялось на "Облисполком". Чело-

веку приезжому Самад Шамсиевич и круг его партийных приятелей могли глянуться с моральной стороны не ахти как, однако я не советовал бы считать их людьми неискренними, которые всем богам по сапогам. Будучи дуалистами, что значит, приверженцами марксизма с утра до вечера и правоверными мусульманами с вечера до утра, они всякий новый день начинали с очистительной молитвы: “Нет Бога, кроме Аллаха, но я в Него не верю”.

Руководить учреждением или предприятием в советскую эпоху было все одно, что в гамаке лежать: легко, приятно и мухи не кусают. Это и теперь не поздно заметить, видя, как томятся, маются и ностальгируют по прошлому бывшие наши товарищи, - я их понимаю. Как было замечательно, когда от руководителя не требовалось ни специальности, ни образования, ни деловых качеств, была бы партийность, и сапожник благополучно директорствовал на кондитерском комбинате, а кондитер управлял обувной фабрикой, и ничего, еще как справлялись, даже вслух поговаривали: “Пойду, куда пошлет партия”. И без зазрения шли. Слесарь паровозного депо становился наркомом республиканского здравоохранения, кандидат наук с химическим уклоном рулил всесоюзной культурой по должности министра, а директор филармонии, в прошлом пишевик-технолог, устраивал подчиненным разнос на профессиональном уровне и грозил: - “Хренникова вы у меня получите вместо премиальных!” Уверенность в завтрашнем дне гарантировалась, а комфорт заключался в том, что производство и руководитель были свободны друг от друга.

Работа натурально катилась сама собой наподобие дрезины с горки, ни о чем не надо было беспокоиться, все сходило, никто ни за что не отвечал. Редактор газеты, где я некоторое время трудился, говорил сотрудникам по этому поводу так: - “Если вы до одного не придете на работу, газета все равно выйдет”. И вышла бы, ничуть в том не сомневаюсь. За содержание, конечно, поручиться не могу, но за выход в свет двумя руками. И персонал “Интуриста” сработал бы на подхвате, будьте уверочки, они тоже наблатыкались на экспромтах другим на зависть. Но, к несчастью и огорчению, Самад Шамсиевич совершенно забыл поделиться содержанием телеграммы еще хотя бы с кем-нибудь из подчиненных, и это был второй грубый просчет, а о начальнике, оплошавшем дважды подряд, говорили, что он дал Маху и Авенариусу.

Должен вам сказать, что никакой он не Самад Шамсиевич, тем более, не Шамсиев, но называть настоящее имя

мне не хотелось бы. Теперь он, небось, как и я, на седьмом десятке, да, гляди, семьей оброс, внуками, а у узбеков очень большие семьи по нашим меркам, зачем же причинять неудобства человеку, который ничем мне не насолил. Был он благодушен, приветлив, общителен, с хорошим лицом и мягкими манерами. Если мужской пол подгонять под стандарты Аполлона или Геракла, то он все-таки был ближе к Вакху во всех отношениях: любил национальную кухню и виноградное вино сорта “мусаллас”, одаривал вниманием прелестных женщин, никуда не торопился, никому не досаждал и весьма редко выходил из себя, - полные люди, как правило, не бывают злыми, а у нас нынче таких людей дефицит. Это раньше их было пруд пруди, потому и бранились: - “Ах, Обломов! Ах, паразит - злыдень - лежень, тяни его за ногу!” - и не брали в зачет ни покладистость характера, ни доброту души, а теперь лица у всех партизанские, как на плакате военных лет, не лица, а оскалы, смотреть тошно. Да покажите мне хоть одного Илью Ильича, я с ним первый здороваться буду.

Мы были знакомы, не сказать, коротко, но относились друг к другу по-свойски. Он умел красиво есть, и видеть, как он обедает, доставляло знавшим его людям немалое удовольствие. Хотя, конечно, лучше всего он выглядел на досуге. Сколько в нем было высокого восточного обаяния! Затрудняюсь назвать кого-либо еще, кто был бы так же неотразимо хорош собой, как Самад Шамсиевич. Плавность движений и жеста, замедленность речи, вальяжность фигуры, поза “ах, я все позволю” и немного маньеризма делали его портретно, выставочно очаровательным, я бы сказал, неотразимым, а так как работа абсолютно не мешала его досугу, смею утверждать, что красив он был постоянно. За несколько лет нашей взаимоприязни у меня сложилась о нем серия картин под названием “Житие Лукулла”. Помимо “Лукулла отдыхающего”, в ней были “Прогуливающийся Лукулл”, “Лукулл у себя дома”, “Лукулл в окружении гетер”, “Лукулл на природе” и тому подобные зарисовки.

Как-то ему захотелось похудеть. Не знаю, с чего он задался такой мыслью. Друзья его отговаривали, что ему это не приличествует и не пойдет на пользу, но он остался непреклонен и отверг скоромную и белковую пищу на завтрак. Я самолично наблюдал, как подали в кабинет литровый чайник с крепко заваренным зеленым чаем N 94, тоже известным как “правительственный”, и горячую пышную лепешку, которую полагалось есть сразу, поскольку пресное без дрожжей тесто, остывая, быстро черствеет. Вот и весь завт-

рак, если не считать фисташек, миндаля, арахиса, горного фундука, грецких орехов и бухарских абрикосовых косточек, сваренных в золе из гузопаи с добавлением в нее соли и извести. Ну и, само собой, немного фруктов: пару гроздей шафирканского винограда без косточек, пару ферганских гранатов и белый хорезмский инжир. Натюрморт получился во славу жанра, но ничего, как видите, лишнего, а кольми паче вина. Тогда же моя коллекция пополнилась картиной “Лукулл на диете”.

Не приложу ума, как так случилось, что он не позвонил в компетентные органы, где в два счета расшифровали бы чуждую фамилию с недописанной свастикой посередине и приняли надлежащие меры. У нас с тридцатых годов хорошо умели это делать. Помню, как сейчас, в незабываемый тридцать седьмой пушкинский год нам в школе выдали тетради с чудными рисунками на обложках по стихам Александра Сергеевича: “Прощание Олега с конем”, “У лукоморья дуб”, “Зимняя дорога”, “К морю”, а через неделю обратно взяли и вернули без обложек, - в тех картинках, оказывается, спрятаны были две буквы: “м” и “к”, что значит, “могила коммунизма”. Но там хоть подумать разрешалось, мол, не обязательно “могила коммунизма”, могло быть также “Москва-красавица” или “МК профсоюза”, а то даже “Маркс Карл”, но в данном случае и думать нечего: суду все ясно, кто к нам пожаловал и на кой.

А он не позвонил. Его жизнь протекала привольно и безмятежно. Так бы она и продолжала течь, если бы внешние события не потрясли ее с темени до подметок и не швырнули бедного Самада Шамсиевича в эпицентр мировой политики: вице-президент Соединенных Штатов с парой дюжих молодцов прибыл в древний город Самарканд, где его никто не ждал и не встретил.

### III

По прибытии самолета в порт назначения первыми к выходу приглашают во Франции французов, в Италии итальянцев, в Турции турок и т.д., а за ними всех остальных. Везде так. Кроме России. У нас сперва дают зеленый свет заезжей иностранщине, а затем своим гражданам. Излишне пускаться в исторические разыскания первопричин: это было, есть и долго еще будет. Таков закон, с ним не спорят, а подчиняются. Ну, чего доброго, а подчиняться нам не приывать. Тем более, что закон этот в полном согласии с системой тождеств: каков народ, таково правительство; каково

правительство, таковы законы. Беда в том, что все наши правители от времен оных и дондеже со страшной силой презирали собственных граждан и с такой же силой их боялись. Даже те, кто в прямом смысле из грязи в князи прошел, вскоре тоже принимали правила обхождения знати с быдлом. В особенности, со своими. И, борони Бог, наедине. По сей день помню первородный ужас в глазах у Хрущева и отверстый для последнего вопля рот, когда я столкнулся с ним нос к носу. Хорошо, что я поспешил с паролем "Здравствуйте, Никита Сергеевич", и он, не обрета голоса, кивнул, помалу успокаиваясь. Не скажу, что на нем вовсе не было лица, оно у него было, но это было лицо человека, приговоренного к смерти без права обжалования. По разу мне довелось видеться столь же нечаянным образом с Ворошиловым, с Булганиным, с Косыгиным и - тот же испуг в глазах и брезгливость физиономии, что я к ним дотронулся и заражу каким-нибудь срамным недугом. Я очень развеселился, когда узнал, что Чаушеску по сто раз на день моет руки с мылом, - факт подтверждал теорию. Со Мджаванадзе я встречался в салон-вагоне при охранниках, и потому советско-грузинский князь чувствовал себя бодрей и глядел на меня, примерно, как солдат-окопник на тифозную вошь, и все-таки, все-таки боялся, я это заметил, боялся, что я его укушу раньше, чем он меня раздавит.

Наши руководители жутко не терпят незнакомых сограждан, а пуще всего встречаться с ними один на один. Иной разговор, иностранцы. К ним имперские лидеры относились благосклонней. Если вы не верите и личного моего опыта вам мало, ищите подкреплений в отечественной литературе, начав с Фонвизина, но уверяю вас, именно в силу помянутых причин задрипаный африканский студентик поучает русских людей законам русского же гостеприимства и, растолковав им, сырым и убогим, как надо и как не надо, беспрепотно проходит к такси, к кассе, к прилавку и в туалет, минуя очередь. По таковой же причине амтурист Никсон плюс два сопровождающих лица первыми ступили на землю древней Согдианы. Славны бубны за горами, ей-Богу, так.

И никого на ней не обнаружили. Они стояли, как засвтаные, шарили по сторонам, глядели друг на друга и не могли проморгаться. Нигде никого. То есть, людей было полно, но то были не те люди, что им надо, и все трое ощущали смущение и неловкость. На встречный марш никто из них не рассчитывал, но деньги были заплачены немалые, и представитель "Интуриста", бия себя в грудь, уверял, что в

Самарканде их будет ждать переводчик с машиной и двадцать четыре удовольствия. А тут ни души. Будто на пляже: голый голого не узнает.

Мистер Никсон, дошлый и прожженный политик, довольно поездил по свету, и встречали его не одними улыбками под оркестр почетного караула, но, бывало, чаще всего в Латинской Америке, и яйцами, и помидорами, и плакатами “пошел вон!” (советские газеты не упускали возможность сообщить о таких встречах с ехидцей, злорадством и подтекстом “так ему и надо!”), - и он шел в кольце полицейского наряда не к парадному с улицы, а к черному со двора, и ездил на машине без государственной символики, и не всегда удавалось избежать столкновений с науськанными на него людьми, - они добирались-таки до него, размахивали руками, кричали и плевали, метясь в лицо, а он молча утирался и отсиживался потом где-нибудь в укрытии, хотя ни разу не потерял терпения, не потребовал извинений и компенсаций, но, главное, не отвлекся от дел более важных, чем собственное самолюбие, честолюбие, должностной и личностной престиж, а ведь как, поди, хотелось потакнуть чувствам, отвести душу, самому себе поноровку дать, лишь бы поставить над “и” хоть одну точку, и пусть земной шар опрокинется полюсами к экватору, какое ему дело. Тут мало того, что рисковать приходится, запросто ведь ухлопать могут, так еще какие проволочные надо нервы иметь, чтобы в крайностях о себе забыть. Это был настоящий профессионал, не чета нашим. Из тех, кто достигал в политике значительных результатов малыми средствами и располагал таким же, как Никсон, самообладанием, не грех вспомнить Туссена Лавертюра.

Мне также показывали одного советского дипломата, аккредитованного в Тегеране, примерно тогда же, когда Никсон впервой к нам приезжал, так тот не удержался, ретивое подвело. Был большой прием и множество дипломатов отовсюду, кто с женой, кто без, в общем, теснота, а некий американец (по всей видимости - без) соблазнился задницей советской гражданки и, в тесноте да не в обиде, вознамерился опробовать ее наощупь, что и проделал. Всякая женщина, себя уважающая, немка ли, японка или новозеландка, ответила бы хаму пощечиной и пусть с ним разбираются, кому охота. Но наша дуня улыбнулась американцу и пошла к мужу жаловаться. Тот, ясное дело, не стал откладывать до завтраго числа, нашел американца и без слов, но от души врезал с левой в торец по центру. Янки пошел, конечно, с пяток на спину, чем вызвал оживление в зале, а

советнику посольства с глупой женой дали сутки на сборы, - вот и все.

Всяко бывало. Но чтоб его, вершителя внешних дел супердержавы, вообще никто не встретил, такого не случилось никогда. Трудности начались сразу. То ли амтуристы понадеялись справиться мелкие формальности по прибытии, то ли вице-президентский брежет время упустил, но обменять валюту в Москве они не удосужились и привезли с собой достаточную сумму долларов без единого рваного рубля. Помимо всего, такие люди обычно не ездят налегке, и багажа с ними оказалось по три и три десятых места на душу, - это вам не взял и пошел, а постоял и подумал, как его переправить от багажного отделения к остановке такси и автобусов, да допрежь того с носильщиками договориться. Носильщики подряжались за четвертной, но на доллары не клюнули, - не просить же их за-так. Пришлось своими силами, пердячим паром, на собственных харчах.

Охрана переглянулась. Сейчас им предстояло нарушить режим службы и пункты договора, который строго-настрого запрещал во время работы брать в руки что бы то ни было: эскимо, театральную программу, розу без шипов, - за то они и жалованье получали порядочное, дабы держать верхние конечности свободными и наготове. Оба озадаченно посмотрели друг на друга. Вице-президент перехватил взгляд сопровождающих его лиц и сказал: - "Не надейтесь на обычное разделение труда, не тот случай. В данных условиях помощи ждать не приходится: все мы равны, все носильщики; давай, ребята, давай", - и, возможно, между ними искрой проскочила мысль; где нет друзей, врагов тоже не полагается.

До автобусной стоянки насчитывалось метров триста, но не по прямой, а с загибом, так что путь от "А" до "В" не весь просматривался, и все разом поднять и унести было непосильно, невзирая, что ребята у Никсона подобрались ражие, крепкие, жилистые, таких в России когда-то называли саврасами и обломами, а теперь зовут амбалами и мордovorотами, но у них, как у всех, по две руки, не больше, и если всем троим взять по два чемодана и топать к стоянке, вторая ходка за вещами может стать лишней, - наш народ не терпит, когда ничейные вещи посреди дороги лежат. Возникла задачка сродни той, что обязывает смекалистого русского мужика перевезти на лодке через реку козу, капусту и волка, беря с собой за раз по одному наименованию и глядя при этом в оба, чтобы коза не съела капусту, а волк не сожрал козу. Ну, подумали, посоветовались, прикинули в

уме и на пальцах, после чего м-р Никсон и м-р Диди взяли по два места и отправились в поход, а м-р Арар остался стеречь еще шесть чемоданов с баулами. Разгрузившись, вице-президент остался за старшего при багаже, а амбала отослал сменить коллегу, который перетащил на стоянку еще пару вещей, и с третьей ходкой операция завершилась, - вышло на одну ходку меньше, чем у лодочника ёздок. Раздышались, перекурили и решили: чем ждать у моря погоды, уповая на общественный транспорт до неизвестно когда, не лучше ли свистнуть таксисту и, добравшись за полчаса до гостиницы, бултыхнуться с головой в ванну, чтобы хоть немного дома себя почувствовать.

Задача показалась совсем-совсем простенькой: нанять такси, заплатить баксами и - никаких хлопот, а водители народ бывалый, порядка на два выше вахлаков-носильщиков и уж, конечно, знают, что доллар и в Африке доллар. М-р Арар подтянул штаны и пошел торговаться, но скоро вернулся и с дороги показал, что ванну придется отложить вот почему: здешние таксисты ездят не туда, куда нужно клиенту, а куда хочется водителю, и чем дальше клиент живет, тем приятней водителю, - они тогда бьют по рукам, и шофер включает зажигание. Километров за двести любая машина готова везти их сию минуту и куда угодно, только не в Самарканд. Один так и сказал: - "Ты что, друг, смеешься? Мы тоже шутки любим, но до Самарканда я на тебе не заработаю, туда всего пять километров, жди автобуса". Другой увидел зеленую купюру и говорит: - "Е! Это деньги, что ли? За такие деньги ты вообще никуда не доедешь, даже до Самарканда".

Что они тогда испытали, в точности не скажу, но, по-моему, страх. Не вовлекая в неприятности посторонних и никого не призывая "вообразить себе", признаюсь честно, я бы испугался. Допустим, приезжаю в какой-то город чужой страны с нашими деревянными, которые там не обеспечены ни залогом, ни состоянием, ни драгметаллом, а если имеют хождение, то исключительно как антиквариат или филателия. И получается, что попал я на край света, денег ни копя, подустал, знакомых ни души, голову приклонить негде и самочувствие, как у всякого непоевшего с утра, кишка кишке протокол пишет. А дальше что? Либо просить, либо воровать, - жить-то надо. Ну, ладно, если опричь великого, могучего, правдивого и свободного, еще какой-нибудь завалышечки западный про запас в кармане, с горем пополам до бесплатной харчевни добраться да в приюте заночевать, - есть у них такие заведения, а патриот-почвенник

что станет делать? Только-то и останется выискивать, где-то плохо лежит. Вы когда-нибудь пробовали в чужом саду ночью малину красть или хотя бы яблоки? Могу поделиться опытом: очень неудобно, даже при полной луне. Там тоже: кругом порядок, собственность на учете, повсюду глаз да глаз, никакого бесхоза. Ага, тут-то у вас мошонка и поджались!

А может, и не испугались. Это я с малых лет перепуган, а они нормальные люди. У нас до войны игра была коллективная в детсады, - тогда все игры были коллективные, чтобы страх общий вырабатывался. Ну, так вот: водящий становился посреди круга и называл какой-либо предмет, безразлично какой: солома, паровоз, дрова, пирожок с капустой, а мы, дошколята, хором кричали: - "Не боёмсь!" и грозили небу кулачками. Вдруг, как снег на голову, косматое, лохматое, необъяснимое слово: "Чемберлен!" Все, как один, кричали: - "Боёмсь!" - опускались на корточки и со страху закрывали лицо руками. Никто из нас не имел понятия, что за штука "Чемберлен", как выглядит и на что похожа, но знобливой со страха гусиной кожей чувствовали, что это главный враг и кошмарно страшущая бука, которой следует бояться куда больше, чем Бабы-Яги или Кощея Бессмертного со всеми ведьмами, лешими, водяными и домовыми. Впоследствии выявились более-менее приличные страшилища: Бармалей, Карабас Барабас, драконы, карлики, великаны, но от поколения, чье детство прошло под звездой Чемберлена, а отрочество-юность-возмужание под образами Павлика Морозова и Зои Космодемьянской, ничего путного уже не добьешься, - такие люди по ночам вздрагивают, когда им снится детская песня: "Чемберлены, Чемберлены, Чемберлены гады. На них надо изготовить пушки и снаряды".

Скорей всего, в Америке были иные игры и другие образцы; коль скоро трое американцев не испугались, встревожиться они, по крайней мере, были обязаны и полное имели право на целый поток разнообразных чувств и предчувствий от потрясающего рассудок изумления до нешуточной опаски. Только одно ощущение, полагаю, не значилось среди всего ими пережитого, - скука. Это возможно; мы - неожиданная страна и веселый народ, с нами не соскучишься, - еще Гумбольдт о том рассказывал.

Пришел городской автобус, но пассажиров к тому часу набралось туча, и американцы не поместились. Пришел другой и опять ушел без них. Диди ходил в здание звонить по телефону, не дозвонился: "Интурист" не отвечал, бюро

обслуживания все время было занято. После него пошли гулять по территории Никсон с Араром и сразу отметили, что появилось много военных летчиков и поубавилось встречающих-провожающих. В работе аэропорта наступил длительный промежуток, когда гражданские рейсы прекращаются, потому что заработал находившийся рядом военный аэродром. От нечего делать они примкнули к группе военных и потолковали о том, о сем, поговорили с техперсоналом, почитали кумачевые лозунги, попили хлористой воды из фонтанчика и, понуждаемые в сторону, посетили туалет на четыре очка, а там и автобус прибыл. Пустой. Абсолютно. Они живо в него погрузились и приехали в гостиницу, рассчитавшись с водителем сигаретами, - он им еще багаж таскать помог.

Странная нынче проза пошла, - народ может подумать. Фиктивные персоны на должностях, ответственные лица с именами опереточных злодеев, мала-куча безымянных статистов и всего-навсего две подлинные фамилии: Хрущев и Никсон, - не мало ли для повести да еще политической? Какой смысл оправдываться, если проза в самом деле странная, потому что дармовая; возблагодарим Бога, что хоть какая ни есть, а все ж таки литература: независимая, свободная, полуголодная, - гонорара-то хватает лишь-лишь бумагу окупить, а на машинистку уже и спонсора подай, Господи. Слышал я новую поговорку: "Если ты такой умный, чего ж ты такой бедный?" Но кто это говорит? Это говорит тупая сытая воровская власть честным порядочным русским людям. В России испокон таково было. Не забывайте, Борис Михайлович Парамонов, откентелева сами-то происходите, не изощрайтесь на предмет русского ума и бедности да и Грибоедова поминайте на ночь, - там и русские вопросы, и русские ответы, как про вас писаны. Что касается подлинности имен и фамилий, то я спешу потрафить читателю и срочно ввожу неподдельное настоящее имя, имевшее быть в действительности. Как это прежде было принято говорить: - "Идя навстречу пожеланиям трудового коллектива станции Москва-Сортировочная..." - помните? Вот и я, - идя навстречу. И вообще, негоже вам переживать; будут еще живые люди, будут.

В вестибюле толпились приезжие, желающие заночевать, иностранцы тоже: группа немецких альпинистов, компания польских студентов, еще несколько человек диким образом и болгарская супружеская пара, - все они куковали со вчерашнего, но сегодня их обещали устроить во дворе на раскладушках, и они после бестолково проведенной

ночи с вожделением ждали вечера. Несколько слов о болгарских супругах, это важно. Как было звать жену, существенного значения не имеет, а мужа звали Ибайло Стоичков, - я его запомнил по склонности своей памяти к людям интересным и непохожим. Здесь у меня по сюжету заложен монолог, и я беру тайм-аут для сольного выступления.

Друг Ибайло, - позвольте мне вас так называть. Хотя мы знакомы заочно и односторонне, я никогда не забывал вас, особенно в минуту жизни трудную. Это придавало мне сил, настроения и убежденности в том, что улыбка в жизни вещь самодостаточная, а кто улыбается, тот выживает. За тридцать с лишком лет вы мне столько раз помогли, что я хотел бы настоящим отступлением от канвы засвидетельствовать вам мое глубочайшее почтение, и тем лучше, что вы некоторым боком оказались причастны к событиям глобальным и историческим. Хотелось бы узнать о вас побольше, но я и без того догадываюсь, что вряд ли вы с вашим именем и фамилией сделали за эти годы какую-нибудь карьеру, которая, впрочем, не прибавила бы ни синь-пороха к тому, что вы от рождения имеете. Не в состоянии перечислить отзывы тех, кому я вас рекомендовал, но все они благожелательны и оптимистичны: "Какой богатый человек!", "Редкий случай, когда щедрость превосходит наследство и бессильна его исчерпать", "Рука сего дающего не оскудеет" и т.д. Дорогой Ибайло! Желаю вам многая лета во благо великого множества людей, которые, познакомившись с вами лично, или подобно мне, проведая о вас от других, никогда не забудут родовых ваших признаков, дающих всем нам счастье, радость и шанс. Приветствую вас, рад знакомству.

Между тем, Диди собрал документы и направился в "Интурист", но там было глухо, не хватало только надписи, что все на фронте. Так оно и было: гиды разобрали индивидуалов с группами и отправились на экскурсию, связь перевели на бюро обслуживания, Самад Шамсиевич ушел в обком. Да и вообще на Востоке своя специфика: часов, приблизительно, с одиннадцати в работе учреждения наступает перерыв до завтраго и, если вы что-то не успели сделать, ничего не форсируйте, но дождитесь утра и позвольте событиям следовать своим чередом.

День набрал силу, жара стояла густая и плотная. Пока м-р Диди ходил в учреждение, м-р Никсон скинул пиджак и устроился передохнуть на чемоданах, а м-р Арар, не тратя времени, занял очередь к окошку дежурного администратора и разговорился с соседями. В дружеской обстановке часы пошли быстрее, и он незаметно очутился у цели. Нелов-

ко согнувшись, он подал три зеленых паспорта и объяснил, что им нужно. “Мест нет”, - сказала администраторша, даже не сличив просителя с фотографией в документе. “Мы иностранцы, - с мягкой настойчивостью заявил Араp, смекнув, что к чужим в Союзе относятся лучше, чем к своим. - Мы гости вашего правительства, - улыбнулся он дружелюбно. - Нам без номеров нельзя”. Мадам повторила, что об отдельных номерах и речи нет, разве что о раскладушках во дворе, да и то к вечеру. Араp обиделся и потребовал заведующего бюро обслуживания. “Пожалуйста”, - сказала мадам и велела швейцару проводить господина к Джуре.

Через минуту он стоял перед сумрачным брезгливым узбеком, который тотчас спросил: - “Тебе чего?” “Два номера первого класса с душем, телефоном и, по возможности, рядом”, - сбавил цену Араp и попутно подумал: “Была, не была! Один шефу, другой нам. Шут с ними, с люксами”. “Что-о?” - не поверил заведующий ушам своим и, оторвавшись от кресел, посмотрел на американца, как повар на Оливера, просившего добавки. “Мы иностранцы, - любезно оправдался Араp и перешел на мелкий шантаж. - Вы должны нас устроить, г-н Джур. Мы приглашены правительством по важным делам. Вам за нас отвечать придется”. Тогда с криком - “Ны даем работать!” - заведующий стал ругаться и вызвал милиционера. Тот, войдя, исполнительно откозырял американцу и спросил: - “Зачем безобразам, гражданин?” Араp хотел объяснить, кто они такие, по какому делу и про иммунитет пару слов, но не успел, потому что заведующий стал жаловаться, что вот, он работает, а посторонний пришел и мешаеt, а зачем пришел, зачем мешаеt, когда человек работает. Выговорившись до дна, заведующий повернулся к Арапу и добавил: - “Иды отсюда, пока я добрый, а то милиция учаскасы отправить будым”. Связываться с милицией Араp не пожелал; пришлось извиниться и уйти не солоно хлебавши.

Он устроился рядом с шефом, рассказал о приключениях и загрустил. В это время прибежал Диди, веселый и взволнованный, и проинформировал земляков, что камера хранения согласилась принять багаж, а приемщица очень его успокоила, поведав между делом, что ночи здесь теплые, приезжие ночуют и на бульваре, и на базаре, и в памятниках старины, подложат газету и спят, места хватает, никто не простужался. “Четыре туза и джокер! - радовался Диди. - Отличная мысль, вайс, - приободрил он Никсона. - Только бы на ночь газетами запастись”. Такую радость легко понять, потому что она чисто нашенькая. Так же откро-

венно ликует русская многодетная семья, когда после продолжительной жизни в тесной городской квартире с той же козой, которую лодочник однажды в утлой лодке через реку перевозил, козу удастся продать. При столь отрадных новостях м-р Никсон облегченно вздохнул и встал с баула. Вот это удача! Ближайшее будущее, правда, не совсем еще прояснилось, но перестало быть неопределенным. Везет же людям!

Втроем вышли в город. Но прежде чем они совершат какую-нибудь покупку, должен сделать заявление: в этой истории не осталось невыясненных мест и белых пятен; их пребывание в Самарканде восстановлено от первой минуты до последней за вычетом одной-единственной, в течение которой местный жучок продал им сто рублей за двести долларов. Органы долго его искали, но он, как провалился, хоть в Америку запрос посылай по части словесного портрета, а сейчас его и подавно ищи-свищи, сколько лет прошло. Как бы то ни было, у них завелись деньги, а при деньгах всякий человек свободно и независимо себя чувствует, - вот где, граждане, собака зарыта, - хоть теперь вы поняли, для чего семьдесят лет нас в безденежье держали? Или не поняли? Ну, и Бог с вами, живите. С этой ускользнувшей от органов минуты янки шли, куда хотели, спрашивали обо всем, что им надо, покупали, в чем имели нужду, и никто за ними не следил.

Первым делом они купили газет, самсы и винограда. Самса была никудышная, один лук без мяса, но они крепко проголодались и съели ее без остатка в сквере на скамейке, а виноград - ничего, только грязный, и его пришлось носить в двух шляпах, пока не попала в мечети Биби-Ханым водопроводная колонка. Из-за винограда у Диди в магазине завязалась перебранка с продавцом и началась так: "Почему продаете без упаковки?" "А тебе какое дело?", а кончилась словами: "В Америке вас давно бы закрыли". "Мы пока еще, хвала Аллаху, не в Америке".

Ездили троллейбусом и автобусом. Побывали на Регистане, задержались в Тилля-Кори, выбились из сил в Шахи-Зинда и передохнули в прохладном Гур-Эмире. В Шахи-Зинда им встретились нищие, и Никсон подарил старушке сто долларов, а она поблагодарила всех троих заздравной мусульманской молитвой. В автобусе было тесно и душно, к Арару залезли в карман, и он, не поднимая шума, ткнул щипача большим пальцем в подреберье. Тому сразу же захотелось лечь, и он опустился на пол, а Арап предупредил Диди по-английски: - "Осторожно, карманники". Иностран-

ная речь произвела ошеломляющее впечатление на пятерых шустряков, - они сошли на ближайшей остановке, забрав с собой пострадавшего товарища.

Словом, ходили и ездили американцы так же беспрепятственно, как в Неваде или в Орегоне, но там, где они побывали, остались следы импортной обуви, и следов таких становилось больше и больше.

#### IV

Первый сиграл в КГБ поступил из штаба энского подразделения, дислоцированного в городе Эн, как сказала бы газета, и являл собой устный донос по телефону нижеследующего содержания. В аэропорту к группе военных летчиков присоединились два гражданина и втёрлись в разговор. С виду культурно одеты, в шляпах и не выпивши. Который постарше, видимо, главный и похож на профессора, а тот, что помоложе, надо думать, подчиненный шестёрка в ранге кандидата наук, причем, первый только слушал и на ус мотал, а другой все время подъелдыривал и критиковал наши порядки. В Госбезопасности сначала погрешили на геологов: они сильно дичают на полевых работах и голова на солнцепеке перегревается, с ними по возвращении тяжело беседовать, потому что послушать нечего, бред сивой кобылы, зачастую антисоветский. Однако из последующих сообщений граждан стало трое и в дальнейшем их численность не менялась, а детали проявлялись с постепенностью снимка в растворе. После пятого, к примеру, сообщения допущена была смелая, но оправданная гипотеза, что оба кандидата свободно болтают по-русски, а профессор потому и молчит, что ни в зуб ногой, - так оно и было в действительности. Когда число сигналов от горожан перевалило за десяток, вывод сформулировался сам по себе: трое иностранцев неизвестного происхождения ходят по Самарканду, сеют провокационные слухи и ведут самую разнузданную пропаганду. Канал связи действовал надежно и бесперебойно: на одном конце телефонного провода происходили события, на другом о событиях знали не только досконально все, но и чуть-чуть побольше, и не с помощью штатных и нештатных "тихарей" на окладе, а благодаря бдительности рядового сознательного населения.

Вскоре обнаружилось множество точек, где иностранцев засекли и откуда о них оповещали. На карте это выглядело чем-то вроде артподготовки с корректировщиком в тылу у врага, вызвавшим огонь на себя, но в реальности все было сложнее. Каждые три точки геометрически складывались в

треугольник и, несмотря на то, что точек было больше, треугольники считались главнее, - это по ним на рельеф городской местности наносился маршрут движения "троицы" и составлялись прогнозы. Не все, конечно, совпадало, но тем не менее. Совсем еще недавно их бы и брать пора, но в шестидесятые годы от органов требовали большей основательности и фактических наработок, - приходилось ждать и стараться.

Областные управления безопасности в Союзе возглавлялись чаще всего полковниками. Поэтому местный полковник снял трубку с рычага, позвонил в "Интурист" и строго осведомился насчет неучтенных "кадров", однако тамошние "кадры" все были на учете и находились, где положено, поэзоповски это звучало еще короче: "наши все дома". В Бюро молодежного туризма "Спутник" дома вообще ни души не было, хотя все по плану, никакой самодеятельности. Обком и облисполком слишком ответственные организации, но и у них бывали просчеты: года за два до того наведывался сюда правнук Фридриха Энгельса, так они о нем словом не обмолвились, человек день-деньской черт-те где шлялся и черт-те что снимал. Во избежание подобных тому казусов полковник и туда позвонил, чтобы услышать твердое партийное "нет". С профсоюзами шеф разведки в связях отмечен не был, но нужда песенки поет, пришлось. Облсовпроф доложил перепуганным голосом: - "Что вы! Что вы!" - и на том малый круг опроса был исчерпан, начался большой.

Из Ашхабада, где размещалась штаб-квартира Туркестанского военного округа ответили, что в связи с напряженкой в международных делах "гостей" давно не было и доднесь нет. В Ташкенте тоже все было в полном боевом. Республиканский профсоюз вкратце отчитался о проделанной за полгода работе и о текущем моменте: иностранные представители у них, разумеется, есть, как группами, так и индивидуально, но все они либо из соцлагеря, либо нейтралы, их хорошенько пасут и за отчетный период ни один пасомый от стада не отбил. В "Спутнике" было "окно" и перекур с дремотой, - зарубежная молодежь носа не казала с месяц как. В Центральном Комитете полковника успокоили: Первый Отдел у них не дремлет круглосуточно и хлеб свой ест не зря, - случись что-нибудь вроде того, они бы отреагировали. "Интурист" сообщил, что никаких "троих" они в Самарканд не посылали, и ничего такого знать не знают, ведать не ведают, а из тех, кого направили, никто к "тройке" не причастен даже со спины в потемках. Компетентные

органы оказались компетентны не больше других. А ведь это их вина. Почему Союзный Комитет Госбезопасности не продублировал правительственную телеграмму сугубо в Самарканд и трегубо в Ташкент? Размякли, как старухи на пенсии. Нюх ошпарили, чутье потеряли. Чем они думали, интересно? Где у них голова находилась в тот день? Поздно теперь спрашивать. Задним числом кучу поводов можно за волосы притянуть: то да сё, год активного солнца, магнитные бури, бессонные ночи, личные причины, объективные причины, перегрузки, перегрузки...

А доносы продолжали поступать. В одном из них доносчик наотрез отказался назвать себя и сердито сообщил, что "по городу без провождения ездют три иностранных агента, хулиганют и позорят звание советских людей, травмировали в автобусе товарища, сейчас он хоть и очухался, но к работе не способный, берет на-завтрае билютень, а наши хваленые чекисты и милиция одна шайка-лейка, заместо народ предохранять, они сидят по дачам и пьянствуют". Запись прокручивали несколько раз и раз от разу становилось ясней, кого им Бог послал: во-первых, смежники из-за бугра, это как пить; во-вторых, профессионалы из команды "Умелые руки", - эти на все пойдут, ни перед чем не остаются.

Гроза близилась, атмосфера сгущалась. В КГБ города Самарканда уже были произнесены вслух такие слова, как "самолет", "парашют" и "диверсия". "Профессора" в открытую стали называть главарем, "кандидатов наук" - подручными. Ждали команды готовить группу поиска и захвата. А полковник набрал воздуха, как перед прыжком в воду с трамплина, и вышел на Москву. Увы и ах! - ничего утешительного. В ВАО "Интурист" сказали, что по части касающейся люди на местах предуведомлены, посторонним быть не должно. В ЦК полковнику нагрубили: - "Вы что, - спрашивают, - не в своем уме с детскими вопросами в позднее время? Газеты надо читать!" В ВЦСПС и в "Спутнике" сидели такие же невоспитанные мудаки, как и в ЦК. Напоследок оставалось родное центральное ведомство. Ох, как он не любил с ними связываться - нож острый, но выбора не оставалось. Скрепя сердце, он поздоровался скороговоркой, набрался наглости и, зажмурясь, спросил в лоб: кого они им подсунули без уведомления по ве-че? да, сегодня; да, трое; да, мужчины... Ответ воспоследовал скорый и исчерпывающий, - они там тоже, небось, переживали оплошность; в подобных обстоятельствах атака лучший вид обороны, и генерал, наверстывая версты, прокричал полковни-

ку в ухо: “Идиоты! У вас находится вице-президент Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон и два человека личной охраны”.

Как пошел гореть сыр-бор. Вынули из загородного ресторана Самада Шамсиевича. Отыскивали телеграмму. Забегали нарочные. На розыски вице-президента отправили подразделение со спецсвязью. В гостинице дым коромыслом: освобождали под гостей два “люкса”. Один, интуристский, занимали четверо горцев, они были дико свирепы и матерились - святых выноси. В другом, правительственном, проживал заведомо республиканского ЦК, так он слова против не сказал, когда узнал, кто в “люксе” будет жить, а взял портфель и перебрался в одинарный без душа. Там, правда, тоже были жильцы, но их перевели во двор на раскладушки, и они остались очень довольны. Пока из одного “люкса” в коридор летели осетинские манатки, а в другом наводили шик-блеск-иммер-элеган, то есть, устлали кровати крахмально-льняным правительственным бельем и опрыскивали анфиладу “шипром”, на правительственной даче поднимали пары и кочегарили: предстоял банкет правительственного уровня. Здесь, не исключено, резвый читательский глаз споткнется, подметив перебор правительственной атрибутики, тем не менее, никакого перебора, приватизация уже тогда шла тихой сапой на полный ход, и людей исподволь приучали делать различие между “правительственным” и “народным”, дабы загодя не соблазняться и впрдь не разевать рот на чужой каравай.

Американцев нашли в полуразвалившемся мазаре на окраине, где, не то при Тимуре, не то при Чингиз-хане, похоронили одного “авлиё”. Постройка явно колебалась под натиском столетий и дошла до нас только благодаря авторитету святого покойника: там было прохладно, прибрано, земляной пол устлан паласами и камышовыми циновками, стояло несколько медных кумганов с водой для омовения рук перед намазом и никто не пытался их украсть, а во дворе росло дерево. М-р Никсон делал пометки в дорожном бьюаре, Диди проветривал вспотевшие ноги, Арар спал, подмостив пару газет.

Секретарь обкома рассказал им о памятнике, о городе, об археологии и реставрации. Никсон слушал, Диди обувался и переводил, Арар со сна умылся, но вытереться было нечем, и он самостоятельно обсыхал в сторонке. По готовности все направились к машинам. Секретарь сделал гостям рукой “прошу” к новому поместительному лимузину с записывающим устройством, но вице-президент сказал,

что при такой погоде хотел бы пройтись. Пришлось уступить, гость на Востоке первой отца, желания его то же, что и закон с обратной силой, никто не смеет у него спросить, сколько он тут пробудет и когда собирается уезжать, а все, что ему нужно, он сам скажет. Разговор продолжался, и секретарь поведал Никсону буквально о том же, что и приемщица из камеры хранения: какие в Самарканде чудные ночи, население спит во дворах и на крышах, да о чем говорить, когда лично секретарь спит, как Улугбек, под открытым небом с крупными звездами, даже командированные не всегда в гостиницу являются, номер, бывает, забронируют, а ночуют в парке на скамейках, - газеты постелят и спят. И никаких приключений: ни воровства, ни насилия, все тихо-мирно долгие годы, а за воровство и насилие уже лет пять не судят, потому что некого. Выслушав хозяина, гости впервые откровенно и шумно развеселились, даже постояли малость, чтобы пересмеяться, от смеха ведь далеко не уйдешь, а то и помереть не вещь, правду говорят, - "чуть со смеху не помер". Хотя смеялись каждый о своем: Никсон живо представил себе упущенную возможность провести ночь а-ля Улугбек, а челюстным молодцам припомнилась встреча со шпаной в автобусе.

Впереди шло с десяток милиционеров. Держась под руки и особым построением образуя клин, они, как снегорасчисткой, сметали встречную публику с тротуара, прижимая ее к домам по одну руку и сваливая на проезжую часть по другую. В некотором от них отдалении ступали по чистому Никсон, взятый охраной в скобки, секретарь обкома и предоблсовета. След за ними валом валила номенклатурная толпа от полковника КГБ в штатском до директора чаеразвесочной фабрики. На полковника вице-президент возымел очень благоприятное впечатление, и он даже подумывал, глядя Никсону в спину: "Какой агент пропадает! Эх, оставили бы меня с ним наедине, я бы его быстренько уговорил". А на директора чаеразвесочной фабрики приезд Никсона подействовал так отрицательно, что он возмечтал сделаться миллионером и стал добавлять в зеленый чай люцерну и клевер, отчего чаю в пачках оставалось меньше и меньше, а люцерны с клевером больше и больше. В семидесятых годах его судили и на суде спрашивали: - "Откуда у вас девятнадцать миллионов?" - а он честно отвечал: - "Не знаю. Вообще-то я хотел всего миллион, а откуда взялись девятнадцать, сам удивляюсь". Со скоростью три километра впритирку к тротуару вице-президента и его присных сопровождал кортеж "зимов", "побед" и "волг". Спрашивается,

каково расстояние от мазара до гостиницы, если гости и хозяева добрались до места ровно через час?

Там было все на мази: створки входных дверей настезь распахнуты, вестибюль очищен от клиентуры и переоборудован под оранжерею, лозунг “догоним и перегоним” снят и заменен призывом “за мир и взаим”, персонал угодливо гнулся обáпол новой ковровой дорожки. Самад Шамсиевич вальяжно приблизился к м-ру Никсону и, даря его улыбкой, по-английски сказал комплимент. Бедолага, вот кому посочувствовать, сколько треволнений довелось человеку испытать за день. И ни одного фотографа поблизости. Растерялись ребята моржовые. Прохлопали. Не предучли. Не подгадали. Хоть бы занюханый любитель какой с довоенным “Фотокором”, - нет, никого. Кто восполнит пробел во всемирной истории? Только-то и надежды осталось, что, как Бог не без милости, так и казак не без счастья. Через десяток-другой миллионов лет промелькнувшее явление абсолютной истины, схваченное и запечатленное галактическими сферами, непременно вернется на землю и предстанет перед прогрессивной общественностью в виде миража в пустыне и в образе двух людей, пожимающих друг другу руки. Если, конечно, далекие наши потомки вдругорядь не прозевают запечатлеть на голограмму звездный час человечества.

Но больше всех переживал завбюро обслуживания Джура, когда среди отцов города и области узнал недавнего своего знакомца Арара. Он мигом сошел с лица и, сказавшись больным, отбыл с работы прежде времени. И дома ничто его не радовало: ни плов, ни дети, ни младшая из жен. Всю ночь он не мог сомкнуть глаз, потому что страшная угроза - “Вы за нас ответите” - держалась в ушах, как стекловата, и он жутко боялся, что его попросят из партии, а у него две семьи и обе многодетные, узбеки своих детей не бросают, - кто их теперь будет кормить? Поутру спальные бязевые штаны сползли с него так легко и свободно, как будто жена тесьму в них забыла вдеть. Попридержав их рукой, он встал на домашние весы и увидел, что килограммов гораздо не хватает. В конце концов он решил о беседе с Араром помалкивать и правильно сделал, поскольку американцы тоже никому на него не пожаловались. С тех пор он зауважал капитализм, и каждый янки получал от него, конечно, не все, что хотел, но ни один из них впредь не оставался без номера. Впрочем, все это побочно, параллельно и не суть важно, - пора возвращаться в большую политику.

Меня все эти годы крайне удивляло и продолжает удивлять поведение м-ра Никсона: почему и еще тысяча раз почему он не рухнул в объятия Самада Шамсиевича, как в сеновал, и теперь в моей коллекции большое зияние, потому что недостает картины "Лукулл встречает гостя". Он обошелся с моим добрым знакомым очень невнимательно, с ходу проследовал в апартаменты и попросил час времени его не беспокоить. Там он разоблачился и, допрежь всех дел, отправился в ванную. В ванне не было пробки, тогда он прошлепал нагишом к телефону и связался с сопровождавшими его соотечественниками. Арара в номере не было, он прогуливался по коридору, неся караул, а Диди собирался проделать то же самое, что и шеф, выкупаться, однако пробки и у них не оказалось, - возможно, поэтому м-ру Никсону пришли на память слова из американского бедекера: "Отправляясь в Советский Союз, не забудьте взять с собой две-три ваннные пробки". Но необходимость - мать изобретений, а вице-президент по должности был сметлив и быстро приноровился регулировать утечку воды пяткой. В общем, он довольно сносно помылся, чего не скажешь о Диди с Араром: им пришлось затыкать дыру собственными трусами. Сменив костюм на спортивную пару, м-р Никсон откинулся в креслах вздремнуть, но время истекло, брегет исправно прозвонил и одновременно с ним прозвучал дверной звонок. Старший гид "Интуриста", приняв стойку "чего изволите-с", в нарушение восточной традиции спросил заморского Ви-Ай-Пи, куда и когда тот отбывает. Прежде, чем ответить, вице-президент немного подумал, и мысли у него сложились не в пользу продолжения поездки: - "А в Бухаре что еще будет?" - спросил он сам себя и сомнительно хмыкнул. "В Москву, - сказал. - Завтра, утренним рейсом, пожалуйста". От участия в правительственном банкете он уклонился, сославшись на усталость, хоть это и не помешало застолью состояться.

Прошу не держать на меня обиду за то, что употребил иностранную пословицу "Необходимость - мать изобретений", будто у нас своих нет. В студенческие годы мне бы не сдобровать. Но клянусь честным словом, я не космополит, никогда им не был и к чужому фольклору прибегнул в иных видах. Конечно, есть у нас равносильная поговорка, возможно, даже посильней будет - "Голь на выдумки хитра", но для американцев она не подходит. Какая ж Никсон голь? Это мы голь. Это о русском народе сказано: голутвенные люди, голытьба, голота, голь перекатная. И пословица аккurate про нас, а не про иностранцев.

“Да что ж это за страна за такая?” - закричал Главный Буржуин и был прав. А ему в ответ погудку о том, как немчина спросали, Россия хороша ли. “Хороша-то, - говорит, - хороша, да житье там без барыша: строят сверху, кроют сбоку, начинают с конца, подпирают с неба, дурь сперва, ум опосля, ворам потачка, с дураков взыску нет”. И сидит народ поныне в прямой кишке, в глубокой жопе, и выдумывает впотьмах что-то нужное для хозяйства, а ему в очко кричат, как в трубу дудят: - “Ты славен, Иван! Ты мудр и могуч! Ты обречен на величие! С тобой надо на “вы”! Ты хлеб-соль-наш-свой! Мы тебе свечек геморройных, чтобы светлей было. Мы тебе лучший отработанный продукт. Ты там потерпи, а мы тем временем туда-сюда вокруг муд и опять тут”. Вот он и терпит. И будет терпеть, пока его хвалят, потому что привык, смерд, холуй, неумытое рыло, хорошо о себе думать. Чудная страна Россия. И все в ней одно к одному: что порядки, что люди, что события...

После отъезда высоких гостей областная газета “Ленинский путь” сделалась самой советской газетой в стране. М-р Никсон к тому дню был в Штатах, и наша периодика успела сбавить тональность и переменить тематику, но местная пресса как раз подняла скулеж и принялась бить градусники в сердцах на погоду. Она громила наголову агрессивный внешний курс США и отчитывала вице-президента по всем швам, как крыловская моська: за невоспитанность, за бескультурие, за предвзятость, за провокационные вылазки и за все, что в голову взбредет, когда всякая вина виновата. В одной статье, название которой я запомнил, но что-то вроде “У советских собственная гордость”, рассказывалось о том, как в редакцию пришла старая узбечка, принесла сто долларов и сообщила, что какой-то человек, сильно смахивающий на Никсона, подошел к ней в Шахи-Зинда, где она просила подаяние, и всучил наклейку от пивной бутылки, - “а зачем она мне, - недоумевала старушка, - если на нее нельзя хлеба купить”. Святая простота! - сейчас бы ей такую бумажку-этикетку хоть раз в год. “Нехорошо, г-н вице-президент, обманывать людей, - гневалась газетка в пустой след, зная, что ей ничего за это не будет. - Нашим людям не нужны доллары. Нашим людям не нужны деньги. Нашим людям вообще ничего вашего не надо. У нас свои ценности”. Враг был посрамлен.

А Самада Шамсиевича вызвали к первому секретарю обкома на правёж. “Сволочь! - сказал ему секретарь, не подавай руки. - Тебя надо повесить”. Однако ж не повесили. И на вид не поставили. И пальцем не тронули. Сошло, как с гуся

вода, поскольку обстановка в стране благоприятствовала. Вот если бы она не благоприятствовала, если бы, скажем, Никсону удалось с нами договориться и обменяться поцелуями, тогда другое дело, - затрудняюсь даже вообразить, что случилось бы с горемычным Самадом Шамсиевичем и по какому адресу он бы теперь проживал.

Через два дня вице-президент был в Вашингтоне и докладывал Эйзенхауэру о полном провале примирительной миссии. Никсону везло куда меньше, чем Самаду Шамсиевичу, - он вообще был невезучий. Но нет худа без добра; как политический деятель он нимало не нуждался в везении или в слепом счастье, - в этом его редкая особенность. Второй его приезд к нам тоже прошел всмятку, но иначе и быть не могло. Россия к тому времени собой представляла огромную кровоточащую рану, сплошь обсиженную жирными зелеными мухами, и заправлял ею всенародный избранник, человек непутевый, неурядливый и незадачливый. Его, правда, хвалили за интуицию, но похвалить за рассудок никто не рискнул, может быть, оттого, что такового не наблюдалось вовсе. Сравнительно говоря, наивысшую должность в государстве доверили фольклорному пушкинскому типу, который в практическом смысле ни на что не годился: ни ступить, ни молвить, лишь насмешить целое царство, - это он умел. Его выходки и чудачества подавались доморощенными клеветами под соусом неординарности мышления и поступков, поэтому всякая глупость была для него обыдень-дело, трын-трава. Он мог сойти с самолета и без нужды в сортире обосцать шасси, вертеться в хороводе под скомороха, дирижировать оркестром; щупать, походя, женщин за филейные места; вести себя с главами государств так же запанибрата, как с бомжами, и выходить на-люди, что называется, вдрабадан.

Был он достаточно косноязычен и уснащал свою речь паразитарным предикатом "понимаешь", в полной уверенности, что этак его лучше поймут. Он также говорил "обоих государств", брал фонетическую паузу на слове "альтернатива", на вопрос - "Сколько вы дадите нам суверенитета?" - отвечал: - "Сколько скушаете", - а произносил умное слово "трансферт", делался разительно похожим на Архимеда. Помимо народной неудобь-сказуемой терминологии, которую он в совершенстве освоил еще в бытность на партийной работе, в арсенале его ораторских приемов был жест, когда президент складывал кисть одной руки трубкой, а ладонью другой хлопал по отверстию; в мужском разговоре это обозначало "я ее трахнул", а в ответственном выступле-

нии перед телекамерой - "вот что мы сделаем нашим чеченским супостатам".

То и дело подражая выходками крепко подвыпившему купчику из серии развлекательных картинок "Русские в Париже", он вынуждал отечественную интеллигенцию содрогаться от прещения, хвататься за голову и выключать телевизор. Словом, это был деятель даже не третьего, а Бог знает какого сорта, который, добравшись до власти, срамил и позорил собственный народ, абсолютно не имея представления ни о достоинстве, ни о личной чести, ни о человеческой свободе, ни о независимости малых этнических групп.

Я подвожу читателя к заключительному тождеству: каков народ, таков и президент, а заодно и к украинской поговорке: видели глаза, что руки брали. Нет спору, что русский народ величина более длительная и постоянная, нежели его нынешний президент, поскольку у русского народа есть резерв времени, чтобы поумнеть: еще пара столетий; еще с десяток афганских, чеченских и гражданских войн; еще несколько пустопорожних попыток возвести светлое здание коммунизма, начав, по обыкновению, с крыши, а не исключено, и фашизма, и, глядишь, постепенно люди дозреют до простых заповедных истин,- не укради, не убий, не толкни падающего, не пожелай жены ближнего, ни вола его, ни дома его, ни имущества его, а пока... нет, держать такого президента себе дороже, невзирая, что дело, кажись, идет к тому.

Его называют смелым человеком, да ведь это не составляет, Гитлер тоже был не робкого десятка, а во-вторых, кто из нас во хмелю не смел? кому из нас по-пьяне море не до колен? Бахвал, грозящий разгромить на теннисном корте всех монархов и президентов; обманщик, именуемый реформатором, возродивший крепостную барщину без оплаты труда; наглец, изолгавшийся перед лицом правды и фактов, ему на полкопейки верить нельзя, - если он сказал, что берет то-то и то-то на свою ответственность и под личный контроль, можете не сомневаться, дело будет раз и навсегда загублено; человек с ярко выраженным эффектом Мида-са, только наоборот, - все, к чему он ни притрагивался и за что ни брался, превращалось в дерьмо; стоеросовый упрямец, идущий на поводу взгального своего характера...

Это он не пустил Никсона на порог, придравшись к нарушению церемониала, и послал навстречу американцу белоглазого служку сказать: - "Их высокостепенство не соизволяемс". Картина - закачаешься; президент не принял экс-

президента, предавшись чувству мелочной зависти и живя умом придворной камарильи. Ага! - значит, мы, понимаешь, сильны; значит, мы влиятельны, понимаешь; значит, мы еще моём того-понимаешь-сего, - эхма, задора ради одежды не жаль! И ни одна душа не подсказала президенту, что не мешало бы ему, политическому дилетанту и выскочке, переговорить с профессионалом первой руки, как частное лицо с частным лицом, а в отказе мало проку и никакой оригинальности, потому что подобный случай уже имел место, когда блажной московский дурак Иван Яковлевич Корейша, тоже очень интуитивная личность, не принял Николая Васильевича Гоголя, - разница лишь в том, что приснопамятный сумасброд содержался в психолечебнице, а наш друг коверный, король бобовый восседал в Грановитой палате, хотя резон у обоих один: встречаться Ельцину с Никсоном было так же безынтересно, как юродивому Корейше с великим насмешником Гоголем. Очень вскоре после того Ричард Никсон скончался, и Борис Николаевич не преминул откликнуться сочувственной телеграммой, - хорош булыжник в могилу покойного, скажете, нет? Этот ужасный конфуз и стыд, многожды пережитые, были последними разновесами на чаше авторских колебаний. Теперь повесть почти закончена.

Говорят, будто тридцать седьмой или восьмой президент Соединенных Штатов оставил по себе "Воспоминания" в нескольких томах. Я их, разумеется, не читал и потому не в курсе, описана ли в них поездка в Самарканд или нет, но если даже описана, думаю, что не войду с м-ром Никсоном в противоречия, рассказав об одном и том же событии, только с обратной стороны, куда посторонних не пускали, не пускают и не собираются пускать.

## V

В качестве послесловия привожу рассказ моего покойного приятеля и коллеги по совместному труду в газете "Советская Бухара". Собственно, рассказом его можно назвать с большой натяжкой, но как текст к пасквильной пантомиме, он на уровне. Бывает, - пишешь одно, получается другое. К тому же забытое, подспудное и нигде не опубликованное произведение изобильно воспроизводит затхлую консервированную атмосферу прежних лет, - такое даже членам Союза не всем подряд удавалось. И еще пара достоинств незаурядного покойного мастера: мертвая хватка и тенденция "Даешь партийную политику через художественную литературу". Тут он (чего греха таить?) добился нема-

лых успехов в жанре короткого рассказа, но будь у него побольше возможностей, он непременно создал бы произведение, не уступающее по масштабам ни “Черной металлургии” Фадеева, ни “Борьбе за мир” Панферова, ни “Югославской трагедии” Мальцева, ни “Кавалеру золотой звезды” Бабаевского. Литература чаще всего отстает от текущего момента этак лет на пятнадцать, а то и больше, но у него рассказы сходили, как блины со сковородки, один за другим и ни одного комом: лишь-лишь центральная печать задала тему, а через неделю он приносил готовую вещь. О ком он только ни писал: о Черчилле и о Гитлере, о Ленине и о Хрущеве, об Аденауэре и о Шпейделе. Не напиши он о Никсоне, я и поминать его не стал бы. Но он написал, и это решает. Звали его Василий Афанасьевич Лыба.

Он работал нештатным сотрудником газеты, вел рубрику “Неотложной юридической помощи” и непринужденно играл пером, из-под которого выходили стихи в прозе и проза в стихах, поэмы, рассказы, повести, научные статьи, законопроекты и диссертации. Последняя из диссертаций несла в потенциале высочайший коэффициент общественного переустройства и тянула на докторскую, а в дальнейшем на почетные звания братских Академий и называлась несколько длинновато, но короче было не сказать: “Полное уничтожение в социалистическом обществе закоренелых пережитков капитализма, как то: пьянство, курение, разврат, тунеядство, нецензурные выражения, воровство, азартные игры, нежелание честно трудиться и спекулянты”. Он знал, как это устроить и готовил нашему обществу комфортную жизнь, путем избавления ото всех пороков сразу или, как говорится, одним махом сто побивахом. К безутешному огорчению тех, кто его знал, фундаментальное научное исследование было прервано в связи со смертью маститого пасквилянта, - мир его праху.

Ему говорили: - “Василий Афанасьевич, вы бы читали больше”, - а он отвечал: - “У меня инфаркт. Мне читать врачи запрещают”. “А писать?” “Писать можно”. Так что писал он ради собственного здоровья и удовольствия, не пытаясь опубликоваться, а тем более, войти в Союз писателей, хотя запросто мог бы, туда и похуже брали. Его плоские, как подметка, политические портреты были очаровательны и напоминали китайскую акварель, лишённую тени и перспективы, - так им и надо! “Но ведь Шпейдель не был в войну генералом”, - выступал с критикой кто-нибудь из наших. “А кем же он, по-вашему, был?” - иронически шурился автор “Посылки генерала Шпейделя”. “Да никем. Ноль без палочки. Капитанишко на пяточок пара. Гауптман”. “Расскажите

вы ей”, - отвечал он нам. “А откуда вы, Василий Афанасьевич, знаете, что генеральшу звали Ляля?” - не отступали мы. “А откуда вы знаете, - резал он нас без ножа, - что ее звали не Ляля?” С ним невозможно было спорить. Он никому, опричь “Правды”, не верил. В творчестве он широко пользовался эпиграфами, которые свидетельствовали как о его вполне достаточной начитанности, так и о глубоком знании жизни. В разговоре он часто употреблял две подстраховочные прибаутки: “Не всяк тому так” и “Не надо дразнить быка за рога”, но творческую его сущность рекомендую искать в тексте по признаку: носящий мускус в кармане, да не кричит о нем.

### Солнце не потушить

*“Хозяин народа тот, кто ему служит”.*

Арабская народная мудрость.

Никсону не сиделось. Он схватывался с кресла и ходил из угла в угол по кабинету. То подбегал к столу и, нагнувшись, ставил какие-то синие кружочки и крестики на развернутой карте.

- Первым своим долгом я должен перестроить построенное. Я сделаю так, что превзойду Гитлера и Чингизхана вместе взятых, - вскрикнул Никсон, посмотрев на себя в зеркало. - Господин Хрущев и не предполагает, с кем ему дело придется иметь. Да и все они, - бросив карандаш, он поднял вверх кулаки. Затем снова схватил карандаш и провел толстую линию по карте от Берингова пролива до Леопольдвилля. И вторую - от Норвежского моря до Австралии. Вот мои планы! - закружилось в воображении кандидата в президенты США. - Я уже не кандидат, а без пяти минут президент! - взглянул на часы Никсон. - Скоро раздадутся телефонные звонки. Потом посыпятся поздравительные телеграммы, зашумит на весь мир радио...

Никсон опять посмотрел на часы. Ему казалось, что минуты тянутся годами. Он никак не мог дождаться результата подсчета голосов, поданных американским народом за него. А в том, что именно его, а не Кеннеди, изберут президентом, Никсон не сомневался.

Чтобы не так мучительно тянулось время, этот без пяти минут президент США начал просматривать некоторые переводы советских газет. Здесь были переведены и те шпаргалки, которые он прихватил с собой будучи в Советском Союзе. И те, которые переслал ему помощник военно-воздушного атташе при посольстве США в Москве Макдональд. В стопке переводов находились и такие материалы, которые Макдональд и подобные ему, рыская по стране Сове-

тов, собирали и направляли правительству Эйзенхауэра как агентурные сведения.

В большинстве из них сообщалось, где советские люди сооружают моря, электростанции, новые заводы.

На одном из переводов Никсон задержал свой испуганный взгляд. "На Полярной Звезде, - так начиналась переводная статья, - Герой Социалистического Труда Цой Дяим выращивает высокие урожаи сельхозкультур. На площади 42,9 га он собрал по 149,1 центнера люцерны. Позже Цой Дяим вырастил по 55,7 центнера хлопка на площади 42 га.

На Полярной Звезде имеется более двадцати Героев Социалистического Труда. А ихнему вожаку Ким Пенхва это высокое звание присвоено дважды..."

Никсона начало знобить. Он знал, что Полярная Звезда находится где-то на небе. Но где точно, это для него было тайной. Позвав из приемной личного секретаря, Никсон спросил: - Это правда, что Полярная Звезда на небе, или мне кажется?

- Когда я в школу ходил, то она была на небе в одном градусе от северного полюса Мира.

- Так и я помню. А это верно, что коммунисты на этой звезде освоили целину и выращивают люцерну и хлопчатник? - Никсон ткнул пальцем в лежавший перед ним перевод.

- Нет. Это вам кажется, - переведя взгляд с побагровевшего лица своего хозяина на бумажку, ответил секретарь. - Здесь переводчик сделал ошибку. Речь идет о колхозе "Полярная Звезда", расположенного близ Ташкента. А переводчик неправильно перевел предлоги и отбросил кавычки. Вот это верно, что госпожи Белка и Стрелка побывали на Луне... - взглянул секретарь на другой перевод.

Раздавшийся телефонный звонок прервал разговор собеседников. Никсон схватил трубку и приложил ее к уху.

- Я слушаю, президент Никсон. Благодарю вас за поздравление.

- Напрасно мылился, бритым не стал. За Кеннеди пошло более половины избирателей, - раздался пронзительный голос в трубке.

- Кто говорит?

- Все говорят.

- Это так или мне кажется? - задрожал Никсон, падая на исчерченную синим карандашом карту.

- Выборы прошли так. А положение на карте вам кажется, - посмотрел на шизофреника секретарь.

- Радио! Включи радио! - завопил Никсон, накинув себе на голову карту с начерченным крестом.

"От Москвы до самых до окраин дышет миром, дружбой

и свободой, - отчетливо зазвенел голос диктора по радио. - И теперь эти окраины простираются вширь далеко-далеко за южные горы и северные моря. А в высь они достигли Луны, на которой реет вымпел Союза Советских Социалистических Республик. И никаким самодурам не остановить мчащегося по планете коммунизма! Ибо солнце не потушить, а правду не заглушить!"

- И это правда? - затрясся посиневший Никсон.

- Истинная правда, - согласился секретарь.

- А-а-а! - заверещал Никсон тонким голосом, схватил шляпу и побежал к выходу. Больше его никто не видел.

Наверное, со времен мятежного протопопы Аввакума в каждом отечественном литераторе жила честолюбивая пушкинская мечта быть эхом русского народа, - жива она кое в ком и поныне. Однако Василий Афанасьевич, предчувствуя смену ориентиров, не особо на народ уповал и не так спешил поддакнуть ему, как выразить пером и голосом безоговорочную поддержку советской прессе, которая вышла на первый план и указала народу его место на задворках. Право слово, я не мог бы назвать другого автора, кто выразил бы так сильно, сжато и полно основные положения социалистического реализма, как единая капля воды выражает химический состав океана: тенденциозность, партийность, народность, типичность, умение навести тень на плетень и засветить подробности жизни, каких в ней сроду не было и быть не могло. Конечно, жаль, что автор "Непотушенного солнца" помер, но не рядовой гражданской скорбью живого по мертвому, а утраченными иллюзиями: будь все люди такими же, как он, коммунизм можно было бы строить до бесконечности.

Но в одном покойник был абсолютно прав: на народ нынче равняться нет резона и аукаться с ним прошли времена. Когда правитель, как в кои веки, выходит на Золотое крыльцо Теремного дворца и спрашивает многоголовую безликую массу: - "Ну что, ребята, а не подать ли мне, понимаешь, заявку на престол еще годков на пять, понимаешь ты?" - а ребята ему отвечают: - "Подавай, благодетель, подавай! Милостивец! Надёжа! Бачка-государь! Отец родной! Подавай, не сумлевайся! Царь-батюшка! Мы за тебя куда ходишь!" - быть эхом такого народа противно, потому что это даже и не народ, а клака.

Но вернемся к старым добрым шестидесятым. Как он его уел, а? - Василий Афанасьевич Никсона-то. Это надо же!

Не будем дразнить быка за рога: холодной войне предстояло длиться еще четверть столетия. Дурачьё дело нехитрое.

# СЦЕНЫ ИЗ АНТИЧНОЙ ЖИЗНИ

## *Роман*

### **I. Как во городе было**

**Г**ород был областной и азиатский, но такой старый, что счет годам потерял, и никто не мог сказать в точности, когда люди его построили, когда обживать начали, ничего неизвестно, потому что никакой памяти о тех людях до нас не дошло, кроме зданий, которые они обживали. По ним и метрику городу выправили, хоть и приблизительную, но все же: обозначили дату рождения до Рождества Христова, до нашей эры, а точнее знает один Бог. Тогдашние горожане, не говоря о них худого слова, были, конечно, с нами не сравнить, - темнота, безграмотность, невежество и никакого научного опыта, простых вещей не соображали: долголетием не отличались, а строили, будто тысячу лет жить надеялись. Сейчас так не строят, умней стали, культурней, для себя жить научились, наперед не загадывая: на мой век хватит и - баста.

В отличие от нынешних старинные постройки звали памятниками, и было их там - глаза разбегались. Сам городок поместился в оазисе, обложенный двумя пустынями, тесный, неколоритный, однообразный; внешняя жизнь на улицах и площадях ничего общего с двадцатым столетием не имела и графически напоминала собой кардиограмму ленивого сонного человека. Это накладывало на город особый отпечаток и наводило на мысль, что, невзирая на обилие памятников, никаких событий здесь не происходит и впредь не ожидается.

Иностранцы городок любили и съезжались со всего света с таким постоянством и нетерпением, точно свидания друг другу назначали на его кривых и невразворот узких улицах, где двоим едва разминуться, а уж заблудиться проще пареной репы, поодиночке лучше не ходить. Это были туристы, - они день и ночь толклись у памятников, выказывая любопытство и желая знать, сколько стоит этот мавзолей; почему минарет не падает, тысяча лет прошло, пора и честь знать; как пройти к крепостной стене, построенной на трех волосинках из бороды Пророка, и тому подобные пустяки, которые больше от сердца, чем от ума. Ради богатых

приезжих людей местные власти обзавелись новой гостиницей, агентство "Интурист" учредили, аэропорт отгрохали я-тебе-дам, переводчиков с экскурсоводами понанимали и обижались на Москву за то, что та всю валюту себе забирает. Так что жизнь шла своим чередом, и рядовые события все-таки происходили, а порой и из ряда вон.

Но не сразу, не сразу. Верно люди когда-то говорили: ничтоже поспекает, а паки и паки молва бывает. Откуда ни возьмись, настырные пошли слухи, будто бы собираются строить в городе по особому проекту четыре семизэтажных недоскрёба и недалек день, когда туристы и любители событий смогут собственными глазами увидеть с борта самолета в просвете меж облаками новый объект показа в виде четырех букв - СССР, а крыши новостроек выкрасят суриком, чтоб сверху видней было, и в последней букве разместят городскую тюрьму, потому что все есть: закрытый двор для прогулок, длинный флигель для персонала и разные удобства. Областная газета подтвердила слухи стихами:

За дальним прудом  
Ударным трудом  
Мы новый массив создаем,

хотя никакого пруда в городе, разумеется, не было, ни дальнего, ни ближнего, а был большой пустырь, поросший ярко-зеленой верблюдкой и крапивой ростом с коноплю, куда горожане заходили опорожниться, распить одну на троих или собрать стеклотару. Вскоре слухи поостыли, народ успокоился, а на пустырь прибыла техника и стали готовить котлован с траншеями для закладки фигурного фундамента.

Машинист экскаватора, вчерашний петеушник, сноровисто вогнал ковш в землю, поднял и понес к самосвалу, но на полпути заметил, что в ковше не грунт, а что-то несуразное, белые ёлки-палки какие-то. От неожиданности он нажал на сброс, и едва палки со стуком ссыпались наземь, парень разглядел, что это человеческие руки и ноги, а точней то, что от них осталось, когда мягкая плоть в землю перетекла. Казалось бы, ну что в них особенного, кости как кости, обыкновенное дело, но среди них не было ни ребер, ни лопаток, ни тазов, ни позвоночников, ни черепов, и оттого одолевала жуть, словно останки подсказывали, что на том месте в кои веки четвертовали самых страшных злодеев, руки-ноги закапывали прямо тут, а остальное поодаль. Экскаваторщик вывалился из кабины и с долгим пронзительным криком скрылся в зарослях крапивы.

Людская память сбивчива, коротка и с пробелами, пола-

гаться на нее трудно, в особенности, когда человеку неохота о неприятном вспоминать, и он добросовестно кой о чем забывает. Работяги призадумались и стали ворошить прошлое, пока не пришли, оступаясь и спотыкаясь, к сорок первому военному году, лишь тогда вспомнили, что был тут вначале сельскохозяйственный техникум с опытным полем, где нынче пустырь, и росла на нем всякая полезная всячина, а как немец на нас попёр, в здании разместился тыловой госпиталь для тяжелых. Здесь их день и ночь резали, зашивали, кроили, штопали, но поправлялись через одного, а померших хоронили на опытном поле, недалече везти, да там же ампутированные конечности закапывали. К концу войны набрался полон госпиталь культяпых и нехожалых калек, и никто не хотел их забирать, даже родственники, а поле превратилось в кладбище, где каждый холмик был помечен обелиском со звездой и дощечкой, на которой въедливой краской было написано, кто и когда, только в самом низу у всех одинаково - помер от ран. В сорок восьмом году оставшихся полулюдей вывезли кого в Соловки, кого на Ва-лаам, кого куда, чтоб на нормальных совграждан унылость не нагоняли, - тогда же в здании опять учредился техникум, но не сельскохозяйственный, а торгово-кооперативный. Военное кладбище сперва не трогали по каким-то соображениям, но вскоре начисто о нем забыли, и оно год за годом ветшало, рушилось и зарастало бурьяном. К шестидесятым годам звезд не осталось ни одной, обелиски скукожились, похилились, какие попадали, и много дощечек с фамилиями безвозвратно пропало. Могилы попроваливались и обозначились не холмами, а ямами, отчего солдатский некрополь обрел вид пересеченной местности, сильно загаженной человеческими нечистотами.

О семидесятих годах не приходится говорить, - к тому времени кладбище называлось городской пустошью. Было, правда, в парке еще одно воинское захоронение - красота, пальчики расцелуешь, никакого сходства: аллея победы, могилы, как на параде, чугунные плиты с фамилиями и явным покушением на вечность, охровый суглинок специально возили из братской республики по-соседству, розарий, вечный огонь, а над ним скульптурный воин, преклонив колена, каменные руки греет и, само собой, скамейки, беседки, чтоб, значит, вздохнув, погрустить и с удовольствием поразмыслить насчет бессмертия и вечной славы. Однако горожане о показательном кладбище отзывались нехорошо по двум причинам: сооружали мемориал в ночное время, а почему ночью старались, - что им, дня не было? Другое в

том, что неизвестно, откуда останки брали, вполне возможно, из той же братской республики, а кладбище при госпитале никто не трогал, по земле было видать. Короче, событие назревало и непременно должно было произойти.

Перепуганный экскаваторщик погоды не сделал, но работу застопорил. Выяснив, подо что они копают, рабочие струхнули не на шутку и загутарили, что дело худо, отвечать придется, не мешало бы спросить кого повыше, чтоб потом голова не болела, пусть растолкует и лично даст распоряжение. Приехал обкомовский важняк, велел строителям не метать икру и не пороть горячку, ничего особого не происходит, их (померших от ран, то бишь) уже не вернешь, хоть золотом осыпь, а это тоже не дело, когда мертвые живых утесняют, потому как живой о живом думает, правильно, нет? вот и скажите, чего делать: или производить жилплощадь для ветеранов, или же отдать участок погибшим, которым теперь все равно, правильно, нет? а сюда никто не придет, сам Махмуд Рахимович сказал, потому что засрано, какое это кладбище? а ежели кому охота с мертвяками пообщаться, пускай приходит в парк, где прекрасный мемориал и все условия, в том числе почетный караул недавно поставили, так что давайте не будем останавливаться перед прошлым, нам за это никто "спасибо" не скажет, не зря говорят, кто прошлое вспомнит, тому глаз долой, правильно, нет? В общем, убедил он их и отбыл по своим делам, а самосвалы повезли кости на свалку за город, и водители тогда же заметили, что у многих скелетов действительно то руки не хватало, то ноги, остальное было при себе.

Следующее событие произошло, смешно сказать, за тридцать пять лет до того, в сорок первом году и далеко от азиатского областного центра. Вы скажете, - так не бывает, а я отвечу, - бывает, тому нас и логика учит, что цепь повествовательных событий не всегда выстраивается с хронологической последовательностью. Если второе по значимости событие засветить сейчас же, оно, пожалуй, никому особо значительным не покажется. Допустим, что археолог Сергей Николаевич Юрэнв, работавший с двадцатых годов на раскопках в каракумских чулях, был перед самой войной командирован в Калининский музей краеведения и очутился на оккупированной территории, когда немцы заняли древлегрекомый город Тверь, тогдашний Калинин, - ну, и что из того? Предположим, что он сотрудничал с захватчиками, пока они там были, имел аусвайс, паек, дрова и всякие поблажки, - а почему нет? не помирать же с голоду; это партийные говорили "парторг разрешает самоубийство", а бес-

партийным жизнь всегда мила. Теперь представьте, что он удерживал в схроне от вывоза в Германию полотна областной художественной галереи, весьма при этом рискуя головой, - тоже могло быть при наличии общих чувств и национальных чаяний, за такое орден Ленина самое мало. Что тут сказать? - человеку вообще свойственно заблуждаться, а при тогдашнем житье-бытье тем больше и чаще.

Когда наши вернулись, он передал им по описи сбереженные ценности и в тот же день его посадили, так как причины, побудившие его рисковать жизнью, были признаны плохо мотивированными, неубедительными, подозрительными и никем не предусмотренными ни по партийной линии, ни по советской, ни даже по части партизанской самодеятельности, короче говоря, никаких оправданий, и никто его не просил. Поскольку же арестант родом был из той же древлерекомой Твери и имел там родственников, выяснить обстоятельства не представлялось сложным, и скоро комиссия узнала, что археолог Юренин происходил из столбовых дворян первой книги записей времен царя Михаила Федоровича, что прабабка его по женской ветви доводилась кузиной Кондратию Федоровичу Рылееву, что двоюродная тетка Настя из рода Араповых была замужем за генералом Маннергеймом, а в тверском доме деда, Николая Егоровича, служил смолоду в казачках Михаил Иванович Калинин и набирался хороших манер, они здорово ему впоследствии пригодились на должности всесоюзного старосты. К счастью для Сергея Николаевича, несколько ранее того Отец Народов некстати поторопился со своей сентенцией "сын за отца не отвечает", и одной статьей (соцпроисхождение) в уголовном кодексе стало меньше. По причине этого самого председателя комиссии с приговором решил обождать, так как расстрелять давно надо было, судить поздно, а отпустить рано, и велел отправить спасителя художественных ценностей в тюрьму до приискания улик, - была такая негласная мера пресечения в те годы.

В узилище он благополучно просидел шесть лет, а тем временем и улики появились в виде двух облыжных статей в газетах, написанных писателями Симоновым и Полевым, после чего Сергею Николаевичу дали, по его собственному определению, "пятьдесят восьмую измену родины в особо крупных размерах" и отправили в Тайшетские лагеря сроком на десять лет без учета шести, отбытых в ожидании приговора. Словом, не так скверно, как могло быть, а с Полевого и Симонова, что с них взять? Писатели и поэты люди грамотные, работают на заказчика, примерно, как в

Древней Греции, когда всякий закон оглашался не раньше, чем был красиво изложен стихами и провозглашался нарсапев, ввиду чего литераторы являлись государственными людьми на твердом окладе.

Событий, достойных памяти, за десять лет отсидки тоже было не густо. Для начала на очередном шмоне у него изъяли нательный крест, который он прятал в заднем проходе, а начлаг обожал по ночам шмонать и лично присутствовать. После того как нары были осмотрены, а матрацы и барахло до швов прощупаны, осужденным приказывали раздеться наголо, построиться в две шеренги лицом к нарам и, разведя ноги, согнуться под прямым углом по стойке "раком". Получалось два ряда дистрофических жоп, а вы знаете, какая у дистрофика жопа? Каверна. Клоака. Черное зияние. Аэродинамическая труба, куда четвертинку водки сунуть запросто, и зеки пользовались анальным отверстием, как тайником для сокрытия особо нужного имущества.

Между двумя шеренгами вдоль барака неторопливо двигался начлаг, читая наизусть Горького и являя тем самым высшее гуманитарное образование. "Человек - вот правда! Что такое человек? Не ты, не я, не они, нет! Это ты, я, они, старик, Наполеон, Мухаммед - все в одном". Редко-редко среди тощих мослатых ягодич встречалась пышная, румяная, окатистая жопа с мускулистой прямой кишкой и плотно поджатым выходом, тогда начальство прерывало монолог и приказывало охране с помощью указательного пальца исследовать аналы у новичка. "Вы понимаете? - обращался он не к людям, а к местам тела, что в армии называют казенной частью. - Это огромно! Вбирая начала и концы... Все в человеке, все для человека! Только человек существует, остальное дело его рук и ума!" Однажды он задержался, когда заметил тесемку, провисшую между жердатыми бедрами Сергея Николаевича. Это был нательный крест, носить который запрещалось под страхом карцера. Охрана, понятно, без труда его вынула, и начлаг проследовал дальше, не сбиваясь с роли: - "Человек - это великолепно! Это звучит гордо! Не жалеть человека, нет, жалость унижительна, но уважать. Уважать!" Его невозможно было слушать без содрогательного чувства прещения, однако ж постыдное действие обостряло слух, притягивало внимание и придавало барачной обстановке вид драматизированной театральности.

В другой раз его позвали к уже знакомому начлагу, и тот показал ему несколько фотографий, где Сергей Николаевич был снят то в лапсердаке с каторжным номером на лесоповале, то в исподнем на больничной койке, то в рабочем

строю на марше и даже в столовой, облизывающим алюминиевую ложку. Это оказались снимки с фотовыставки ООН на тему "Жизнь и приключения советской интеллигенции", и Сергей Николаевич наотрез отказался от сопричастности ко вражескому вернисажу. Времена были сталинские, власть ко всякой зарубежной клевете относилась болезненно, словом, кончилось тем, что администрация предложила зеку Юреневу подать на помилование. Он заупрямился и в который раз повторил, что ни в чем не повинен, а если хотят его выпустить, пусть выпускают безо всяких-яких. Из Главупра пришел ответ: быть по сему, срока не продлять и по истечении освободить. Наверное, понадобился он кому-то на воле, политических просто так не отпускали.

Напоследок его еще раз вызвали к началу, который вернул Сергею Николаевичу нателный крест и предложил ознакомиться со списком городов, где ему запрещалось проживать и трудиться. Тот не стал читать, лишь спросил, можно ли туда-то, и назвал древний азиатский городок с пустынями и миражами. Не найдя названного города в проскрипционном списке, начальник ответил утвердительно, хотя выбором был озадачен и потому спросил: - "Зачем же вам к чучмекам? Ехали бы в какое-нибудь районное сельцо, спокойно б жили, даже отмечаться не обязательно, если отношения наладить". "Мне за командировку нужно отчет дать, - ответил Сергей Николаевич. - Люди чёрт знает что подумают могут, - сколько лет, как уехал, и никаких вестей, а я в тех краях с двадцатых годов по сорок первый почти постоянно".

По прибытии на место он первым долгом явился в КГБ и попросил дозволения жить и работать. Ему дозволили, но выезжать без ведома из города запретили. Поселился он в медресе Ханской Матери, где нашлась свободная худжра, бывшая когда-то студенческой кельей. Постройке к тому времени завершалась пятая сотня лет, но в ней, как и прежде, жили люди, и она числилась на балансе горкомхоза. Нанялся он в сторожа, - туда не требовалось ни фотографий, ни биографий и условия подходящие: сутки сторожить, трое дома. На первых порах, влекомый памятью, он гулял по кривым улицам, здоровался с памятниками, и с ним здоровались встречные узбеки и таджики, когда узнавали его, только называли не по имени, а по отчеству и на свой лад: мулло Николай.

Раз он забрел на госпитальное кладбище и, за неимением иных занятий, принялся убирать первую попавшуюся могилу. Это ему так понравилось и настолько увлекло, что на

следующий день он захватил лопату, рукавицы, топор, клещи, молоток с гвоздями и принялся за дело с таким воодушевлением, будто до чего доброго дорвался, и песня, вечная помощница работающего человека, сопутствовала ему, как в прежние дни на марше из зоны в зону:

Ать-два, ой-я!  
Кому давала Зоя?  
Давала Зоя стоя  
Начальнику конвоя.

И припев, исполненный тихой грусти и разбитых грёз:

Каша манная, ночь туманная,  
Обманула, не дала, окаянная.

Песню нарушили трое люмпенов, - они распили пару бутылок бормотухи и от души повеселились, когда узнали, что никто его не подряжал ни крапиву корчевать, ни надписи подновлять, это он по своей охоте, дураков работа любит. Вслед за ними явился по стеклотару, как в лес по грибы, неприлично грязный старик с утра на взводе, да собирая бутылки, влез в говно и попенял Сергею Николаевичу, - мол, чем могилы бесполезно ухаживать, лучше б срань здешнюю почистил. Затем пришла набожная бабка и, оксотившись крестным знаменьем, спросила, не сродствие ли какое часом-ненароком, не сынок ли, борони Господь, от ран военных упокоился, на что Сергей Николаевич ответил, что никого у него тут нет даже знакомых, просто захотелось, чтоб каждый понимал, что место это свято, и не ходил бы сюда по нужде до ветру, а сказал бы по-мусульмански: - "Здравствуйте, люди мертвого города". Старуха испугалась, забормотала "Свят, свят, свят" и пропала в зарослях крапивы. Наконец, пришел милиционер и долго ему втолковывал по-узбекски, пока Сергей Николаевич не уловил слова: "ны положим" и "партия обкоми". Что работать ему не дадут, он понял сразу, но не стал возражать, будучи в курсе морали закрытого общества: благотворить, добродетельствовать, поддерживать материально или бескорыстно оказывать какую бы то ни было помощь посторонним лицам в частном порядке строго преследуется как нарушение монопольного права партии на милость и доброту.

Вместе с тем до него дошла еще одна мысль - кладбище, где похоронено около полка солдат, одному не поднять. Тогда он смастерил сажень, встал ни свет ни заря, обмерил участок вдоль и поперек, после чего без труда вычертил топографическую карту местности, с профессиональной точностью обозначив каждый заметный признак вплоть до последней провалившейся могилы, и не только обозначил, но

и переписал то, что можно было разобрать на фанерных дощечках, которые словно его только и ждали, прежде чем вконец осыпаться. Это была победа: две трети полка, шестьсот солдатских душ с лишком, не канули в безвестность, им можно было сделать поверку, они все еще как бы находились на переднем рубеже поименно, со званиями, с датами, порой с наградами, и даже те, что вовсе ничего кроме фамилии не имели, тоже оставались в строю живой памяти. Об остальных никак нельзя было сказать, что передового полку прибыло, и уже никакие дознания не могли выяснить, где кто лежит, что он был за человек, каких мест уроженец, семейный-холостой, стар-молод, где его достала немецкая пуля или осколок, куда угораздило и сколько ему тогда было лет. Родина-мать, которую они заступили от врага, себя не жалея, оказалась страной неизвестных солдат, мертвых душ и живых трупов.

За год-полтора он порядком оброс вещами, ему ранее принадлежавшими. Он любил вещи и был воспитан на вещизме, но не тем стяжательным азартом, что обычно подается как главная составляющая совгражданина средней руки с мечтами, не идущими дальше дачи и машины с гаражом, а на понимании самоценности элементарнейших предметов в каждодневном быту и на чувстве выработанного к ним пристрастия. Ему здорово повезло, что суд второпях не конфисковал его пожитки, как это обыкновенно делалось, благодаря чему друзья и знакомые вскоре вернули Сергею Николаевичу его библиотеку почти целиком, а племянница Оля прислала из Твери старое фортепьяно, принадлежавшее его матери; после двадцати лет разлуки с вещами он был вне себя от радости и находил свою жизнь сложившейся как нельзя лучше.

Но не он один получал вещи, другие тоже были. Из столицы по спецсвязи в областной комитет государственной безопасности поступили две увесистые папки столь внушительного содержания, что тесемки с трудом сходились: в них заключалось самое подробное жизнеописание археолога Юренева от молочных зубов до седых волос, составленное многими соавторами, которые по странной прихоти называли Сергея Николаевича не так, как принято в обществе, а непременно фигурантом или объектом. Чего там только не было! от газетных вырезок с фамилиями Симонова и Полевого до кратких рапортчиков с подписями: "семнадцатый", "двадцать третий", "пятый"...

С первых подшитых и пронумерованных листов выяснялось, какую змею пригрела пролетарская Родина на своей

исхудалой рабоче-крестьянской груди, и по прочтении нескольких страниц становилось понятно, что такого в высшей степени отрицательного героя не видывала отечественная литература со времен Ваньки Каина и что таким, как он, не место на просторах Родины чудесной, разве что где-нибудь взаперти и подальше. Биографию открывала диаграмма, изображавшая генеалогическое древо, в начале которого был записан некто пан Юрэневский, поляк и шляхтич, не так знатен, как ратен, поступивший на службу к тверскому князю, но быстро переметнувшийся к князю московскому. Казалось бы, нечем хвалиться, налицо факт государственной измены, и если бы столицей русских княжеств сделалась Тверь, никакой генеалогии не воспоследовало бы, а с предателями тогда, как и нынче, не особо чинились. По счастью, одолел московский князь, и изменник был причтен к патриотам, обласкан, взыскан, возведен в воеводы и, перейдя в православие, стал, как истый русич, писаться Юревым.

Нет спору, что это придает мотивации поступкам фигуранта по части сбережения тверских культурных ценностей и объясняет его поведенческую линию на загаженном госпитальном кладбище, но вместе с тем показывает, насколько он непереносим на́-дух в условиях социалистического строительства и коммунистического идеала. При таком родословии уповать на перевоспитание не приходилось. Здесь что главное? Чтоб человек дальше собственного деда никого не знал, а когда у него ни корней, ни традиций, ни обычаев, ни состояния, заморочить голову пара пустяков и воспитывать в духе новой морали одно удовольствие, поскольку за неимением сравнений, критериев и шкалы не составляет труда убедить хоть кого, что "плохо" - это "хорошо" и чем оно хуже, тем лучше. Перековать же такого, как фигурант, дело хлопотное: вместе с родословной он сохранял православное исповедание, родовые обычаи, причастность к событиям и историческую память с именами предков, как собственную автобиографию, - одного убили на Куликовом поле, другого под Казанью, третьего под Оршей, четвертого в Лейпцигской битве, в общем, их били, а они, знай себе, плодились да рождались то с Милюковыми, то с Корфами, то с Оболенскими, и не было на них управы до семнадцатого года, пока советская власть не сделала им укорот молотом по голове, серпом по яйцам за то, что не хотели признавать первичность государства и вторичность любого отдельно взятого фигуранта. Все вроде бы шло как нельзя лучше, и каждому поколению со школьной скамьи

внушали правило: не можешь - научим, не хочешь - заставим. Три поколения были воспитаны в духе “Крой, Ванька, Бога нет”, система, как машина, перемалывала посторонние возражения, взгляды, доказательства, и никто не предполагал, что она когда-нибудь сломается.

Немаловажная деталь. Расхожая партийная премудрость гласит: “Назови твоего знакомого и я тебе скажу, по какой статье он загремит”, - а у фигуранта какие знакомства? не патриарх Тихон, так академик Марр. Он, правда, больше тяготел к людям исторической жилки, в особенности, что касалось исламского Востока, - тут за ним числились Бартольд, Крачковский, Гирс, Семенов и иже с ними. Впрочем, он никого не слушал и пренебрегал мнением вождей, с кем можно водиться, с кем нельзя, а это уже ни в какие ворота. Ну, вообразите себе, что наши писатели вопреки официальным рекомендациям продолжали бы раскланиваться и любезничать с Зощенко, Ахматовой, Цветаевой, Солженицыным, - разве это нормально?

Маяковского, к примеру, он презирал за жадность и правильно делал, потому что имел все основания. Как-то пригласил он Владимира Владимировича почитать стихи тверской интеллигенции, а тот не только заломил разбойную цену, но еще и деньги наперед потребовал, - этому вполне можно верить, он по теме налогообложения стихи писал и с фининспекторами скандалил. Зато с Есениным договорились без труда, он сразу же и поехал, и вечер прошел расчудесно. Сергей Александрович был слегка подшофё, но читал великолепно и без антрактов, лишь когда по малой надобности приспичило, он на минутку прервался, чтобы сойти с подиума и помочиться в кадку с пальмой. А фигурант его захваливал - “Какой милый хулиган!” - хотя вся страна была в курсе: Есенин поэт не-наш, упадочнический, аполитичный, изгнанный из русской литературы, запрещенный к публикациям, и чтение его стихов чревато.

Даже когда взгляды фигуранта и режима совпадали, вскоре обнаруживались существенные расхождения в общих, казалось бы, симпатиях или неприязни. Так, Лев Николаевич Толстой был любим и фигурантом, и советской властью, но власть любила его отвлеченно и с чужих слов, как трюмо русской революции, а фигурант зримо и напрямую, как живейшего из тех, с кем ему посчастливилось лично встречаться. Дело первой декады столетия; фигурант жил тогда с родителями в Москве, учился в гимназии и возвращался с товарищем после классов домой. Видят, навстречу им по Хамовникам топают старичок-середнячок в

нагольном тулупчике, в подшитых валенках, - они на него как глянули, так и поздоровались, потому что граф Толстой, тот самый, который прелесть и душка, им же весь белый свет зачитывался до бессонницы. Они молча повернули вслед, дабы подышать с гением одним воздухом, и скрадом пошли за ним, боясь, как бы снежок не захрустел под ногами. Шли они, шли, как вдруг... Извините, хотелось бы вам это поделикатней преподнести, потому что в чистом поле на просторе у ракитова куста или на безлюдной темной улице все мы этим делом грешим, правда, с оглядкой через плечо, и никому не приходит в голову, что это непристойно, недостойно и так далее. В общем, шли они, шли, как вдруг гений громко пёрднул, и их обоих точно пулей срезало. Оба разом остановились и, не удержавшись, рассмеялись, а Лев Николаевич обернулся и, глядя на них, тоже засмеялся, и они встретились взглядом, и это была минута наивысшей гордости и немеркнущих воспоминаний. В самом деле, кто в семидесятых годах мог бы похвалиться, что видел собственными глазами Толстого? А фигурант мог.

Семьи он не заводил и, подобно своему испанскому образцу, знаменитому идалго, которого в России стар и млад в лицо знают, никогда не был женат, но в близких и дальних знакомых недостатка не испытывал, а в друзьях по-настоящему был счастлив, о том же и биографы рассказывали: отмечен в нежелательных связях, непатриотических разговорах, подозрительных сборищах и нелояльном отношении к компетентным органам, которые неоднократно предлагали ему на выбор дружбу, любовь и товарищество в форме переписки, а он камень положил в их протянутую руку.

Родственники тоже были почтены подобающим местом в сокровенных папках: племянник Ростислав Николаевич и внучатый племянник Андрей Ростиславович, а по словам Сергея Николаевича, племенной бычок измелывавшего рода, - оба Юренева, москвичи, деятели киноискусства, оба выездные, - они хоть и редко навещали дядю, но аккуратно снабжали его бразильским кофе и голландским трубочным табаком, который он очень любил. Племянница Ольга Владимировна, тоже Юренева по праву старой девы, проживала в Твери, то бишь в Калининне, и ввиду преклонного возраста наведывалась еще реже.

Немало неприятностей доставила ему профессия. Закончив до революции археологический факультет Санкт-Петербургского университета, он назывался археологом и много ездил по стране. А кто такой археолог в народном понятии, как не тот же кладоискатель, что ничем не отличает-

ся от старателя, - ищет, где не прятал, и берет, где не ложил, словом, человек устный, таинственный и при жизни окруженный мифами, добрая половина коих вполне правдоподобна. Была у Сергея Николаевича догадка, что кто-то поставил на него чересчур много, когда ему предлагали подать на помилование в расчете, что дело пойдет по наработанной схеме: если преступника неодолимо влечет на место преступления, то археолога к месту сокрытия тем более, и никуда он не денется, приведет, как миленький, к неведомому кладу, о каком один он знает, а там несметные бактрийские сокровища блестят и драгоценные камни во тьме светятся, электричества не надо. Следует отдать должное правительству - оно с первых дней глядело далеко вперед, когда положило нищенское содержание всем категориям трудящихся, связанных с материальными ценностями, провоцируя их в минуту жизни трудную на воровство и сокрытие, а человека укравшего или утаившего подловить на месте было как дважды-два. Археологи руководствовались следующим правилом: если при раскопках в присутствии нескольких человек обнаружены ценности в виде изделий из мягкого желтого металла или цветных камней, все до последней пылинки передавалось по акту в доход государству, но в случае, ты открыл захоронение без свидетелей и нашел там что-то путное, не будь дурак, закрой его поскорей, пометь на карте системой координат и никому не рассказывай. Археологи вообще пользовались сравнительно большей свободой, чем другие, и могли кое-что себе позволить; на раскопках у Массона в Туркмении от начала до конца висел призыв - "Дадим двадцать четвертому съезду партии двадцать четыре новых черепа".

Один из биографов приводит любопытный случай: на вопрос, не одолевает ли человека страх, когда он в одиночку копается в чужой могиле, какой бы древней она ни была, объект ответил, что однажды испугался буквально до заикания, потому что не обнаружил покойника, то есть, скелета, а остальное лежало на месте: дорогое оружие, верней, то, что от него осталось, - окольцовка ножен, рукояти из неокисляющегося металла, вкрапления разноцветных камней, да еще пряжки, амулеты, литые украшения, посуда и пластины искусной чеканки, - на одной из них человек в островерхой шапке обувался, наматывая на ногу портянку, точь-в-точь, как у нас по сей день солдаты делают, а другая нога была уже в сапоге. Прежде чем успокоиться, объект хорошенько поразмыслил, что грабеж и некрофилия здесь ни при чем, скорей всего, это была месть с ритуальным хище-

нием трупа, вот и все. А уж передал ли объект сокровища государству, забрал ли с собой сразу или закидал раскоп глиной и пометил на топографической карте, биограф умалчивает, надо думать, чтобы не навлечь на себя подозрения со стороны объекта. Зато другой биограф склонен предполагать, что находку объект определенно утаил и приберег на черный день и что подобных находок у него, вполне вероятно, не одна и не две, иначе он не улыбался бы иронически и не говорил: - "Неужели вы считаете, голубчик (всех своих знакомых он называл душеньками и голубчиками), что вашему покорному слуге попадались одни оссуарии с костями да керамические черепки?"

Возобладала точка зрения второго биографа. В компетентном учреждении разработали оперативный план под кодовым названием "Али-Баба" и задействовали его на перспективу, как штаны на вырост. Это был замечательно хитроумный план и название - лучше не придумаешь, оттого что всем было понятно, кто Али-Баба, кто разбойники, сколько их по штатному расписанию, под какой вывеской прячется их пещера и как зовут атамана этой шайки-лейки, - тысяча и одна ночь! За объектом установили наружку и, пользуясь его общедоступностью, обложили сворой борзых нештатников из числа союзной молодежи и студентов. Иной раз доходило до курьезов.

- Сергей Николаевич, мне сказали нарисовать план вашей комнаты. Если вы не против, я бы прямо сейчас...

- Сделайте одолжение, душенька. Садитесь сюды, тут вам будет обзорней. Вот бумага, вот ручка, а я попутно буду объяснять, - нуте-с. Э-э, да вы в черчении не особо, как вижу, дайте-ка сюды, тэ-эк, тэ-эк, ну, теперь порядок и пропорции выдержаны. Так что вас интересует?

- Это у вас...

- Книги.

- А за ними?

- Кирпичная кладка, пятнадцатое столетие, извольте взглянуть.

- А это?

- Заяц. Исфаганская работа, эпоха тимуридов. Моя хозрезмская находка.

- Он из чего?

- Из меди. Возьмите в руки, это интересно.

- А из серебра чего-нибудь, из золота хотя бы...

- Из серебра? Ну, как же! Вот нательный крест из серебра. А из золота абсолютно ничегошеньки. Не держу и вам, душенька, не советую.

- Какая интересная фотография.

- Тогда это называлось дагерротип. Мой дедушка Николай Егорович, артиллерист и полковник, участник европейских революций с другой стороны баррикад, чистил Балканы от турок, покорял Среднюю Азию. Лично был известен государям Николаю Павловичу и Александру Николаевичу. По отставке соседствовал с Михаилом Евграфовичем, водил с ним хлеб-соль.

- Кто такой?

- Вице-губернатор. Моя тётка терпеть его не могла, до старости поносила: - "Какой противный старикан! Какой мерзкий, поганый старикашка!"

- На этой иконе кто нарисован?

- Мой именной покровитель и любимый святой, преподобный Сергей Радонежский.

- А здесь?

- Рельеф. Резьба по дереву. Дон-Кихот Ламанчский.

- Тут у вас что-то занавешено, можно посмотреть?

- Ради Бога. Только сначала вспомните какую-либо неприятность, вами пережитую. Вспомнили? Ну те-с!

За куском ферганского шелка в тонкой отполированной раме под стеклом экспонировалось, как на вернисаже, превосходно написанное слово "Насрать". "Ну как? - спросил Сергей Николаевич расшалившегося студиозуса. - Отлегло? Полегчало? В несчастье или в беде это не помогает, но в огорчениях помельче вызывает улыбку, бодрит, снимает досаду".

Неделю спустя студент-нештатник пришел опять, но на этот раз не зондировать объекта, а честно баш-на-баш поделиться гонораром. Хозяин много шутил и балагурил, уговаривая гостя: - "Нет, нет, что вы, что вы, полно вам, душенька, ваши труды, ваши заслуги, вы хорошо поработали, ваше рвение не пропало даром, сколько? ого! полторы стипендии, талант, бесспорный талант, поздравляю". В конце концов он его уговорил, они даже кофе попили, после чего студиозус ушел и больше не показывался, был слух - кому-то проговорился и из банды его уволили после того, как им стало известно, что стажер допустил в работе преступную мягкость, пытаясь материально поддержать Али-Бабу за счет вертепа. Затем в жизни объекта произошли важные перемены, и он уволился из сторожей.

Бывшие корпоранты по цеху кладоискателей, вышедшие к тому дню в доктора и в академики, не забыли своего сотрудника довоенных лет и принялись бомбить руководящие инстанции как авторитетом ученых имен, так и настойчивы-

ми просьбами разрешить археологу имярек трудиться по специальности, пока не получили “добро” и пока академик Шишкин не увез Сергея Николаевича в Кизил-Кумы раскапывать древнюю Варахшу. С тех пор он бывал дома лишь наездами да зимой, а на дверях худжры висел сверхнадежный замок “гиря”, отомкнуть который мог не только домо-владелец, но и еще душ сорок из пещеры неподалеку.

В первый свой проезд он заметил, что книги не на своих местах, миниатюры и фотографии сдвинуты, посуда переставлена, а исфаганский заяц бесследно пропал. В следующий раз кто-то основательно поковырялся под кроватью и в фортепьяно, а заяц, как ни в чем не бывало, сидел на столе, сильно отливая медным цветом. “Припоминаю лишь один аналогичный случай, - говорил только что вернувшийся с поля Сергей Николаевич переводчику “Интуриста” Киселёву. - Но там были гири. Вы “Золотого теленка”, Владимир Георгиевич, хорошо помните? Бессмертная вещь! Постарались опекуны, - гляньте, как блестит. Их бы поблагодарить, но они народ тихий, стеснительный, на добрых делах не ловятся”.

Шутки шутками, но гораздо хуже было то, что у него стали складываться конфликтные отношения с властями без видимых причин. Бывает так. Вы, к примеру, и словом с человеком перемолвиться не успели, а он вам уже противопоказывает. И год противопоказывает, и два, и три, и что он ни делай, как ни подлаживайся расположить вас к себе, а вы ни в какую, потому что не только душой чувствуете, умом догадываетесь, а издали по-звериному чуete. Вот и местные власти почуяли, что не тот он человек, не одного с ними поля, не сторонник, не попутчик, в общем невзлюбили его на-нух и сразу.

В один из своих приездов на побывку до него дошло, что в городском парке собираются возводить мемориал славы павшим героям войны. Предвидя многотрудные сложности в подобных делах, Сергей Николаевич передал обкому копию топографического плана и список умерших от ран солдат, чьи имена он в благой час переписал и сохранил, пометив могилы на карте порядковыми списочными номерами. Его там приветили и сказали: - “Да, да, это очень важно, вы нам не то что помогли, вы нас выручили, сколько лет прошло, ничего не сохранилось, и мы как-то не предучли в порядке самокритики, списка не составили, а хоть бы и составили, разве в нем дело? его можно и из военного Госархива запросить, а вот узнать, где кто закопан, мы без вашей замечательно подробной карты вряд ли смогли бы. Вы хо-

роший человек, Сергей Николаевич, большущее вам партийное спасибо”. Он не почувствовал неискренности и вернулся в древнее городище страшно довольный, в превосходном расположении духа с каким-то особенным запалом и, рассказывая о том Василию Афанасьевичу Шишкину, юношески радовался, как все хорошо устроилось, хоть и нельзя сказать, что никто не забыт, зато известных больше, чем неизвестных, а это очень много значит.

Вернувшись в город месяца через два, он первым делом отправился в парк. Там все было готово: горел огонь из подведенного газопровода; скульптурный солдат, выкрашенный под бронзу, преклонил колени и скорбно свесил голову; прямо от него начинался красивый, длинный розарий, а по обе руки два ряда опрятных могил с литыми чугунными плитами, и на каждой плите все, что надо для памяти на веки вечные.

Но что-то в мемориале Сергею Николаевичу не глянулось: не то мера взаимоотношений живых с мертвыми была нарушена, о чем мусульмане выражаются очень точно: “Живые закрывают глаза мертвым, мертвые открывают глаза живым”, не то показухи переложено, а душевности, что делает печаль светлой, не хватало. Он дважды обошел нарядные могилы, их было тридцать, поровну в каждом ряду, и располагались они друг против друга, разделенные розарием, как гости за праздничным столом, заняв самую малую его часть, с сильным намеком на библейскую притчу о многих званых и немногих избранных. Все было чисто, гладко, прибрано, и всякий штрих повторялся отраженно, как деталь восточного орнамента, когда симметрия бал правит. Вместе с тем чего-то существенно недоставало, а то, что Сергея Николаевича в особенности огорчило и озадачило, это отсутствие знакомых фамилий, будто здесь лежали солдаты совсем из другого госпиталя. Дома время от времени он перечитывал госпитальный мартиролог, и не ради того, чтобы вызубрить шесть сотен собственных имен, но в поисках созвучий, соцветий, созвездий великолепных русских фамилий, дивных и ароматных, как полевые цветы, а здесь не было ни Ивана с Марьей, ни пролеска, ни ромашки, ни даже одуванчика. Он сходил домой, а вернувшись со списком, подолгу задерживался у каждой могилы, сверяя литой чугунный шрифт с тем, что у него было в тетради. За полтора часа он убедился, что здешние покойники - пришлые, чужие люди, импортный товар, можно сказать, а чем свои плохи? ростом, что ли, не вышли?

С дурными предчувствиями он пошел на кладбище. Там

мало что переменилось, только участок еще больше одичал да могилы сильней были загажены, и ни следа земляных работ, эксгумаций, перезахоронений. Он совершенно опешил и не знал, что подумать, а необъяснимость явлений тем нехороша, что может довести человека до состояния первобытной жуты. Как в тот раз, когда он вскрыл могильник двухтысячелетней давности и не обнаружил останков, так и теперь спину его прознобил холод и дробно лязгнули зубы, - первый признак испуга. Но в тот раз он быстро нашел разгадку, и чувство страха покинуло его, а теперь ощущалась потребность либо принять ванну, либо выпить горячего кофе.

Близились октябрьские праздники, и вечера становились день ото дня прохладней. Ванны у него не было; он выпил кофе, надел плащ и сунул под него тонкую никелированную трость. Это был археологический щуп с миллиметровой шкалой, старый верный спутник с двадцатых годов, - им часто приходилось пользоваться, когда надо было выяснить, что у тебя под ногами, геология или археология? Если геология, инструмент глубоко не проникал, мешали спрессованные пласты, и делать там было нечего, но если структура со дня творения хоть раз была нарушена живым существом, щуп погружался в землю до условного эфеса и приносил в полости острия немного породы.

Некоторое время он стоял, ссутулившись, у крайней могилы, разительно похожий на Дон-Кихота, выросшего на скудных пажитях сверхдержавы, и многократно помеченный властями, как дерево к порубке. Затем он обнажил щуп, немного потоптался в третьей позиции, сделал фехтовальный выпад и вогнал острие в могилу. Отметив ее глубину, он проделал тот же прием с остальными декоративными захоронениями, ни у одного не задержавшись. Замеры показали: сорок плюс-минус три сантиметра, - в столь утлой колдобине немыслимо даже кошку похоронить как следует, там ничего не было, и щуп ни разу не наткнулся на жесткую препопу, какой мог быть человеческий остов.

Тайное стало явным. Сергей Николаевич рассмеялся, и страх, вязавший его по рукам и ногам, пропал так же незаметно и сразу, как головная боль. Все просто: в столице приказали, в области выполнили, а как? - это неважно, был бы символ. К шестидесятым годам сверхдержава уже сделалась страной монументальных символов, где символ победы был изначально выше понесенных жертв, символ народовластия выше народа, символ труда выше трудящихся, в конечном же результате символ был вечен, а человек

смертен, символ обозначал собой все, а человек - шиш без гарнира. Мемориал тоже был символичен и вполне мог тронуть любого иностранца, - как у нас чтут погибших, как дорожат памятью, как берегут и заботятся... "Слуги народа" в очередной раз околпачили своих и чужим нос утерли; ну, кто бы рискнул подумать, что солдаты, погребенные в карнавальных могилах, никогда в природе не существовали, поскольку были придуманы в тиши кабинетов по идеологии и пропаганде. В сравнении с таким наглым и далеко идущим надувательством сам Макиавелли мелко плавал, а Гитлер, тот вообще молодцом выглядел, когда говорил, - пусть, мол, другие ставят памятники неизвестным солдатам, а в третьем рейхе таковых быть не должно, и каждому убитому немцу, закопанному второпях на чужбине, велел вкладывать в рот медальон со всеми данными, чтобы впоследствии спроектировать их на поверхности. Наступал нравственный крах системы, начисто упразднившей десять заповедей, как некий досадный атавизм.

Когда человек прекрасно все осознает, но не в состоянии повлиять на действительность, он, наверное, чувствует себя ничтожно малой величиной, не отвечающей высокому человеческому предназначению. Он, конечно, переживает, страдает, не спит ночей, но лучше ему от того не становится, и будущее ничего хорошего не сулит. Возможно, Сергей Николаевич, зажмурясь со стыда, увидел, как люди пятого тысячелетия, покопавшись на мемориальном кладбище и не обнаружив ни признаков жизни, ни предметов материальной культуры, отнесут наше время к эпохе одичания и вырождения человечества, лишенного родовых корней и исторической памяти.

Страха не было, но появилась боль сродни пытошной, когда судья вымогает у подсудимого нужное следствию признание в виде продольной, поперечной, каленой и подноготной правды. Он любил жизнь всецело, что значит, от малой былинки до человеческой сущности, но людей любил больше всего и ничем не мог им помочь. Кой-как добравшись до худжры, он снял с полки Плутарха и принялся вдумчиво его перелистывать, пока далеко за полночь не наткнулся на искомый вывод: если рыба стоит дороже вола, конец такому государству. Он постоял с минуту, примеряя эталон древнегреческого мудреца к иным временам, иным людям и обстоятельствам: если партия превыше жизни, ложь превыше правды, неволя превыше свободы... "Ага! - сказал он торжествующе и еще раз процитировал Плутарха вслух. У Сергея Николаевича появилась надежда, а у человечества

шанс. - Конец такому государству. Скорый, бесславный, заслуженный. Да сгинет!" - закончил он, повернувшись к образу святого преподобного Сергия.

## II. Камень, отвергнутый строителями

**С**обытия того дня повернули кочевую жизнь Сергея Николаевича к оседлой: он уволился из экспедиции и вплоть до пенсии вел латынь в педагогическом институте, куда его пригласили за то, что он располагал точными познаниями не только в археологии, но и в классических языках. Именно в тот период он стал главной достопримечательностью, и горожане поголовно знали, где он живет. Если его не было дома, записка сообщала визитёру, где он есть и как его найти. У него был редкостный талант - дар человечности. Стоит ли говорить, что его талант был некстати и не ко двору, но будь это возможно, он нашел бы свое место в одном ряду с Мамонтовым и Швейцером, потому что при всей своей бедности давал больше, чем брал, ни перед кем не закрывал дверь, никому не отказывал в общении и по-настоящему был знаменит, не то что говорят, до новых веников, а до конца дней и дальше, этак поколения на два - на три.

Местные жители привыкли к нему и благожелательно относились, хоть и не прочь были скоротать досуг за его счет. Какие только слухи о нем не ходили, в каких легендах не пересказывалась его жизнь, каких небылиц и сплетен о нем не напридумывали, а в обществе, как наше, наглухо лишенном информации, сплетни появлялись подобно грибам после дождя. Рассказывали, что он будто бы откопал-таки на госпитальном кладбище два чемодана с облигациями госзаимов военных лет, которые главврач госпиталя закопал под маркой очередного покойника, и отныне его жизнь обеспечена, помирать не надо. Разумеется, многие помнили, что это были займы без отдачи, и за те фиговые листки с боевыми картинками не предусматривалось ни выигрышей, ни компенсаций, ни деньгами, ни натуроплатой, но всем хотелось думать, что это не так, а потому все ахали и удивлялись.

Рассказывали также, будто кладов он знал всяких, что простых, что заговоренных, несметное число, помаленьку из них черпал на пропитание, но, как человек с умом, не шиковал и ни разу не попался, а для отвода глаз передовой общественности продал городскому музею за приличные деньги собственный труп, и не за горами день, когда старик даст дуба, и музей, не мешкая, обдерет с костей мясо, выс-

тавит скелет под стеклянным колпаком с надписью “почетный гражданин нашего города такой-то”, а входные билеты сильно подорожают. Да и разбойники из пещеры за грех не считали помечтать, что он в курсе доброго десятка нераскопанных херсонесов и ослаблять за ним надзор - прямой ущерб для народного хозяйства.

Роста он был баскетбольного, сложения сухощавого, ходил широко и резво, в шахматы состязался по первому разряду, с немцами и французами за словом в словарь не лез; говорил, как в прошлом столетии: “куды”, “сюды”, “библиотека”, “аглицкий”; с Цезарем, Тацитом и Ливием общался без посредников и очками не пользовался; в живописи и в искусстве разбирался на профессиональном уровне и сделал несколько открытий; играл на фортепьяно чаще других пьес “Времена года” и один из “Бранденбургских концертов”, но там, где было много работы пальцам, он не справлялся, - Шопена и Моцарта слушал из чужих рук. Как он выглядел фотографически, нет надобности рассказывать; если бы вы сперва посмотрели гравюры Густава Доре к Сервантесу, а после того встретили Сергея Николаевича, то с удовольствием подумали бы: - “Как ни многолика природа, но и она повторяется”, - это был он, бессмертный Рыцарь Печального Образа, разве что без коня и доспехов. А кто попроще, сравнивали его с рысаком, которому еще скакать земли не мерено, и то правда: старость не выкрасила его добела, лишь слегка тронула сверху изморозью да так и оставила серым в яблоках. Что до особых примет, то они у него были, пожалуй, только на ногах, побитых лагерной пеллагрой, да небольшая грыжа в области живота, нажитая на каторжных работах, - он ее затыкал ременной шишкой, чтобы наружу не лезла.

А сколько народу у него перебивало, Боже мой, причем совершенно всякого. Кладоискатели его не забывали, особенно азиаты: Толстов, Шишкин, Массон, Гулямов, - все академики, всем стул подай, все друг друга недолюбливают и все по отдельности норовят чем-либо ему потрафить. В летние дни его осаждали художники, приезжавшие на пленэры или просто так: строгановская молодежь в джинсах, лауреат Непринцев, чета Богаткиных, педераст Соколов, талант которого Сергей Николаевич высоко ценил, мнуня частности, колорист Тансыкбаев, кто еще, и оставляли ему гравюры, полотна, керамику, скульптуру, - очень скоро от книг и картин в худжре некуда было деваться, а Лебедев подарил ему чудный восточный этюд с сонетом.

Я снова здесь. Среди немых руин  
Потоком пестрым жизнь струится,  
Но прежними остались только птицы  
Да Дон-Кихота старый паладин.  
Святым он дожил до своих седин,  
Он тем же вышел из дверей темницы,  
Каким вошел в нее. Бессмертные страницы  
В душе своей сберег, быть может, он один.  
Люблю ходить по улицам кривым  
С ним рядом. Прям и несгибаем  
Он шествует. Кого мы ни встречаем,  
С улыбкой дружеской здороваются с ним.  
Он чем-то дорог стал и им, чужим,  
Он и для них таков, каким его мы знаем.

Как-то у него в келье появился гость, которого Сергей Николаевич рекомендовал всякому приходящему: - "Позвольте вам представить неизвестного художника", - а тот вставал и назывался: - "Эрнст Неизвестный". Получилось много веселых каламбуров: гостю предлагали то делать памятники для неизвестных солдат, то писать автопортреты и помечать их - "Неизвестный художник. Портрет неизвестного", то еще что-нибудь этакое, а в худжре от хохота нечем было дышать. Хотя к тому дню художник был достаточно известен: Хрущев его разругал последними словами и сделал рекламу, газетчики ославили на всю страну, а когда он продал Ватикану образ распятого Спасителя и не сдал валюту в Госбанк, комитетчики называли его не иначе, как христо-продавцем, и на каждом шагу пакостили ему в карман, из-за чего он вскоре уехал в Америку.

Приходила соседка Анна Ахтеевна, старая одинокая женщина, и приносила чего-нибудь горяченького для Сергея Николаевича и чего-нибудь рыбного или мясного для Котысеньки; приходил шофер "Интуриста" Славик Горбунов на предмет починить, наладить, а то и выдумать, - это он изобрел керосинку с таким калорифером, что в худжре зимой всегда было тепло и не нужно было запасаться ни углем, ни дровами, - хозяин кельи отличал его от других наособицу и звал "мой дорогой"; приходила Стеня-проститутка с постоянной новостью: - "Сергей Николаевич, вчера меня опять изнасиловали"; приходил старый профессиональный вор, имевший честь отбывать срок в одном лагере с "прохвэсором"; приходила школьница Ира Саушева со своим сочинением "Лучший человек нашего города", где были слова: "Теперь Сергей Николаевич стар и скоро умрет. Мне так

жалко, что я вырасту, а его уже не будет". Она читала и волновалась, а он утешал ее и говорил, что это очень хорошее сочинение, только не окончено, потому что она совсем еще девочка, а когда повзрослеет, поймет, что для грусти нет места, и допишет его до конца.

Приезжал Павел Васильевич Флоренский, профессор и внук прославленного автора "Столпа" и "Обратной перспективы", а с ним орава студентов-нефтяников. К слову, об обратной перспективе. Ответственный съемщик средневековой худжры обладал этим свойством в полной мере и уже на другой день становился для многих людей желанным воспоминанием, к которому всегда приятно обратиться: высокий, худой, прямой, в арочном проеме окна на фоне узорчатой решетки-панджаре, - таким его заснял фотограф из Харькова, а на выставке в Венеции снимок удостоился большой серебряной медали. Наведывался историк Лев Николаевич Гумилев, однажды с женой, а обычно в одиночестве; о нем Сергей Николаевич говорил, что доктор исторических наук родился самостоятельно и, зная от кого произойти, выбрал родителей по собственному предпочтению.

Наездами бывал писатель Сергей Петрович Бородин, поэты Рождественский и Урин, писатель Виктор Некрасов за полгода до изгнания из страны. А то старушка прикатила, собой махонькая, кожа да кости килограммов этак на тридцать, а по рождению графиня Шереметева, та самая, что напрямую от Бориса Петровича, от фельдмаршала, о нем же и Пушкин писал: - "И Шереметев благородный". Последний раз они виделись в лагерной больнице, где он лежал с обмороженными ногами, а графиня прислуживала: - "Сестра, судно!", "Сестра, утку!", "Сестра, воды попить!" - такая вся работа. Врачи думали, что у него гангрена начнется, но Бог миловал, обошлось. Тогда же она связала Сергею Николаевичу носки и варежки, чтоб не обморожился; носки он незаметно сносил, а варежки конвой отобрал, а теперь, значит, повидаться напоследок приехала. Это для нее он играл Грига, варил кофе по-варшавски и читал "Полтаву", даже не счел за труд сходить по Ларису Васильевну Попкову, свою тапёршу, чтоб она им поиграла Бартока и Скрябина, но та была в отъезде, и концерт не удался.

Памятен также визит, который доставил областному начальству, а в особенности сорока разбойникам, массу беспокойства и неудовольствий, когда в город прибыли генерал КГБ Ким Филби и международный шпион Эрнст Генри. Вопреки правилам они, нигде не отметившись, проследовали мимо пещеры к медресе Ханской Матери и день-день-

ской провели в обществе фигуранта: ходили по городу, обедали на базаре, посетили "придворную" чайхану в парке, а больше всего их устроила прохладная и обжитая худжра. Генерал оказался на редкость долговязым типом, на целую голову с шеей выше радушно принявшего их хозяина. Конечно, Эрнста Генри интеллигентные люди тоже знают по письму Эренбургу, но британец был популярней: долгие годы работал за границей комплексно, что называется, "вас много, а я один", получал от выработки и жил припеваючи, но на чем-то опростоволосился и дал дёру к нам на день раньше, чем в Лондоне спохватились по его душу. Теперь он вполне благополучно жил в Москве, публиковал за границей мемуары, - что-то наподобие "И Богу, и мамоне", открыто печатался в нашей периодике и разъезжал по белокаменной в собственном "Роллс-Ройсе", коих в Москве насчитывалось всего три, - любой бы сказал, что на дискомфорт жаловаться ему не подобало, а он-таки скучал и время от времени пил горькую, видать, не все ему у нас нравилось, а, может, и сам понимал, что залетела ворона в чужие хоромы.

Ради пущего благоустройства он выписал у мамы из Лондона персональную трехметровую кровать, и английские власти пропустили имущество предателя родины, не учинив никаких подлостей. Эрнст Генри тотчас проехался по англичанам, что, мол, прошляпили, уж наши такого шанса не упустили бы. Беседа сложилась интересной, антисоветской, и никого из них не заботило, как там у нас дела скрипят по части светлого будущего, - над такими вещами они только смеялись и больше ничего. Это простых-серых за подобные тары-бары сажают, а большим - будьте любезны, всегда пожалуйста. Но коль скоро антисоветские поделки проходили не без участия Сергея Николаевича, надо думать, что оба собеседника относились к нему, как к человеку важнецкому и большинскому, и правильно поступали. В тот день атаман местных ушкуйников велел снять наружное наблюдение и запретил нештатным лазутчикам совать свое грязное рыло, куда не след, а впрочем, меры предосторожности были излишними: разговор велся по-французски.

Из иностранцев у него побывали: бельгийская пацифистка Изабелла Блюм, вдова писателя Хемингуэя Мери, говорили также о финском писателе Мартти Ларни с женой, но чаще других его навещали дипломаты. Ей-Богу, правда; не было в Москве посольства за минусом африканских да латиноамериканских, какие не почтили бы его своими, если

не чрезвычайными, то, на худой конец, полномочными, а дипломаты народ отпетый и заведомый, хоть кому репутацию испортят. Люди из пещеры не раз его предупреждали, но он постоянно отговаривался одним и тем же: - "Кого мне принимать, кого нет, - дело мое, а вы работайте". Тогда на него махнули рукой, не ослабляя слезки.

О своих, местных, и говорить нечего, тех вообще было не счесть. Красивейший мужчина в городе, здешний араб и кузнец Усто Шарип выковал декоративные кронштейны с подсвечниками для книжных полок, - у него было много детей, и Сергей Николаевич звал их кузнечиками; гончар и керамист Усто Ибадилло и мастерица традиционной узбекской игрушки Хамро-Биби, - этих он вовлек в Союз художников и в значительной мере облегчил их жизнь; приходской священник отец Павел по фамилии Адельберг со сложным характером русской созерцательности и немецкой активности, - впоследствии он был подобно Сергею Николаевичу ошельмован продажной советской прессой и безвинно отправлен в лагерь за религиозные убеждения; талантливый художник-реставратор и собиратель русских икон Федор Иванович Вадопшин, - его тоже осудили на пять лет, лишь бы изъять частную коллекцию старинной русской иконописи в доход государства; Акрам Ходиев, ревностный правоверный мусульманин, сейид и потомок Хусейна, внука Пророка Мухаммеда, а заодно одаренный художник, мятущийся между верой и призванием: то он писал холсты, полные света и живого чувства, то сжигал их, каясь и молясь, - вот с кем Сергею Николаевичу пришлось повозиться. Сложность заключалась в том, что Аллах наложил запрет на искусственное воспроизведение жизни и всякой живности ввиду наказания огненной геенной, куда будет брошен всякий, кому не удастся оживить свои рисунки на суде Милостивого и Милосердного.

"Вы, Сергей Николаевич, кафир (язычник, неверный), - заводился Акрам, очертя голову. - И ничего не понимаете". "Ошибаетесь, - спокойно возражал оппонент. - Я не кафир, а китаби (книжник). Это вы не понимаете, что у нас с вами общий Бог, который дал нам Ванджил (Евангелие) раньше, чем вам Коран, и запретил насильно вовлекать в Ислам христиан и иудеев". "Неужели вам меня не жалко, Сергей Николаевич? - исповедовался Акрам после очередного аутодафе. - Чем самому в огне гореть, пусть лучше картина сгорит. Если Аллах запретил, значит, ему это не нравится, и копировать его творения большой грех".

Тогда Сергей Николаевич объяснял, что это не запрет, а

наивысшие нормы требовательности к искусству, где не должно быть ремесленников и равнодушных людей, потому что Аллах сам Величайший Художник и прекрасно разбирается в живописи; разве стал бы Он предъявлять подобные требования Рафаэлю, чьи полотна запредельны, вечны и живы. “Вы же мне говорили, - продолжал Сергей Николаевич, - что рукой этого человека водил сам Аллах Акбар, - говорили вы так или нет?” Акрам сопел и молчал, поскольку это были его слова, а Сергей Николаевич шел дальше: - “Он и вашей рукой водил, так как, отметив вас даром Божиим, не оставил втуне ваше дарование, но всегда и всячески помогал вам, да! А вы что сделали? Где теперь “Пейзаж с соколами”? Что вы с ним сотворили? А ведь там все было живо от деревца до птиц небесных, и Всевышнему ваша картина определенно нравилась. Нет, к вам у Аллаха будут другие требования, и Он обязательно вас спросит: - “Что ты сделал с талантом, которым Я тебя одарил?”

Реже других наведывался Усто Фатилло, но если уж приходил, то не один, а с тележкой своих уродливых поделок: кособоких ваз, кривых блюд, горбатых кувшинов, асимметричных пиал и прочей посуды, не только небрежно сработанной, но и абсолютно непригодной для употребления: цельнокупные вазы и кувшины, куда ни цветы сунуть, ни воды налить, уродливые горшки, блюда со щербатыми закраинами, словом, для хозяйства его изделия при всем желании не подходили, зато как были по-ли-ты! Прежде всех безобразий в глаза бросалось разлитое море поливы да еще какой: это была цветовая гамма, углубленная от семи всем известных цветов радуги до тонов, оттенков, полутонов, четвертьоттенков и к бесконечности едва уловимых нюансов. Само собой понятно, что речь идет об абстрактной живописи, которая не противоречит канонам исламского искусства, но настолько высокой и неподражаемой, что всякий зритель мало-мальски наделенный воображением, мог усмотреть в ней живые очертания вполне конкретных реалий: сцены, события, лица, явления природы или, как говорили здешние старики, чьи-то глаза и собственную свадьбу. Из этого следуют художественные особенности абстракционизма: он не то что предлагает вместо одной картины тысяча одну, но и делает зрителя со-автором, со-трудником, со-з(и)дателем, переживающим личную творческую окрыленность, взволнованность и вдохновенный подъем души.

В такие дни Сергей Николаевич вешал на дверь табличку: “Занят, прошу извинить”, зажигал все свечи, включал

верхнее “аджиорно” и молча просиживал с Усто Фатилло часа четыре сряду. Они ни о чем не разговаривали и не оттого, что нечего было сказать, а по иной причине: художник не считал язык лучшим средством общения и ни с кем не обменивался приветствиями. Среди горожан он слыл сумасшедшим, блажным или, по-таджикски, “девона” и, возможно, люди были недалеко от истины в том смысле, что безумец и гений одинаково способны к эксцентрическому видению мира, только в первом случае все кончается бредом либо преступлением, а в другом - новым значительным открытием. Вволю намолчавшись, Усто Фатилло уходил, оставив свой товар у Сергея Николаевича, а тот размещал его в худжре позаметней, и пришлец, кто бы он ни был, подпав под воздействие колористических чар гонимого и поносимого у нас абстракционизма, сначала говорил: - “Боже!” - а затем все, что подобает случаю. Несложно догадаться, что абстрактные фантазии расходились по миру гораздо быстрее, чем Усто Фатилло привозил новую партию.

Что говорить, - много у него народу перебивало, но об одном посещении следует рассказать отдельно из-за того, что это не был визит по взаимной склонности душ в досужее время ради приятных воспоминаний, но по жестокой нужде и безысходным обстоятельствам, проще говоря, даже и не визит, а триумф, апофеоз, звездный час и трубная слава Сергея Николаевича. Даме было лет под сорок, звали ее Валентина Ивановна, которая невзначай узнала у своей знакомой, что там-то, там-то проживает человек, собравший множество сведений о погибших на войне безымянных солдатах: кто где закопан, как фамилия, когда родился-помер, их у него общая тетрадь набралась, и он рассчитывает, - может, кому пригодится. А у Валентины Ивановны в войну отец запропал вовсе: как получили от него голубок треугольный с номером полевой почты из-под Керчи, так с той поры никаких признаков, кроме казенной бумаги: пропал, дескать, без вести.

Людам это не нравится, им все подай в точности: убит, так убит; ранен, так ранен; а что такое “пропал без вести”? - вона, скажут, Васька Чумовой тоже без вести пропадал, лишь через время объявился да при нем жена и двое детей. Оно, конечно, по прошествии многое проясняется из того, что от народа скрывали, и до Валентины Ивановны тоже дошло, что под Керчью целую армию бросили на произвол врага и никто никуда не делся, всех немцы в упор перестреляли, чтоб без лишних хлопот, - и здоровых, и раненых, и холостых, и семейных, а по разговорам тамошних жителей,

километров на десять во все стороны земли не было видно от неживых наших солдат. И ей до смерти не хотелось, чтоб родной отец среди пропавших числился; несколько раз она центральный военный архив запрашивала, а оттуда постоянно отвечали, - пропал и все.

Думала она, думала и взяла отпуск, потому как с Украины долго ехать, нашла Сергея Николаевича и, едва порог переступивши, прямо в глаза: - "Коноплянкина Ивана Федоровича не знаете?" - а он без обдумываний отвечает: - "Знаю", - поскольку рядовой Коноплянкин проходил в начале списка. Тут ей и о частностях додуматься было просто, что отцу повезло, успели-таки его с эшелонном в тыл отправить, где он честную принял кончину, был наспех похоронен и навек забыт, что страной, что народом, будто и не жил. И вдруг вопреки всему на свете чужой, незнакомый человек заявляет: - "Сегодня уже поздно, а завтра я покажу вам могилу вашего батюшки". Некоторое время она не могла в рассудок прийти, а опомнившись, рассказала Сергею Николаевичу, как в обкоме ей наговаривали на него, норовили отвадить: он, то бишь, с большим приветом, голова не в порядке, к тому же предатель родины, по суду срок отбывал, и религиозник, каких мало, в общем, - "вы к нему лучше не обращайтесь".

С утра они отправились на кладбище. Сергей Николаевич быстро нашел по карте пронумерованную запавшую колдобину, ткнул пальцем и сказал: - "Здесь". В тот же день Валентина Ивановна подала бумаги на эксгумацию с перезахоронением, и начались неприятности. В обкоме, конечно, обо всем проведали и наложили запрет на земляные работы в пределах городской пустоши, так как учуяли посягательство со стороны да, небось, подумали, - а проверят, тогда что? Солдатский прах не перенесен, мемориал весь липовый, фамилии из пальца высосаны, - чего ему только надо, Юрѐневу этому. Видя непреодолимые препятствия, Валентина Ивановна по телефону связалась с Москвой, и оттуда тотчас последовал звонок самому Махмуду Рахимовичу, у которого во время разговора цвет лица менялся, как у снулой мурены, а переговорив, он отдал распоряжение, легко сообразить, какое.

После того как Валентина Ивановна отбыла с родительскими останками до дому, Сергею Николаевичу предложили двухкомнатную квартиру на втором этаже с улучшенной планировкой, где, кроме обязательных удобств, были также сверхнормативные: телефон, телевизор, холодильник, в общем, будьте любезны, а он не захотел: - "Ничего, - говорит,

- нет хуже, чем под конец жизни заводить все новое и отвыкать от старого". Так-то оно так, да не совсем: хитрил старик, независимость оберегал, свободу. Где вы видели подначального и подотчетного Дон-Кихота, купленного с потрохами за жилплощадь?

Водились за ним некоторые странности. Из года в год дважды в день он снимал показания термометра и барометра, и к нему подчас обращались для сверки либо за справкой то метеостанция, а то и следственные органы. И еще одна была у него норма жизни: каждого человека, пришедшего к нему впервые, он непременно регистрировал, и у него к концу жизни собрался каталог, не уступающий библиотечному.

Несмотря на то, что к нему тянулась нескончаемая вереница людей, он был склонен к одиночеству: никого не принимал в сочельник, любил ночную тишину и писал стихи, а их пишут обычно без посторонних. Стихов он нигде не публиковал, и они хранились в отдельной тетради, на обложке которой стояло обобщающее их название: "Одинокие встречи".

Он, разумеется, отрицал, что был одинок, и настаивал, что верующий человек таковым никогда не бывает, но даже согласившись с ним, смело можно о нем думать, как о личности, индивидуальности, исключительности, необщности, а эти величины как раз и составляют лучшую сущность одиночества: путь орла в небе.

### **III. Наедине с собой (1922 - 1974)**

#### **Сонет**

Кто там? - согбен под бременем забот  
И взор исполнен несказанной муки.  
Ах, это вы, великий Дон-Кихот,  
Я ваш слуга, целую ваши руки.

Как счастлив я! Нежданный ваш приход  
Развеял все сомненья и доуки:  
Я снова юн, я вновь стремлюсь вперед  
За вами вслед и не боюсь разлуки.

Вы смущены? Вы опустили взгляд?  
Вы отступаете в небытие, назад  
Пред кровью назревающих событий?

Вы, вы, не знающий ни страха, ни преград,

Вы испугались кровопролитий?  
Мой друг, учитель мой, не уходите.

### **Сонет**

В сокрытом смысле инкунабул  
Для мудрых истина одна:  
Повсюду дьявол, дьявол, дьявол,  
В сердцах у смертных сатана.

И сам я, грешный, часто падал,  
Но власть над ним сейчас дана, -  
Мной заключен в реторте дьявол,  
Повержен на кристалле дна.

Он мучится, вдыхая спёртый  
И ядовитый газ реторты,  
Закрит печатью криптограмм.

Твоя погибла оборона,  
Строитель храма Соломона,  
Ковач меди Адонирам!

### **Сонет**

Глас вопиющего в пустыне  
Мессию возвестил для нас:  
Грядет обетованный Спас  
В своей предвечной благостыне.

Пророчески взывает глас  
Восстать на сретенье святыни,  
Но он, пророк, умолкнул. Ныне  
Светильник блещущий угас.

По наущению царицы  
Его извергли из темницы  
И обезглавили во рву.

В молчании взирали люди,  
Когда на пиршественном блюде  
Палач принес его главу.

### **Сонет**

Приидут эти дни смятенья,  
Народ восстанет на народ,

И глады, и землетрясения,  
И мор над смертными пройдет,

И предадут нас на мученья, -  
Смертелен этих дней приход, -  
Но претерпевший всё спасенье  
От скорби в Господе найдет.  
И день пришел. Перед толпой  
Стоим с поникшею главой,  
Сбылися старые поверья,

Пред нами вскрылся мир иной;  
В смятенье, веря и не веря,  
Грядущего мы видим зверя.

### Сонет

Иванушка-дурак, голубчик, как я рад  
Тебя увидеть вновь перед собою.  
Всё тот же мóлодец, что был века назад,  
С своей кудрявой русой головою.

Да и хитёр же ты, а вид придурковат,  
Но царь-девицу ты привёл без бою,  
Жар-птицу приволок, сам чёрт тебе не брат,  
Он одурачен в пух и прах тобою.

Не баба я Яга, но этот русский дух  
Так и несёт от милого Иванки,  
Хоть выноси святых, весь отравил мой нюх,

Ты б в бане горячей попарился, мой друг,  
И отдал постирать кому-нибудь портянки.  
Но ты исчез, развеялся, потух...

### Сонет

Костров горящих горький чад  
Смешался с трелями свирели.  
Струится в воздухе веселье,  
Бычата радостно мычат.

Не ты ли, Пан, сливаешь трели  
С весёлым эросом бычат?  
Не ты ль людских волнуешь чад,  
Вливая в сердце их похмелье?

Мой взгляд скользит среди коров.  
Одна прекрасна, молодая,  
С упрямым выгибом рогов...

Но что это? Припоминая  
Твою любовь, о Позифая,  
Я сам любви подпасть готов.

### **Сонет**

Атропо хочет жизни нить прервать.  
Спокойно я стою пред мудрой старой пряхой.  
Брось, милый друг ты мой, не охай и не ахай,  
Мы все умрём, а впрочем, наплевать.

Кому для смерти суждена кровать,  
Кто кончит жизнь в сраженьях иль над плахой...  
Мне душу не беречь, не рви, иди ты на хуй,  
Не плачь, ебит-твою под сердце мать.

Давай, пацан, курнём. Сверни скорей, однако,  
Пока никто кисет мой не унёс, -  
Там есть еще немного папирос.

Давно шакалы ждут условленного знака,  
Что я уже подох, как на цепи собака,  
Ненужный пёс. Паршивый старый пёс.

### **Гекзаметры**

Клото мне песни пела, путь усыпала цветами,  
Жизнь превращая в сказку, сказки мне говорила.

После пришла Лахезис, бороду мне расчесала,  
В руки мне меч вложила, плуг и волов подарила.

Нынче солнце не греет, иней в власах серебрится...  
Поступь твою я слышу, сладкая сердцу Атропо.

### **Бейты**

Я гляжу, гляжу вослед за удаляющимися,  
Как идут они ногами заплетающимися.

То поют они, хохочут, то ругаются,  
Ко проходим и ко встречным придираются.

Или лезут к ним навязчиво с объятьями  
И целуются с чужими, словно с братьями.

А потом в грязи над самую канавою  
Спать разлягутся нестройною оравою.

И лежат в дерьме недвижимые, как скованные,  
Все обоссанные и облёванные.

Поглядите, полюбуйтесь, как вам нравится  
Наша матушка, Расеюшка-красавица?

### **Пастораль**

Уж я лады на жалейке приналажу,  
На жалеечке волчуженной моей,  
Отточу ее и выстрогаю глаже,  
Чтобы песни мне играть на ней звончей.

Эй, ты, рыжая, косая  
Баловница, мать честная,  
Не уйдешь, поди, проста,  
Эх, скотина без креста!

Облака в выси небесной светло-синей  
Всё идут-идут нестройною гурьбой,  
Словно ангелы в лазурной луговине  
Загонять овец собралися домой.

Ну, пошло на незадачу.  
Стой! Поленом засобачу!  
Ванька, подь скорее счесть,  
Все ль коровы в стаде есть.

А послушать бы, как ангелы играют  
Там, ввыси, среди небесных белых стад.  
Чай, они ведь тоже подбирают  
На своих жалейках семиладный лад.

А подпасок сбёг от стада.  
Ишь, стервец! Учить-ан надо.  
Всё у стада я один...  
Ванька, Ванька, сукин сын!

## Баба-Яга

Шелестит последним листопадом  
Лес густой, луною озарён.  
Что это? Совсем со мною рядом  
Вижу я на курьих ножках дом.  
Повернись, избушка, к лесу задом!  
Повернись ко мне ты передом!

Дверь низка, едва в нее пролезу...  
Вот прошел. Полати иль кровать?  
Там старуха с костяным протезом...  
Бабушка Яга, как не узнать!  
Зубы все окованы железом,  
Чтобы Ваню с Машенькой сжевать.

К темноте привыкнув, замечаю:  
Нос большой упёрся в потолок...  
“Вы простите... Я не понимаю...  
Мне б хотелось знать... Мне невдомёк...  
Бабушка, вы добрая иль злая?  
Это с детства я понять не мог”.

Нет ответа. Помню, как в тумане,  
Взмах метлы и стук ступы. И вот  
Уж летит, как на аэроплане,  
Лишь быстрее беззвучный тот полёт.  
И опять один я на поляне,  
Только лес густой вокруг гудёт.

## Апофеоз

Ты смотришь сонно,  
Моя мадонна,  
И монотонно  
Твердишь “люблю”.  
Я полон счастья,  
В моей ты власти,  
Готовься к страсти,  
Я погублю.

Тебя лелея,  
Моя Лилея,  
Прогнав Морфея,  
Я разбудил.  
Летим за грани  
Мирских страданий

Без колебаний  
И без удил.

И если б ты мне  
В любовном гимне  
Сдалась, глухим не  
Мог устоять.  
Твои в томленьи  
В немом моленьи  
Лобзал колени  
Опять! Опять!

Возжег бы пламя  
Над алтарями  
И в фимиаме  
Тебя любил,  
Ввел в катакомбы  
И гекатомбы  
На месте том бы  
Я приносил.

### **Осень в городе**

На разбавленное молоко похожий  
Туман всё покрыл.  
Выскочит и спрячется прохожий,  
Как призрак из могил.

Кто-то пернатый  
Куда-то промелькнул. Ворона или чёрт?  
Чёрт или пёс мохнатый  
Смотрит из ворот?

Шорохи странные, шумы  
В воздухе. Из неведомых стран  
Прилетели. Туманят думы.  
Туман. Сплошной туман.

### **Тверь новогодняя**

То королевы фей капризы,  
Весь город - праздничный салон:  
Деревья в пудре, как маркизы,  
И лёд паркетный обнажен.

Что блонды инея, бордюры,  
Блестят созвездия в ветвях,  
Как драгоценные парюры,  
Как бриллианты в париках.

Луна зажгла, как люстру, льдинку,  
Блится радугою цвет,  
И ветер в трубах под сурдинку  
Выводит нежный менюэт.

Кому-то быть, его всё нету,  
Маркизы шепчутся и ждут,  
А по зеркальному паркету  
Пылинки инея плывут.

И он пришел. Пред ним маркизы  
Глубокий делают поклон...  
То королевы фей капризы,  
Весь город - праздничный салон.

#### **IV. Мертвые открывают глаза живым**

**Э**то удивительно, как события вяжутся одно с другим, входят в нашу жизнь и побуждают нас к поступкам неблагодарным и непредвиденным. Причем, события эти не имеют между собой ни свойства, ни родства, ни подобия, да и нас мало касаются на первый взгляд.

Сначала в "Интуристе" разработали новый маршрут по современной тематике и стали возить иностранцев. Те попервах кочевряжились, не хотели, не за тем, дескать, сюда ехали, но вы же знаете, как у нас торговать умеют: "Дети капитана Гранта" идут только вместе с "Речами" Сулова. Таким же манером скучную советскую обыденщину пускали в паре с интереснейшей давностью под общим титулом "Истории Востока", и приезжие люди волей-неволей соглашались на лишние расходы.

Экскурсия по текущей действительности начиналась со спортивного комплекса, а заканчивалась у солдатского мемориала в парке и была не только нудной по содержанию, но в достаточной степени наглой и провокационной, одно слово, - с душком. Иностранцам вдалбливали такие темы, как: "Советский народ - главенствующая олимпийская нация", "Коммунизм - светлое будущее всего человечества" и "Родина помнит, родина знает", поэтому люди возвращались в гостиницу взъерошенными, сердитыми и, чем боль-

ше они были раздражены, тем в большем почете у администрации ходил экскурсовод, которого в "Интуристе" чаще называли гидом-переводчиком.

Труднейшим объектом показа считался мемориал, и не только оттого, что там побалагурить нельзя, но еще и по той причине, что был он ухожен, вылизан и тосклив, как официальное клише. Гиду-переводчику Киселёву он тоже не нравился, что-то в нем просматривалось не то высокомерное, не то бессовестное, а, может, то и другое пополам. Однажды он пришел на воинское кладбище с Юрениным. Нарочитой какой-нибудь целью они не задавались, просто гуляли вдоль цветника, пока в костер не уперлись. Поблизости никого не было, кроме двух пионеров с автоматами и в галстуках, означавших почетный караул, - они стояли на солнцепеке, ждали смену с разводящим и ни на что не обращали внимания.

День выдался знойный, солнечный; пламени сгорающего газа на свету не замечалось, но от вечного огня воздух согрелся до марева и видно было, как он прозрачными волнами уходит ввысь. Киселёв по наработанной уже привычке снял, было, кепку, а Сергей Николаевич говорит: - "Душенька Владимир Георгиевич, накройте, жарко, солнцем голову напечет", - сам же тюбетейки не снимает, взгляд у него издевательский и похож он на Мефистофеля, а не на Дон-Кихота. Состоялся непредусмотренный и несвойственный им разговор, в котором Володя держался патриотом и лицо у него было серьезней некуда, а Сергей Николаевич прыгал, гримасничал и дурачился: - "Да что вы говорите! Да неужели! Совершенно потрясен! Ай-я-я-я-я-я! Не знал, не знал. Кто бы мог подумать! Я в полном расстройстве", - после чего рассказал, что это за могилы и кто в них погребен. "Конечно, - заключил он сказанное, - кой-какая польза из мемориала все-таки была. Цыгане осенью шатры здесь разбивали, а на вечном огне конину варили - очень удобно. А как вооруженных пионеров поставили, с тех пор не варят. Жаль цыган, пропадают теплокалории ни за что ни про что". Немного помолчав, он добавил: - "Только не стройте из того, что я вам наговорил, экскурсионных сюжетов, это опасно. В лагерь вас, понятно, не погонят и под суд не упекут, потому как невыгодно, а из партии вытурят в три шеи, и с работы то же самое. Пусть это остается вашей маленькой тайной". "А у вас, Сергей Николаевич, - спросил Киселёв, - есть своя тайна?" И старик ответил: - "Несколько. Но я их оберегаю, благодаря чему мы с вами свободно гуляем и беседуем".

Володя Киселёв не придавал разговору существенного значения и как-то не подумал, что всякая тайна от личной до государственной норовит выбраться из подполья на свет и саморазоблачиться в полном соответствии с библейской формулой: нет ничего тайного, что не стало бы явным. Он вскоре это почувствовал, когда привел к мемориалу французского военного атташе с женой. Тот мигом подобрался, вскинул руку к козырьку форменной цилиндрической фуражки, выворотив ладонь наружу, и застыл, чтя память союзников, погибших от ран за общее дело, а Киселёву ни с того ни с сего захотелось рассмеяться, показать язык, проблеять козлом и сказать генералу, что тут никого нет и что он зря старается. Искушение было настолько подавляющим, что он не без усилий напустил на себя траур и отошел в сторону, чтобы сделать оргвыводы: - "Ноги моей здесь больше не будет".

Так он и делал: останавливал туристов поодаль могил у цветника и для затравки рассказывал, как позапрошлой весной здешний новопосаженный куст выгнал три бутона, и все они оказались черными розами, черней, чем у Блока в бокале шампанского; как местные старики подходили к невпрогляд темной красотке и опускались на колени, дабы вдохнуть тончайший аромат цветка, прикоснувшись губами к бархатным лепесткам, и как все сокрушались, когда на пятый день куст усох.

Это было вступление или заглот блесны. Дальше шла мусульманская легенда о происхождении роз, от которой туристы приходили в полный восторг, а многие дословно ее записывали и просили мистера Володю говорить как можно медленней: - "Однажды Аллах Великий после недельных трудов прилег отдохнуть и во сне увидел нечто невыразимо чудное. Но это для людей оно было невыразимым, а Всемогущий Аллах мог выразить все, что хотел, и воплотил свое сновидение вещественно и зримо. Получилась белоснежная роза. Божественный Творец испытал сильную радость и поделился ею с людьми. Более того: будучи сам Непревзойденным Художником среди лучших в искусстве изображения, Благословенный Аллах окрасил розу в тысячи разнообразных оттенков от белого цвета до черного, и она стала у людей любимым цветком".

После легенды легко было перейти к газелям Хафиза и Мушфики и вообще к литературе: предмет был настолько благодатен, что на исламском Востоке не осталось ни одного поэта, который не писал бы стихов о розе и не сочел бы ее законным браком с соловьем Буль-Буль. Проще

говоря, гид-переводчик Киселёв проповедовал не тягомотную социалистическую действительность, а духовную историю мусульманского Востока, и ему это удавалось, - туристы приобретали верное представление об исламской культуре, нимало не уступающей ни христианской, ни буддийской, ни какой иной. В такие моменты Володя чувствовал себя на коне, и полчаса пролетали, как пять минут. Все сходило гладко, и осечка произошла неожиданно-негаданно.

Он привез к цветнику очередную группу американцев, человек двадцать с чем-то и успел их соблазнить местным фольклором и литературой, как вдруг с кладбища донесся истощный женский вопль, состоявший из английских слов и бесподдельно русских интонаций: так убивается по покойнику всякая наша баба, если тот доводился ей плоть от плоти, кровь от крови. Лет ей было около пятидесяти, лежала она лицом вниз, обхватив могилу поперек, а бусы дергались и елозили по чугунной плите под крики истерического припадка: - "Тони, о Тони! Ты был всего на три года старше этого русского мальчика. Ты ничего в жизни не видел, только войну. Тебя все любили, кроме вьетнамца, что убил тебя. Я бы умерла для тебя, о Тони! Я не хочу жить! Дайте мне умереть!"

Двое мужчин подняли ее, как куль, на попá; у нее подгибались ноги, и она не переставала кричать. Воспользовавшись всхлипами, как паузой, Володя втиснулся в людское горе дерзко и бесцеремонно. "Мадам, - сказал он первое, что на ум пришло. - Вы напрасно плачете. Здесь никого нет". "Что? - спросила бедная женщина, перестав кричать. - Что вы сказали?" "Я говорю, что здесь никто не похоронен. Пустые могилы. Реклама. Или, как вы еще говорите, - пропаганда".

Слова пёрли из него сами, он успевал только рот разевать да языком подсоблять, а обдумывать не приходилось, - это было бы странно правду обдумывать. Врать - иной разговор; тогда, конечно, на ходу надо что-либо сообразить, чтобы ложь правдоподобно выглядела, для того и выражения есть специальные, дающие возможность задним умом поработать: "так сказать", "знаете ли", "видите ли", "поймите меня правильно", "вы меня, конечно, извините, если можно так выразиться" и прочие закидоны, по которым безо всякого детектора можно установить, дело человек толкует или трепется почем зря. Киселёв бегло взглянул на группу и напоролся на отчужденные, почти враждебные лица. "А как же имена? даты?" - спросил американец в бейсбольном картузе. "А что имена? - ответил Киселёв. - Их

можно придумать, не выходя из кабинета. Этих солдат никогда не было. Они нигде не жили и даже не родились. Их просто выдумали". "Мой Бог! - воскликнула водевильная тетушка Чарлея с усиками. - Для чего вам зандобился этот театр ужасов?" "Я же сказал, - реклама. Чтобы вы думали, будто мы такие же люди. И что все у нас, как у вас". "Но это кощунственно!" - возмутился дядя Сэм в подтяжках. "Ну, не вам это говорить, мистер. У вас у самих рекламы хватает, в том числе на кладбищах: "Здесь похоронен мистер Ноубоди, потому что его родители пользовались презервативами исключительно такой-то фирмы". "Анекдот тридцатых годов, - отозвался очкарик-изобретатель. - Вы плохо информированы. В Штатах к кладбищам относятся с благоговением. Если бы какая-нибудь фирма оборудовала могилу под рекламу противозачаточных средств, ее услугами вообще перестала бы пользоваться вся пуританская Америка".

Взаимоотношения постепенно налаживались, и женщина, потерявшая во Вьетнаме сына, тоже успокоилась, только в глазах испуг задержался надолго, - кладбища фантомов не для слабонервных. Уже в гостинице к Киселёву подошел дядя Сэм и затеял разговор: - "Вам не надо беспокоиться, - сказал он. - Группа состоит из надежных, хорошо знающих друг друга людей. Среди нас только двое, кого мы не знаем: канадская супружеская пара из Квебека. Они присоединились к нам в Киеве и возвращаются домой вместе с нами. Если мои сомнения станут фактичны, я дам вам знать". Через неделю Володя получил открытку от дяди Сэма, где среди дорожных пустяков и досужих впечатлений спряталась фраза: "Мы слегка погрузили, когда двое наших любимцев покинули нас". Марка была погашена московским штемпелем. Володя натопорщился и задумался над вариантом возможного диалога с начальством по схеме: вопрос - ответ. А еще через неделю его вызвал на разговор куратор "Интуриста" подполковник КГБ Юрий Константинович Ахтак, а если короче, то - Юка.

- Володя, - спросил он, едва Киселёв порог переступил. - Ты чего там болтаешь американцам на кладбище?

- Ничего такого. Как всегда, - ты знаешь: о месте ислама в мировой цивилизации. Я-то дальше розария не хожу.

- Ты меня не понял. Я спросил, о чем ты трепался у мемориала. С той группой ты в порядке исключения там побывал.

- А-а! - вспомнил Киселёв и помассировал лоб, снимая забывчивость. - Там одна такую истерику закатила, - и вкратце изложил суть случившегося. - Как ее было остано-

вить? Или по физиономии пару оплеух покрепче, или анти-новостью ошарашить. Тут кому как, а мне бить бабу непри-вычно, решил мозги ей отсушить, врубил без подготовки: - “Мадам, - говорю, - вы напрасно проливаете ваши святые слезы. Могилы это бутафорские, никого в них нет, никто не похоронен, сделаны для театральной мистерии на свежем воздухе, а памятник из папье-маше, на днях его уберут”.

- Помогло?

- Вроде бы.

- А ты сам откуда знаешь, что могилы пустые?

- Ниоткуда не знаю. Наобум выдал. Вщеть тому, что она там кричала. Терпеть не могу, когда женщина белугой ре-вет. А что, они по-натуре пустые, - могилы?

- По-натуре-то, по-натуре, да ты в другой раз не угады-вай. Раз угадал и - будет. А то не открутишься, - понял?

- Запросто.

- Значит, договорились. Я тебя предупредил. Экскурсий туда больше не води.

- Жалко. Там у меня хороший лекционный кусок возле розария.

- Возле облсовета тоже розарий. Веди туда и распрос-раняйся, сколько влезет. Теперь вот что: говорить об этом не входит в мои обязанности, но тебе не помешает знать, что органы от времени до времени контролируют работу “Интуриста” изнутри. Делается это обыкновенно: внедряют нашего сотрудника в группу иностранцев под маркой арген-тинца там или грека, или кого еще, он ездит по маршруту, смотрит, слушает, потом отчитывается, как вы тут агитиру-ете за советскую власть. Так что не все в группе чужие-пришлые, наши тоже местами попадают. Встречал таких?

Киселёв повертел головой: - “Ни разу. У них же на лбу не написано”, - и вспомнил канадскую пару советского рбзли-ва.

- Будь в курсе. Захочешь что сказать, десять раз поду-май.

Киселёва разговор успокоил. Ему удалось досконально все объяснить, а что нельзя будет ездить к мемориалу, го-ре не беда, облсовет не хуже, те же розы, примрозы, тубе-розы...

В “Интурист” он поступил лет за пять до того. Случилось так, что Киселёвым Владимиром Георгиевичем, зауряд-пре-подавателем английского языка в районной средней школе, заинтересовалась служба госбезопасности и выразила же-лание познакомиться. “Как жизнь?” - спросил начальник об-ластного управления в звании полковника, пожимая руку

педагогу-филологу. “Молодая”, - ответил тот и сразу расположил к себе полковника, который, не мешкая, приступил к делу: - “Мы о вас знаем почти все, а чего не знаем, будем спрашивать. Первый вопрос: вы хотели бы получить обширную разговорную практику по английскому языку, которая будет формально вашей работой?”

Боже мой! Хочет ли он иметь возможность общения с живыми людьми и ни один уличный милиционер ему не указ?! У него бешено заколотилось сердце. Нет, он не хочет, он мечтает об этом ночью во сне, днем в фантазиях. И в тот же миг его воображение затмили дальние страны, дивные города и совершенно другая жизнь, другая работа, другие люди, зарубежные представительства, влиятельные политики, обходительные дипломаты, приемы, рауты, журфиксы, брекфесты для прессы... “Здравствуйте, Владимир Георгиевич, давно вас ждем. Ну, как вам Веллингтон?” “Очень”, - ответил он полковнику и еще раз повторил: “Очень”. “Вот и добрo”, - откликнулся полковник. - Работы много. За год подкуетесь неузнаваемо. Нас вы устраиваете. Трудиться будете в “Интуристе”, но прежде того нам надо прийти к общему знаменателю. Как вам, надеюсь, известно, благотворительностью мы не занимаемся и отношения строим на принципе делового сотрудничества: мы вам работу, вы нам информацию. К работе с совгражданами переводчиков не привлекаем, ваш контингент стопроцентно зарубежный. Работать будете под собственной фамилией, форма отчетности - дневниковые записи. Получите “Дневник гида”, брать его будете у заведующего и оставлять ему же”.

“Да ведь это блеск! - хотелось воскликнуть Киселёву. - Заниматься иностранцами, за которыми и последить невелика беда, потому как шпионы и агенты, - зажмурясь плюнь, в шпиона попадешь”. “Ваша информация, - продолжал между тем полковник, - будет оплачиваться по мере ее полезности. Беседы с иностранцами переводчикам разрешены без ограничений вплоть до антисоветских. Рабочий день не нормирован, но за это платит ваша контора. Получать будете не меньше, чем в школе. Жилье вам предоставят через пару месяцев, - тогда же и семью заберете. Еще один существенный момент: чтобы мы друг другу безусловно доверяли, вам надо подать в партию. Напишите заявление, автобиографию, приложите две фотографии, остальное мы сами”. Чудеса в решете! - его оформили, как в песне “без меня меня женили”: о рекомендациях он никого не просил; на собрании, где его в кандидаты принимали, отсутствовал;

на собеседования не являлся; характеристики выправили без него, и наступил день (он уже работал с иностранцами), когда его вызвали в горком и вручили кандидатский билет, который он, боясь уронить, принял, как Плюшкин деньги, в пригоршню.

Он чувствовал себя беспредельно счастливым человеком. Если бы ему велели дать клятву розенкрейцеров и подписаться собственной кровью с завязанными глазами, он ни минуты не стал бы раздумывать. Это ничего, что он всего лишь гид-переводчик, а не помощник культурного атташе в Веллингтоне. Главное, что он, глухонемой и полуграмотный филолог, воспринимающий речь на слух не иначе, как с повтора, и ничего не сведущий, кроме свода грамматических правил, получил возможность совершенствоваться дальше, - редкая по тем временам удача для всех, кто заканчивал факультет иностранного языка в педагогических институтах. Спустя полгода он увидел свой первый сон по-английски и преодолел психологический барьер подобно тому, как самолет преодолевает звуковой. Это напоминало что-то вроде маленького сумасшествия, когда в магазинах, на улице, по радио и на базаре все вдруг заговорили по-английски, хотя слов было не разобрать, и прошло немало дней, прежде чем коктейль отстоялся. Что же касается шпионов, то их оказалось меньше, чем он предполагал, и не в пример меньше, чем его ими стращали. Собственно говоря, он за все время выявил только двух, и в обоих случаях это были дипломаты.

Первой была мисс из американского посольства, а с ней еще двое. Он повез их в пустыню и увидел, как она, отворотившись, хлопает полами своей куртки, то открывая их, то закрывая. Он окликнул ее по имени, она резко обернулась, полы разъехались, и Володя увидел фотоаппарат - не фотоаппарат, но что-то такое, только овальное и округлое, как дыня. "Какая интересная камера, - сказал он с искренним любопытством. - Новая модель, наверное?" "Д-д-да, - ответила девица со всеми признаками воровского смущения, когда застают на горячем. - Это... это... действительно... новая модель, как вы угадали?" При отъезде дипломатам организовали в Ташкенте пропажу чемодана с "дыней", а Киселёву заплатили, как за четыре месяца работы.

В другой раз он экономично совместил второго секретаря британского посольства и его жену со скромным сереньким туристом-индивидуалом по фамилии Нокс, крепко смахивающим на мышонка, и с общего согласия повез их по памятникам домонгольской эпохи. Остановились они у во-

рот караван-сарая десятого столетия. Киселёв разъяснил им для размышления, что к чему, и отправился к машине, но с полдороги вернулся и увидел, как мышонок отчитывает бульдога, то бишь второго секретаря, не гнушаясь ни выражениями, ни присутствием леди из благородного семейства. “Мы тут немного повздорили с соотечественником по проблемам внутренней политики”, - оправдался дипломат, отирая взопревшее лицо и вынужденно улыбаясь. “Бывает”, - небрежно заметил Киселёв и подумал: - “Тоже лапоть! А еще профессионал. Ничего правдоподобней не смог выставить”.

Своими сомнениями он поделился в дневнике с теми, кто их по ночам читает, что-де не может мышонок грозить бульдогу расправой, если он, серенький и невзрачный, не занимает более высокого положения в обществе, нежели бульдог. Финал был у каждого свой: мистер Нокс отбыл, по всей вероятности, без задержки в Англию; второго секретаря вскорости отправили туда же, как лицо несовместимое с нашими моральными принципами, а Киселёв получил такую кучу деньжищ, какой он отродясь в руках не держал.

Как-то раз Володю позвали переводить с английского и обратно, когда в сопровождении нарочного переводчика из Москвы прибыл англичанин, тоже шпион, но уже наш, и у него был советский паспорт, куда его записали эстонцем. Нарочный переводчик сразу же сбыл подопечного шпиона на руки местных коллег, купил три бутылки “Столичной” и принялся снимать стрессы за весь месяц. Через час он ушел в глубокий отвал и его невозможно было добудиться даже под угрозой закрытия загранпаспорта, - потому-то и вызвали Киселёва.

Кроме Володи, за столом оказалось еще четверо: Юка, капитан Мнир Павлович Солохин, лейтенант-технар Федя Гришечкин с отличным знанием английского, но придуравшимся, будто “аза” не смыслит, и, наконец, скромный, интеллигентный, симпатичный британский шпион, проходящий по платежным ведомостям комитета госбезопасности как сотрудник или, как Юка отрекомендовал его Киселёву: - “Наш английский друг”. Заседали в ресторане, ели-пили за казенный счет не стесняясь, один только скромняга-симпатяга в рот хмельного не брал. Выглядел он лет этак на тридцать, был заметно хорош собой и основательно поднатаскан по литературе советского периода, а в деда Щукаря влюблен без памяти. Угождали ему изо всех сил: трое суток возили, показывали, поднимали тосты, ездили на охоту в джейраний заповедник, травили национальные и междуна-

родные анекдоты и, словно договорясь, не замечали, что при видимой говорливости и открытости “английский друг” ничего не пьет. По истечении трех суток нарочный пришел в себя и увез “друга” в Москву.

- Ну, как он тебе? - спросил Юка Володю.

- Никак.

- А точнее?

- Если точнее, то не понравился.

- Что так?

- Неоткровенный. Скрытный. Самоконтроль круглые сутки.

- Не наговаривай на человека, Володя. Свой в доску парень. Проверенный. Много для нас сделал.

- А чего ж не пьет со “своими”? На больного не похож. Всю дорогу под напряжением. Где еще расслабляться, как не в “своей” среде? Хлопнул бы рюмки четыре подряд, чтоб они у него мелкими пташками заиграли, завел бы компанейскую, - “Ллойд-Джордж знает папу, папа знает Ллойд-Джорджа”, - нормальный ход...

- Да будет тебе! А неоткровенность в чем?

- Смеется на три хаханьки дольше, чем это вообще смешно.

- Ну, прямо-таки. Уж и сосчитал!

- Что мне стоит. Вранье всегда начинается с того места, где правда кончилась.

- Ты неправ, Володя. Поверь моему опыту.

- Возможно. Только производство тяжелой воды я бы ему не стал показывать.

В общем остались они каждый при своих, а “английский друг” вернулся по месту жительства и разведки, и случай быстро забылся.

Прошло, наверное, около полугода, когда Юка впопыхах и в большой озабоченности отыскал Киселёва и спросил не переводя дыхания:

- Ты об англичанине кому-нибудь рассказывал?

- О каком? - спросил Киселёв. - У меня их много. Которого тебе?

- Что смеется на три хаханьки дольше. Ты о нем кому говорил?

- Никому.

- Совсем никому?

- Ни единой душе.

- Фу-у, отлегло.

- А в чем дело?

- Ты знаешь, такая б..., такая сука! Кто у него на связи был, всех сдал, заложил, обосрал...

- Нормально. Предатели бывают только среди “своих в доску”.

- Из-за него по нашему ведомству сколько с работы снимали. Теперь если дознаются...

- Не дознаются, - успокоил его Володя. - Дыши ровней. Человеку свойственна благодарность, и Юка этого не забыл.

Гид-переводчик Киселёв существовал в “Интуристе” как отдельная фигура, потому что не находил себе места в учрежденческом коллективе и упрямо не ассимилировал. В нем было много хорошего и плохого: хорошее он унаследовал от природы, плохому научился у людей. Обретаясь в том возрасте, в каком Спаситель завершил свой земной путь, Володя все еще не мог разграничить таких понятий, как добро и зло, и путал одно с другим: восстание в Венгрии представлялось ему злом, а его подавление - добром, несколько, правда, вынужденным, но тем не менее. При всем при том он любил читать и был напичкан сведениями самыми разнообразными, однако, как ни странно, не мог разобраться, где что, и не мог с толком употребить их в жизни.

Устным словом он владел безупречно, считался лучшим экскурсоводом, и его довольно часто посылали экскурсировать с важными партийными лицами и руководящими товарищами. Иностранцы тоже это отмечали: - “У вас грубая английская речь, - говорили ему, - но слушать вас в высшей степени занимательно”. Или: - “Я не могу никого слушать больше часа. Вас я слушаю пятый час подряд и готов еще часа на два”. Он знал Восток, любил его и делился сведениями и размышлениями о нем с теми, с кем работа его сводила. А что средний европеец знает об Исламе, о его культуре гуманистической сущности, о его месте в мировой цивилизации? Ничего. В большинстве случаев перед ним стояла толпа темных, невежественных людей, которых он, не задаваясь осознанной целью, просвещал и воспитывал, насколько позволяло время, и его слушали, разинув рты. Он вполне мог бы вести экскурсии даже там, где прежде никогда не был: в Каире, в Багдаде, в Кордове.

У него был резерв продвижения по службе к старшему и к главному gidу, а с возрастом, возможно, и к руководящей должности в агентстве или в отделении ВАО “Интурист”, но прогнозировать его будущее решительно было нельзя: без главных понятий о жизни, без веры, без руководящей идеи он, скорей всего, пропал бы где-то на распутье или выродился бы в тупого благонамеренного начальника среднего

пошиба. Ему очень повезло: в его жизнь вошел Сергей Николаевич и навел в ней лад и порядок. Друг всегда во благо, и в нашей лживой жизни тем большее благо, а когда он на сорок лет старше, это уже подлинно дар Божий.

Вскоре он стал совершать самостоятельные поступки: его, к примеру, послали сменить экскурсовода, чтобы потрафить важной персоне, а он сказал, что это неэтично, и не пошел. В другой раз он вернулся с экскурсии слишком рано, и шеф спросил - почему. Киселёв ответил, что прервал экскурсию и бросил экскурсантов в городе. "Вы бросили, - медленно и жестко подчеркнул Эдуард Фокич, - заведующего отделом цека по нефти и газу и плюс двух союзных министров и трех республиканских". "Я бросил, - в тон ему ответил Володя, - негодяя и алкоголика, на моих глазах осквернившего мавзолей девятого столетия, плюс пятерых жополизов, не способных возразить главному мерзавцу. Впредь вести экскурсии с пьяным начальством прошу меня не посылать".

Это был в какой-то мере протест, и он не остался незамеченным. Комитетчики быстро распознали, откуда ветер дует. "Зря ты с Юрениным связался, - сказал Юка, выбрав момент. - Отцепился бы ты от него, пока не поздно, - мой тебе совет". "Юра, - ответил Киселёв. Разница в возрасте между ними была не так велика, и оба в минуту расположенности называли друг друга по имени. - Юра, родину и родителей мы не выбираем, но жен и друзей выбираем лично. Ты в мои личные дела, пожалуйста, не встревай".

После разговора с Юка Володя успокоился, понадеявшись, что его промашку на воинском кладбище по докладной Юка спустят на рессорах и делу конец. Однако, время спустя, закрыли не "дело", а мемориал, вычеркнув его из списка объектов показа, утвержденного самим обкомом партии. Запахло тревогой и неприятностями. Поняв, что расчислить свои соображения ему одному невмочь, Киселёв отправился в медресе Ханской Матери.

Сергей Николаевич выслушал его и сказал: - "Залетели вы, душенька, по первое число. Подполковник Ахтак вам не подспорье, он слишком мягок и незначителен. Давайте думать: поставить вам в вину выходку на псевдокладбище они не посмеют, потому что боятся огласки паче всякой лжи. Скорей всего, вас будут ловить на чем-то другом, - тут невозможно предугадать что-либо, и сколько это продлится, никто не знает. Мою вину подбирали шесть лет, но тогда времена были построже, а к вам даже придраться не за что. Вероятней всего, вас выгонят из партии и уволят с работы,

после чего вам трудно будет устроиться и содержать семью. Не исключено, что придется отсюда уехать. Но на благоприятный исход ни в коем случае не рассчитывайте. Это народ такой: чего хотят, сами не знают, а правды боятся. Вы для них опасны, и устав у них, как в воровском шалмане: вход - рубль, выход - сто. Вам следует вести себя осторожно и благоразумно. При первой же оплошности вас предадут публичной порке и остракизму. Это унижительно и болезненно, по себе знаю, но вы человек мужественный, и я в вас ни капли не сомневаюсь, так что набирайтесь, душенька, терпения и готовьтесь к экзекуции заблаговременно". "Уже снимаю штаны", - сказал Володя очень торжественно, и оба рассмеялись.

## V. Стук, стук, стук... кто там?

**“И**сточник сообщает, что седьмого июня тысяча девятьсот семьдесят... года в девять часов двадцать минут вечера ее пригласил к себе в номер итальянский банкёр для интимных отношений и предлагал за это шмотки, деньги и ценности с рук, но источник вежливо сказала, что она советская женщина и у нас такое не разрешается, а если ему очень надо, то пускай едет в свою Италию и там лезет, к кому хочет, после чего турист извинился на своем иностранном языке и уже не лез, только когда я уходила, то он поцеловал руку, а больше ничего не было”.

Дежурная по этажу Мотя Расторгуева, бойкая дурнушка тридцати лет, была из тех женщин, чья внутренняя красота затмевает внешнюю при мало-мальски подходящем случае, - только тронь. А недотрогу (это видно сразу) она из себя не корчила, и если итальянец приложился к ее руке не без удовольствия, то и ей было тем более приятно сообщить о происшествии туда, где между делом и пошутить не прочь. Мужчины всегда ей нравились, и Мотя не скрывала своей к ним слабости, но свиное сало нравилось больше, и жевала она его каждую свободную минуту, а на пожелания хлеба-соли радушно всех приглашала: - “Кушать с нами!” Была она общительна, расторопна, сговорчива и при веселом характере вполне могла вызвать у отужинавшего клиента желание отметить парой добрых слов ее полную пазуху, румяное курносое лицо и развитые, как у футболиста, лодыжки, так что перечисленные особенности ее натуры при систематическом медосмотре и известной осторожности приносили Моте дохода не в пример против зарплаты. Однако же ей, как и всякой женщине романтического склада, мечталось о большем.

Года за полтора до итальянского финансиста в гостинице проживал шведский граф, о котором она в силу негласных обязанностей должна была заботиться и сообщать письменно. В комитете госбезопасности только ахнули, когда вычитали из Мотиного донесения, что поименованный граф предложил ей руку, сердце и полграфства впридачу за матримониальный контракт. Трудно даже помыслить, чем бы все это кончилось и сколько голов полетело бы в том же комитете за недосмотр, не будь Мотя столь патриотична, чтобы решительно отклонить намеки графа на марьяж по причине несогласия с климатом далекой северной страны. Сообщение наделало много шума и дошло до центра в несколько искаженном виде, как это всегда бывает при передаче особо важной информации. Но то был веселый шум, после которого агента Анжелику перестали величать маркизой ангелов и стали называть графиней Расторгуевой.

“Потом к приезжему из обкомовского полулюкса пришел рыжий очкарик с кондитерской фабрики, он там технолог, и они сидели до полттретьего, а источник два раза бегала для них по водку в ресторан. Меня угощали выпить и так дальше, но источник отказалась, потому что на работе и вообще. У приезжего денег было, как у инкассатора, я сама видела, когда он давал на выпивку, а очкарик приходил без ничего, а ушел с портфелем. А прошлый раз приходил с чемоданчиком, а вышел без ничего, но я про это уже писала”.

Мотя отличалась старательностью, и ее фотография с давних пор висела на доске почета. Это, конечно, ерунда, - почет, тем более для кагебе. Главным в ней считалась цепкая, моментальная память, блиц-память, как говорил капитан Солохин. Ее живые карие глаза подмечали такие мелочи, на которые другой не обратил бы внимания, и это было всего важнее. Разумеется, она могла бы написать, что перепродажа крепких напитков по ночам приносила бы ей сто процентов, но она работала с ресторанным сторожем на паях и довольствовалась половиной. Кроме того, она проверяла номера, когда они высвобождались, и стеклотара давала ей небольшую, но устойчивую прибыль, какой она честно делилась с буфетчиком Гоги Кукуберия. Ее также связывала давнишняя дружба с кастеляншей Полиной, ибо нет дружбы прочнее той, что зиждется на взаимной выгоде, пусть даже от списаний по акту постельного белья, экономии мыла и сугубой рачительности к шторам и коврам. В гостинице ее знали и ценили, и если в характеристике говорилось, что она пользуется уважением администрации и сослуживцев, то в этом было много правды.

“В одиночных и парных номерах размещались американские интуристы, они еще вчерась приехали. Источник внимательно следила, чтобы они находились, где приказано, и чтобы не перепутались семейные пары. В общих номерах проживали наши граждане и командированные, а один, Петр Максимович Безденежный, тысяча девятьсот сорокового года рождения, разговаривал с ними на пальцах, курил ихние сигареты и всю дорогу улыбался, об чем сообщаю. Я потом предупредила наших жильцов, чтоб с иностранцами никаких разговоров, а то выселю. Других контактов источник не заметила. Антисоветских выражений не слышала”.

Свои донесения Мотя писала регулярно и не без интереса. Возможно, для людей посторонних такой интерес покажется вздорным, тогда как в действительности он овладевает человеком, точно азарт при игре в прятки: я тебя вижу, а ты меня нет! - стоит лишь попробовать. Если, к примеру, сесть в парке, развернув газету, будто для чтения, а на самом деле проткнуть в газете дырку и за кем-либо наблюдать, сразу же появится и охотник, и дичь, и любопытство, и нетерпение, и приятный внутренний мандраж, и все, что вы хотите. Как приятно бывает нарочито-невзначай узнать, о чем соседи за дверью бранятся, - это же весь день чужой бедой в мыслях тешиться на здоровье, а когда за это еще и платят, такая игра выходит, какой ни один умный человек не побрезгует. За донесения Моте платили двадцатку в месяц, деньги хоть и малые, а все же такие, что и лишними не бывают, и есть не просят.

В часы письменного сочинительства у Моти вырабатывалась бодрость, а с ней праздничное настроение и мечты, как у красотки перед зеркалом, и тут пора открыть, что ее занимал уже не граф, а “прынец”. Живого принца она в жизни не видела, и какой он, - японский, Уэльский, аравийский, - ей было все равно. Главное, это был высокий, интересный, содержательный иностранец, который приедет с тремя чемоданами, а уедет с двумя. Сперва он устроится в “люксе”, потом хорошенько поужинает, а еще потом встретит в коридоре Мотю, увидит две выпирающие в платяном вырезе булки, и в глазах у него загорится тоска по родине. Тут он скажет ей что-нибудь по-английски, а она поблагодарит тоже по-английски, потому что каждый год занималась на языковых курсах и умела сказать “Ай, даю! Сенька, бери мяч!” даже спросонья, хоть и с акцентом. И все очень здорово устроится. Если, конечно, принца не перехватит между этажами Зинка.

“Приходько Зинаида принимает от интуристов разные подарки, в том числе конфеты, духи, книжки и так дальше, она мне не все показывает. Источник раз у нее спрашивала, что это, говорю, за книжка, наверное запрещенная, а она говорит, что про любовь, а на обложке нарисовано: женщина телесом, а к ней мужчина пристаёт. Какая ж это любовь, когда я знаю, что у нас такое нельзя. А швейцар дал ей карточку с адресом и пригласил в Швейцарию жить, об чем я писала раньше. Мне тожесть подарили шариковую ручку, значок и две открытки, но ручкой я сейчас пишу, а открытки и значок передам с донесением”.

Еще Моте подарили чулки, но она совсем о них забыла. Седой длинный американец подарил. Понравилось ему, как Мотя по этажу ходит-катается, а может, слышал, как она смеется, и подумал по-американски: “Вот где здоровый, чистосердечный смех - звонкий! спелый! рассыпчатый! - прямо тебе каштаны на панели при свежем ветре. Подарю-ка я ей что-либо, пусть почаще смеется”. И подарил. И никто не видел. Значит и сообщать нечего, кроме того, что она сказала американцу: - “Сенька, бери мяч!” А Зинка первый год работала. В институт поступить ей денег не хватило полторы тысячи, и она устроилась на заработки в бюро обслуживания. Мотя сразу догадалась, что Зинка с придурью, если не сумела на вступительных сама себя подать, кому следует, ломалась, поди, как копеечный карандаш, а теперь мыкается до августа на птичьих правах, другим мешает.

Ох, эта зависть, - Господи, возьми у меня один глаз, а у соседа оба! Свет не без людей, которые, небось, готовы строго Мотю осудить и напрасно к тому же. Мотя не завидовала и не ревновала; всякий обеспеченный человек поймет Мотю и одобрит ее неприязнь к Зинке как инстинкт самозащиты. Будь у Моти задушевная подруга, Мотя призналась бы, что приносит за месяц домой столько же, сколько муж, слесарь-ремонтник, за полгода. Было тут что-то не так; она это чувствовала, но не умела объяснить и здорово боялась, что ее когда-нибудь уволят, а вместо нее возьмут Зинку, потому что молодая, длинногачая и по-английски лучше знает. Вот почему Мотя впрок упрочивала служебное свое положение с такой энергией, какая свойственна людям, привыкшим крепить личное благополучие в борьбе с ближними.

Был у нее при этом один крепкий заслон. Когда-то, еще на шелкомотальной фабрике, она вступила в партию и ни разу не пожалела, потому что вошла в знакомство с очень нужными людьми. Не то, чтобы Мотя стала с этими людьми

вровень, - нет; она окончила всего восьмилетку и знала свое место на стуле, но всегда находилась под рукой и на виду. Местное руководство обращалось к ней по имени, с ней были приветливы, и она - "тожесть", так как личные контакты научилась понимать по-государственному. Разве отказал бы Моте хоть один из этих нужных, приветливых людей, обратиться она с ерундовой просьбой? Конечно, нет. Да и здесь: директор гостиницы, директор ресторана, управляющий "Интуристом", заведующий гаражом, заведующий бюро обслуживания - все нужные, обязательные люди. С ними Мотя была повязана, как обоюдной симпатией, происходившей от сотрудничества, так и общей идеей о построении когда-нибудь в будущие времена чего-то замечательного, хотя в душе могла бы побожиться, что ничего такого они не строили и строить не собирались, лишь на собраниях выступали один поперёд другого, кто лучше скажет.

"Скоро месяц, как наш директор товарищ Шустов снял еще пять номеров с плана, сказал, под ремонт, а ремонта не делает, там полно приезжих, и плата с них особая: половина себе и Быструхину за то, что партком, а половина горсовету. Назавтра договорились ставить пятьдесят кроватей в садике и во дворе по рублю за место, а плата тожесть отдельно без квитанций. Еще было указание, пускай жильцы больше пишут благодарностей, чтоб не просто спасибо неизвестно кому, а партии и правительству, потому что так надо для воспитания клиента в духе. От этого у меня с гражданином получился скандал, и он послал меня на три буквы, а зачем источнику таких неприятностей?"

В этом пункте мотиной "шифровки" Мнир Павлович Солохин широко улыбнулся и поставил на полях отметку в виде галочки, потому что именно ему приходилось извлекать из донесений агентов нужные данные, а информация о директорских плутнях была у него чем-то вроде козырной карты при игре в подкидного дурачка, которую он, капитан органов Солохин, вел, охраняя безопасность государства. Мотины доносы были тем ценней, чем подробней вводили его в курс тайной жизни доступных ему по рангу людей, и хотя он ничуть не намеревался посягать на их раздвоенное существование, но в случае надобности смело шел на шантаж.

Рыжий технолог и клиент из обкомовского "полулюкса" его не занимали, и трогать их было все одно, что приключений искать. Мнир Павлович давно усвоил, что обстановка сложилась раньше, чем какой-то Солохин явился на все готовое, и нарушать сложившуюся обстановку никому не поз-

волено. Он еще в старших лейтенантах ходил, когда к ним приехал столичный генерал знакомить их с новыми совсекретными постановлениями, и Мнир Павлович спросил: - "Товарищ генерал-лейтенант, а что было бы, если б власть захватил Берия?" У генерала оказались зубы, как у лобогрейки, и улыбка на полдиаметра, когда он заявил: - "Отвечаю будущему товарищу капитану. Если б это произошло, что, конечно, как говорят в народе, не дай Бог, мы бы с вами, товарищи, изучали теперь совсем другие постановления". Все облегченно рассмеялись, и до Мнира Павловича на двадцать восьмом году жизни дошло, что идея и революция тут ни при чем, а капитализм и социализм в лучшем случае бранные либо спорные слова и только, главное же - это власть и те, кто ее употребляет. С тех пор некоторые явления совершенно перестали его интересовать, и он сказал себе: - "Подпольный цех, плантации с индийской коноплей и маком, неучтенная валюта в "Интуристе" - какое мое дело? Мне что, больше всех надо?" Отлично зная, если не обо всем, то очень о многом, капитан Солохин делал вид, что не знает ровнешенько ничего, и внутренне был готов при подходящем, разумеется, случае и услышать, и удивиться, и честно при этом выглядеть.

Другое дело, директор гостиницы Шустов. Когда этот хлыщ впадал в гонор и строил из себя диктатора с чрезвычайными полномочиями, капитан с едким удовольствием доказывал ему, что никакой он не диктатор, а отставной козы барабанщик, которого никто по головке не погладит, если узнают о его проделках, предусмотренных в уголовном кодексе. Директор безоговорочно сдавался, в делах наступал прогресс и движение к цели. Конечно, цель была мизерной, да и движение излишне комплексным, к тому же достигалось оно старинным крепостным приемом: сколько вобьешь, столько уедешь. Как умный человек, Мнир Павлович это прекрасно понимал и дальше положенного не ездил.

"Еще мне наш мердотель Давран рассказывал по секрету, что партком Быструхин теперь берет за прием в партию пятьсот рублей с кандидата и говорит это еще мало, а раньше твердая была цена триста рублей, и Давран тожеть столько платил, а в запрошлом месяце шеф-повара Ачилова как из кандидатов в члены принимали, так Быструхин требовал с него тыщу и сказал, ты жулик, воруеть много и жадный, ничего с тобой не сделается, ты эти деньги за неделю вернешь, дажеть больше, зато в суд на тебя ни одна душа, как ты есть теперь коммунист с правильной дорогой, то ничего можешь не бояться по ночам".

Мнир Павлович засмеялся, сказал: - “Вот же сука!” - и этим ограничился. Дело было дохлое и глухое; за вступление в ряды везде брали без оглядки и по-крупному, а народ уже сообразил, куда идем, потому что многие готовы были все отдать, лишь бы в индивидуальном порядке к светлomu будущему приткнуться, чтоб, значит, в открытую, без очереди и побольше. В высоких же кругах появилось много анекдотов о партии и всяких реплик, вроде застольной шуточки, что-де мало партию ценим; на Кавказе, мол, партия по цене вдвое против нашего потянет. “Надо предупредить графиню, чтоб не писала больше про это”, - подумал Мнир Павлович и, сказавши “н-да” с четко выраженным подтекстом, стал чесать затылок.

У него было эпохальное имя. Слагалось оно из фразы “Маркса наследник исполнил революцию”, точнее, из первых ее букв, и относилось к жуткому тридцать седьмому году, когда капитан имел случайность родиться. Те, кому невдомек злодеяние родителей, заклеивших родное дитя по гроб жизни этакой бякой, должны знать, что тогда это было модно. По всей стране новорожденным давали языческие наименования одно другого хуже, чем и выражалась политическая благонадежность родителей, поскольку яблоко близ яблони и само себя славит, и корень рождения своего. Мнир Павлович тоже не избежал горькой участи, хотя отцу это не помогло, - его шлёпнули через год с небольшим после рождения будущего капитана кагебе.

При знакомствах Солохин рекомендовался Михаилом Павловичем, и это дает понять, нравился он себе сам или не нравился, а Мнир Павлович не был влюблен в себя до беспамящества и выглядел милым, приятным, застенчивым и симпатичным. Если бы кто видел в замочную скважину, как беспокойно он ведет себя в одиночестве служебного кабинета и какие при этом корчит рожи, то усмотрел бы в капитане личность критическую, способную к самоанализу, то есть, мыслящую. Иначе быть не могло; в госбезопасности хватало работы даже подонкам, но дураков принимать туда, по возможности, воздерживались.

Не был он и карьеристом, но не по своей вине, а потому что для карьеры ему не доставало уха. Остальное у него было в лучшем виде: нос, глаза, брови, подбородок, шея, зубы - все, одним словом, только уха не было. Оригинальности его портрета в управленческом досье отдела кадров отводилась целая графа, где черным по белому было сказано: “Особые приметы - отсутствует левое ухо”, несмотря на то, что близко знавшие его люди, наоборот, считали особо

приметным присутствием правого. Так или нет, но он уже не мог рассчитывать ввиду этого ни на шпионскую деятельность в Австралии, ни на участие в шикарных банкетах с девочками на десерт, ни даже на сопровождение совтуристов по капстранам. Все, что ему оставалось, это разовые мероприятия и работа с местной агентурой.

Не так давно городок открыли для международного туризма и широко его разрекламировали, но прежде чем первый иностранец ступил на обетованную пыль веков славного городка, в нем ввели осадное положение. Все, кто занимал мало-мальски руководящие должности, получили статус сексотов, а прочих горожан оградили от общения с туристами под широковещательной угрозой криминала. Нищих, бомжей и бродячих собак переловили и вывезли неизвестно куда, но был слух, что в пустыню. В обслуживающих и культурных учреждениях создали сеть нештатных агентов, обучив их методам японской слежки, что значит, явно и без церемоний. В гостинице появилось неслыханное доселе заведение "Интурист", и граждане валом валили читать вывеску. При обкоме, что как раз напротив, подняли портрет сытого бровастого мужика, которому сильно не хватало гармонии. Население изготовилось и замерло в третьей позиции гостеприимства "Коли штыком, бей прикладом". Во главе опергруппы, обреченной действовать в самых горячих точках круглосуточно и без выходных, был поставлен подполковник Ахтак, наиболее выносливый и отважный из носивших в те дни оружие перед лицом неминуемой интервенции. Под его началом оказался также капитан Солохин, которого незамедлительно бросили во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов, - таким страшным местом считалась по тем временам городская гостиница.

Персонал гостиницы был им завербован без остатка сверху донизу таким же манером, как в свое время в колхоз записывали. Будучи твердо уверен, что советский человек явочным порядком от пеленок всегда готов на все хорошее, капитан не стал обрабатывать каждого в отдельности, а попросту собрал всех в банкетном зале и довел до сведения, что теперь они не абы какие служащие, но и нештатные агенты, которым следует признать данный факт как большое доверие со стороны. Тогда же он провел с новобранцами семинар, где преподавал им азбуку письменных доносов, отметил способных и присвоил всем конспиративные клички, - он их называл "псевдонимы". Против никто не возражал, только Мотя подняла руку и спросила: - "А Анжелика можно?" "Да пожалуйста", - ответил Мнир Павлович. Вот

так Мотя выгадала новое для себя имя не в пример красивше того, что ей досталось от папы с мамой.

Нынче этот коллектив строчил доносы - бумаги не напасись: в разгар сезона на иностранцев, а зимой друг на друга ради практики руку набить. Мотя находилась у Мнира Павловича на связи несколько буквальной, чем полагалось по службе, и с глаза на глаз он был для нее просто Мнирчик. Жена у него была настоящая капитанша и частенько устраивала ему такие политзанятия, после которых оперуполномоченный капитан облик имел жеваный и физиономию круглей обычного. Мотя по таким дням глядела на него и не могла понять, как это оно получается, что у хорошего человека обязательно жена-спортсменка.

“Французский переводчик Аврамов всю дорогу заносится выше кокорявого. “Я, - говорит, - на радость себя работаю; с меня, - говорит, - пенсии хватит, а ваша, - говорит, - зарплата, кому она нужна, пусть вам на память юных лет остается”. Прошлую неделю я его вызвала на откровенность и посовестила. “Какой вы, - говорю, - пожилой человек, а рассуждаете, как по “Голосу Америки”. У нас, - говорю, - Георгий Васильевич, зарплата честно советская и трудовая, а вам дурные деньги из Франции посылают непонятно за что, надоть еще посмотреть”. А он как засмеется и говорит, что источник, тоись я, представитель народа, и что таких, как я, надоть орденами и медалями помечать, чтоб издаля заметно было, кто умный навстречу попадется”.

Мнир Павлович тоже посмеялся вместе с Георгием Васильевичем, хотя знал, что вопрос о нем предрешен, и шеф “Интуриста” Эдуард Фокич уволит его при первой возможности. Переводчик он был хоть куда, особенно по части экономики и производства, потому что долго жил во Франции, образование получил, работал, оттуда же ему пенсион переводили такой, что у нас душ на двадцать хватило бы, да еще в валюте, точней сказать, в сертификатах. Держался он независимо, подачек не брал и заставить его делать какой-нибудь пустяк было невозможно. А самостоятельных у нас не любят и для работы в наших условиях они не годятся. Вот и Аврамов не подошел, потому что вред причинял много больший, чем вся его пенсия. Он покупал, например, “Волгу” вне всякой очереди, когда хотел, и уже одним этим крайне разлагающе влиял не только на молодых переводчиков, но и на партийных стариков, которые совсем еще недавно думали, что лучше нас никто на свете не живет и жить не может. Мотя была права: терпеть его в “Интуристе” дальше коллективная зависть не позволяла.

“Швец ресторана, его дразнят “Адмирал”, пропускает в ресторан не своих и берет с гражданина по рублю, а когда гражданин с женщиной, то трояк, а до этого всем говорит, что местов нет, надоть обождать, а места в любое время навалом. И еще спекулирует по ночам презервативами и водкой, сама видела своими глазами. Я спрашивала: - “Сколько у тебя, Куприяныч, за день чистыми набегает? Сотняжка есть?” А он говорит: - “Иди отселева, не топчись на чистом месте, чтоб я тебя не видел, и двери сама себе открывай, а то с тебя тожить буду брать”. И больше ничего не сказал, но источник сама высчитала, получается не меньше двести за дежурство, подумаешь, министр”.

Как видно, Мотя все-таки завидовала, самую, впрочем, извинительную малость, но нельзя не учитывать, что она жила-была-находилась в условиях того сложившегося общежития, где за грех почиталось мимо чужой кастрюли пройти, не плюнув в юшку. Очень все просто: к тем, кто “имел” больше нее, стоя на одной доске, Мотя относилась неприязненно, с подозрением и уж, само собой, не могла упустить такой великолепный шанс, как донос, чтобы дошло до начальства, какое кругом жульё, довериться некому, одна она более-менее... При всем том в подспудно сложившейся структуре производства Мотя разбиралась не хуже Мнира Павловича и не обмолвилась словом, что швейцар Куприяныч каждый божий день относит в “Интурист” сто рублей налога, а Эдуарда Фокича лучше не трогать, у него и капитан Солохин на квартальной премии, и в обкоме свои люди, и в Москве - “балшой кацо”, как о нем Гоги сказал, буфетчик.

“Вечером, после десяти часов, когда американцы поужинали, пришел переводчик Киселёв и направился в номер триста тринадцать, где проживала американка из группы, источник узнала по списку, ее зовут Линн Гроув, и там до утра остался. Сначала я туда пошла под маркой, может, чего надоть, но Киселёв сказал, ничего не надоть. Он стоял возле окна и курил, а она сидела, источнику показалось, что они спорили, но точно не знаю. Он там был всю ночь и ушел в полпятого, и они много разговаривали. Уже было больше двенадцати, когда источник пошла в номер по-новой, а перед этим позвонила на отключенный телефон, чтоб короткие были гудки, и положила трубку на стол, а сама сказала Киселёву, вроде его вызывают женским голосом. Заметила, они сидели, он возле стола, а она на диване и свет был тожить. Американка была веселая. Они вообще всю дорогу разговаривали, только в три часа перестали, я слышала,

когда ходила по коридору разумши, чтоб тихо. Замечаний по распорядку не делала, думала, может, он по заданию. Когда он под утро уходил, источник притворилась, будто сплю, а до этого бегала наблюдать во двор и видела в окнах темно, а больше ничего не могла".

К Киселёву Мотя тоже "неровно дышала", как нынче говорят, и чаще, нежели иных, звала его - "Кушать с нами!" Он же звал ее "покати-горошек", вместо "хлеба-соли" говорил "В коня корм", не скупился на приветливость или на шутку, но вовсе не замечал в ней ничего сдобного - это было обидно. Как-то показала она ему красивый журнал с картинками ("Сегодня туристы забыли") об отношениях мужчин и женщин за рубежом, а он посмотрел-посмотрел и посоветовал продать его за хорошие деньги буфетчику Гоги Кукуберия, большому любителю изобразительного искусства. И точно, Гоги отвалил ей за него полста рублей... Конечно, жена у Киселёва картинка и губки бантиком, а толку? Сколько раз Мотя видела, как он морщится, когда его мадам сюда заходит или по телефону звонит. Кому-кому, а Моте известно, что между мужем и женой такое бывает, когда и каша кончилась, и горшок разбит. Если не так, для чего Киселёву брать выходные в будни, а работать по выходным? Приходить ни свет ни заря и уходить затемно - чего ради? Или ночевать в конторе, ну?

А Мотя готова была часами слушать, как он с англичанами шепелявит, и забывала тогда всякую обиду. До того был он ей интересен, что, невзирая на занятость, у нее нашлось время и женой поинтересоваться. И вот за вознаграждение и от верных людей Мотя узнала, что артистка Киселёва крутит любовь с режиссером театра. Мало того, Мотя заручилась еще и фотокарточкой, где режиссер обнимал артистку в нездешнем саду на скамейке, и лишь после этого решила открыть человеку глаза. А он - нет, чтобы огорчиться, - поулыбался, пошмыгал носом и сказал, что дело это прошлогоднее, назвал даже город, откуда снимок приехал, и добавил, что это были его лучшие дни, так как жена гастролировала без малого полгода.

Если бы Мотя могла "по-партийному" предвидеть события, она опустила бы последний пункт доноса, а на выговор за нерадивость отперлась бы, что за всеми уследить глаз не хватает. Можно, разумеется, и по-другому о ней думать, что, коль скоро Мотя вроде и не человек, а ходкий материал, которым торгуют и оптом, и в розницу, и на вынос, и как придется, то у нее, дескать, и причин нет для самостоятельных поступков. Это не совсем так. У нее, мытой-тертой-

долблёной, в самом деле, из частной собственности почти ничего за душой уже не оставалось, кроме бабьей природы, но, допуская мысль, что изъять у женщины имущество, данное ей свыше, крайне сложно при любом общественном строе, в том числе и при развитом социализме, нетрудно допустить и крамольный вывод, что Мотя иногда распоряжалась собой без спросу. А Киселёв ей нравился. Американка при утреннем рассмотрении “тоgether” оказалась ничего себе.

“Парикмахер Арон Меламуд во время работы допускает пропаганду, что израильская агрессия правильная, чтоб землю для них завоевать, а отсюда все евреи скоро поедут в Израиль, потому что притесняют и житья нет, а разбогатеть нельзя, потому что придут и все заберут. Он сам хочет уехать и семью забрать. Задание по баптистке выполнила. Я с ней познакомилась, сказала, у меня мать баптистка, а она меня пригласила на сход, я пошла, там их тридцать душ набралось, воздуха не хватает, а разговаривают, - то брат, то сестра и всю дорогу поют религиозные песни на мотив Алла Пугачева. Баптистку зовут Наталья Авдеевна Кувыркалова, живет возле хлебзавода. Прошлый раз источник отдала донесение старшему лейтенанту Гришечкину, как приказано”.

Старший лейтенант Гришечкин, а для тех, кто с ним здоровался за руку, просто Федя, был в таких чинах и в том возрасте, когда отчество носить еще воздерживаются. Мнир Павлович здорово набил на нем руку и мог очень похоже нарисовать Федю между парой сигаретных затяжек: точка, точка, два крючочка, носик, ротик, оборотик - и вот уже Гришечкин внимательно и брезгливо смотрит с листка раскосыми глазами, чуть только не спрашивая: - “Ну что, допрыгался?” При среднем росте, изяществе манер и большой начитанности Федя имел оригинальное лицо, а в определении характера оно всегда главней походки или размера обуви, так что капитан Солохин не зря изображал Федю: и так, и этак, и к месту, и не к месту.

Прядь черных волос наискось перечеркивала лоб; глаза - один темно-агатový, другой бирюзового цвета - косили на собеседника из глубоко запавших глазниц; вислый нос обнюхивал выдающуюся верхнюю губу; рот, позаимствованный у трагедийной маски, плачевно загибался книзу, и стесанный подбородок завершал, наконец, начертание этого птичеловека. К счастью, первому впечатлению не всегда надо верить, а портрет по частям ничего не означает, кроме лицевых выпуклостей и вмятин. Только душа подсветкой

изнутри придает лицу выразительность, когда каждый штрих живет, играет и непременно знаменует собой что-нибудь важное. Но душа не всегда на лице у человека присутствует, поэтому в первооснову физиономии старшего лейтенанта Гришечкина не мешает положить догадку, что в младенчестве он пожевал лесных кислиц, сморщившись при этом, точно Москву увидел, да так и остался на всю жизнь с печатью вечной оскомины.

Это был случайный и единственный в органах человек, который вслух презирал систему бдительного взаимонадзора, считая ее вредной и ненадежной. Мниру Павловичу и другим то и дело приходилось его осаживать. А впрочем, внешний вид приличествовал ему чрезвычайно, в особенности, когда, нажаловавшись в узком кругу на постоянный внутренний дискомфорт, он делал такой, например, общий вывод: - "Мой тесть, - говорил он, - ненавидит нас до гипертонии. Вам, - говорит, - на день работы две бани полагаются, - всю жизнь в подлости, как в грязи. Политическая вы, - говорит, - полиция, вроде жандармов, только хуже: ни веры, ни царя, ни отечества, одна власть да оружие, а от народа разве что зарплата хорошая". Прочие Федины сентенции были не лучше. Но, может быть, как раз наружность позволяла ему до поры до времени именовать служебную обитель комитетом государственной опасности и скопом сводить деятельность всего учреждения к ловле гороха в ведре дерьма. А может, сама служба выходила из него не потом или усталостью, а кислотно-щелочной реакцией. Работа же у Феде была, прямо сказать, дрянь дрянью.

Он ни во что не верил и, тем не менее, всецело разделял гипотезу старика Экклезиаста о том, что умножая знания, мы умножаем скорби. А знал Федя немало и, быть может, оттого скорбел. Он любил Джозефа Конрада и занимался перлюстрацией писем, - разве не огорчительно? Он смыслил в кибернетике, в автоматике, в программировании и надзирал за радиофицированными гостиничными номерами, - это ли не печаль? Наконец, он специализировался на иностранных дипломатах, то есть изыскивал способы, как их получше скомпрометировать до кондиции "нон гра-та". Тут Федя по уши влезал в такую мерзопакость, что в пору рыдать по нём с чувством мировой скорби. В деле ему помогали два штатных сотрудника и легион нештатной шантрапы.

Когда Мнир Павлович убывал в отпуск или в командировку, Федя охотно его замещал. Тихое посиживание за кроссвордом, выходы по расписанию на связь с сексотами,

обед вовремя и спокойный сон не побуждали его ждать капитана Солохина с нетерпением. Дела обстояли, как на курортной рекламе: жуир, шезлонг, променад и рандеву - благодать! Жаль только, что Федя был слишком серьезным человеком и редко улыбался.

“Если источник чего забыла, извиняюсь, конечно, сообщу следующий раз. Пишу дома в одинокой обстановке.

Анджелика”.

Информацию от Моти принял Гришечкин, и поэтому не мешало выяснить: читал или не читал? Спору нет, Федя надежный товарищ и Мниру Павловичу нравился, но еще больше нравился стих, звонкий, как удар по струнам:

Есть тайна двух, но тайны нет у трёх,  
И всем известна тайна четырёх.

Киселёв называл поэта из местных, но Мнир Павлович не запомнил. Хотя проблема, ясно, не в имени, а в том, что стих надо принимать с поправкой на время, на прогресс и, в особенности, на возросшую культуру, поскольку тайны двух теперь не существует, каждый сам за себя. В общем Мнир Павлович рассудил здраво: если Федя читал, рисковать не стоит, и информация пойдет наверх, а если нет, тогда мотину “рукопись” можно отложить по забывчивости в долгий ящик и затем выкинуть к свиньям собачьим. Он поднял трубку служебного телефона и попросил старшего лейтенанта Гришечкина заглянуть.

- Ты донесения агентов изучаешь? - спросил он Федю на правах старшего по званию.

- Да ну тебя! - ответил тот не по уставу. - У меня полкило текстов не переснято и аппаратура в номерах не вся срабатывает. Сам изучай. Неужели думаешь, если я тебя подменяю, так уж и обязан?

- Да погоди ты, - миролюбиво сказал капитан и зачитал отрывки из мотиного доноса о политически отсталом постояльце, не пожелавшем благодарить родную партию за предоставленную ему раскладушку, и об итальянском банкире, вождевшем к Моте по большому счету.

- Мания величия, - сумрачноотреагировал Федя. - Ко мне соседка что ни день пристаёт: “Ах, Федя! Этот демобилизованный Николай с пятого этажа подозрительно на меня смотрит. Будто раздевает, нахал бессовестный. Наверное, хочет изнасиловать. Вы бы с ним поговорили”. “Не переживайте, - говорю, - Капитолина Архиповна, сделаю хаму внушение. Пусть знает, что вы под защитой органов”. А Капитолине Архиповне знаешь сколько? Восемьдесят два. Ничего сверхъестественного, - женщина всегда женщина.

Что же касается политвоспитания гостиничной клиентуры, тут Федя загнул такой анекдот из жизни правительства, что капитану тотчас же захотелось спросить, не устанавливал ли Гришечкин звукозапись в его кабинете.

Выпроводив старшего лейтенанта, Мнир Павлович с легкой душой сунул листки в папку и, адресуясь к воображаемому Киселёву, с большим чувством спел про день победы, пропахший порохом. Но едва он закончил соло, как из селектора прозвучал голос подполковника Кужецкого Чеслава Адамовича, который велел капитану поднять донесения нештатников по гостинице за последнюю декаду. Мнир Павлович на миг задумался, но, будучи человеком современным, судьбу решил не искушать, и Мотина бумага ушла из его рук.

## VI. Исповедальная

**Д**олжность у меня несерьезная, швейцар, шестьдесят рублей, за глаза Адмиралом зовут по причине бороды, а обращаются, - "Куприяныч" говорят. Два места в жизни имею: одно на кладбище, как возраст мой семьдесят пять лет, а другое в гостинице, в конце сеней; там за дверью ресторан музыку играет, а чуток не доходя малое мое хозяйство: вешалка, одеколон, сигареты, всякая нужная мелочь для мужчин, в том числе, выпить в поздний час, у кого душа горит не по расписанию.

С Володей Киселёвым завсегда совместно работали, а под конец в партии встретились, - меня в тот день записывали, а его аккуратно к выписке готовили. Прямо анекдот, твою дивизию, клиент один рассказывал, а я польта им подавал, слушал. Потерял гражданин сто рублей и - объявление через газетку: даю, мол, двести тому, кто найдет. Сразу нашлись, а народ у нас честный: одну кто калошу найдет, "чья?" - спрашивает, а две нашел, так и помолчать можно. Словом сказать, не хватило гражданину тому расплатиться с честными людьми, прогорел до креста на шее. Вот и думаю насчет партии, какая ж им от меня выгода? Мне от них - понятно какая, Эдуард Фокич мозги мне вправил, а им от меня? Думаю, думаю, никак не пойму.

А я туда даже не своей охотой, в партию. Эдуард Фокич козу мне подстроил на старости. Эдуарда Фокича знаете? Ну, как же это вы Эдуарда Фокича не знаете? Не может такого быть. Его все знают. Другого, как он, в целом городе днем с огнем; один раз встретил, уже не обозначаешься. Не то что там нос-паровоз или правый глаз налево подмарги-

вает, ничего такого, ровная личность, только доброты через меру и обхождения: зашел - не хлопнул, вышел - не скрипнул, вот так у нас. Другой и кричит, и грозит, и кулаки выше головы держит, а порядка нету. А Эдуард Фокич туда-сюда шныриком-шуриком, там-тут посмотрел, тому-другому кивнул, уже и порядок, и дела на лад, и все на своих местах, а Эдуард Фокич на своем, акционер, акции у него дешним "Интуристом" заправляет.

При его руководительстве зарплату всем отменять можно, - такой человек способный. Так про него и говорят: новый тип-деятель, сам плюнет, сам на лету перехватит, - смекаешь? Ни грубости, ни приказа, чтоб немедленно, а то, мол, башку отвинчу, твою дивизию. Совсем даже наоборот: - "Окажите мне услугу". Или: - "Нельзя ли вас попросить, если, - говорит, - можно?" А то чего ж "не можно"? Еще как можно! Да что я вам... У него одно "пожалуйста" рубль цена. И все без ума, каждый угодить лезет: и переводчицы, и девки долгоногие из кабаре, и официантки, а Эдуард Фокич еще сам не изъездился в сорока годах, а представительный, - это страсть, какой представительный.

Вот, скажем, звонят ему по телефону. Другой бы на его месте гавкнул от величины должности, а он трубочку снял и говорит в нее, как на свечку дышит: - "Слушаю-с", - говорит. Ну до того, верите, слабым таким стенанием, будто неделю не ел, не пил, глаз не сомкнул, все звонка ждал этого, и вот, слава те, Господи, дождался. Да вы сами, небось, примечали, как культурный человек при хорошем настроении в ресторане удовольствие получает. Сидит он себе, задумался, никого не трогает, коньячку выпил, лангетцем закушал, сигаретку закурил и вальс "На манчжурских сопках" переживает, а у самого, как по небу легкие облачки, так у него по личности приятные наблюдения. Такая уж у него личность, у Эдуарда Фокича, вроде он всю жизнь в ресторане при хорошем настроении. На него долго ежли глядеть, так повидится, будто и ты с ним на манчжурских сопках за компанию, и сердце у тебя млеет, и жизнь без хлопот, и вопросов не имеется, потому - Эдуард Фокич наперед все оплатил и на чай дал, кому надо.

Раньше он, переводчики рассказывали, в Америке был дипломат, не знаю, кому чем не потрафил, - говорят, шпионничал там, а они его подловили и пенделя под это самое, так что за двадцать четыре часа, твою дивизию, на родину с чемоданами загремел. Его к нам, - жить-то надо? Бывшего за беспартийность турнули, а его поставили. Мы Фокича как увидели... "Ну, - думаем, - ангел с неба на парашюте в

командировку". С собой деликатный, разумный, моется каждый день, очки у него, как фары, костюм покроя нездешнего и портфель, а в портфеле отпущение грехов всему нашему коллективу.

Хоть потолкует с кем, - кто ж так с подчиненными когда беседовал, чтоб, значит, "мой друг", да "пожалте-с", да рукой на мягкое стуло разведет... А кого просить? Меня, швеца при дверях? Кладовщика в каптёрке? Тетю Маню, уборщицу замурзанную? А вот поди ж ты, как он поговорит с тобой, как за пуговку тебя подержит, так ты бегишь потом от него с новой силой на рабочее расстояние сам не свой, кучерявый от радости. А как же! Такой человек с тобой словом поделился, стало, значит, и ты не последний с краю, а равный со всеми член. Я-то понимаю, конечно; равные-то мы, равные, а Фокич по равнению всех покроеет, только не показывает. Увольнять будет и то не покажет, что ты перед ним дуга, а он перед тобой оглобля. У кого другого разные там оскорбизмы, а Эдуард Фокич как? "Очень жалко, - говорит, - любезный, мне с тобой разлучаться, нужного работника терять, да что ж теперь? Сам виноват. Предупреждал тебя, а ты не послушал. Потому, - говорит, - не обижайся и передавай семье большой привет".

Это что ж получается? Руку подаст, очками посветит, про жизнь опросит внимательно - как, мол, она у тебя текёт помаленьку? Бывший наш хотя тоже молча не проходил. "Как стоим, Куприяныч? - спросит бывало. - Не шибко ли, старый, воруюшь? Смотри, жалобы на тебя". "Стоим, - отвечаю, - на своих на двоих. Штаны в лампасах, карманы с дырками. Ежли воровать, куда складывать?" А этому и рад бы плачевно пожалиться, да больно сердце теснит огорчать хорошего человека. "Спасибочки-с, Эдуард Фокич, на сто один процент моя, - говорю, - жизнь и переполнение плана-с". А какой "на сто один", на полста натянуть, и то хлеб. Стал бы я тут вам двери листать, польта подавать, кабы пенсия кормовая. С того и забота: - "Милостью просим, судырь-с. Один момент-с. Не позволяйте вам волноваться. Много благодарны-с. Добрый час. Захаживайте-с". Это он меня научил: и судыря этого, и присвистнуть через слово, и насчет бороды, - с нее-то я в своей жизни свет увидел.

Подметил он меня, значит, и через, этак, неделю к себе зовет. "Огромный талант, - говорит, - наблюдаю, Куприяныч, в бороде в твоей, только ты свой талант бесполезно в землю закопал. Бери, давай, лопату и срочно теперь откапывай: сперва подкорнай ровненько, чтоб она у тебя до креста, а не до пупа, а лучше сходи-ка ты к Арончику Мела-

муду, он тебе ее под адмирала организует, двумя чтоб хвостами, - один на Кавказ, другой на Арзамас". От бороды прозвали меня адмиралом, а кто не знает, думает, имя крещеное: - "Адмирал Куприяныч, будьте ласка за чемоданчиком доглядеть", - вот тебе и полтинник при дороге валялся. А мне вовсе даже без обиды: был вша бессрочная, а тут вроде с главбуха по росту вышел.

Эдуард Фокич как ее увидел, бороду мою новым расчесом, так и головой ласково, доволен, но опять же поучает: - "Свистеть, - говорит, - не забывай. Свистунам надбавка, а какая, увидишь во времени при древних твоих способностях. Так, - говорит, - полагается для русского гостеприимства. Ты это усвой и доложи успехи". Настрополил я, прихожу через время, докладываю: - "Так что благодарствуем-с, Эдуард Фокич, подавать стали не в пример-с". "Ну вот, - говорит, - и отлично, дорогой, вот и отлично, рад за тебя, теперь ты самый образцовый швец, держи форс, да бороду почаще оглаживай, наполоам чтоб ершилась". Самолично потрогал, подергал, руки себе обнюхал, говорит: - "Потеешь, воняешь, народ разгоняешь, а тебе пахнуть положено". И велел мне ее казенным одеколоном поливать. "Пятьдесят лет конницы Будённого" одеколон, духовитый, анафема, и расход положил три флакона в неделю, чтоб меня всякой ноздрей было слышать: пахну - значит, на месте, не пахну - стало, вышел куда.

И еще два слова меня научил: "Ваш спрос". Что она за хреновина с морковиной, спрос этот, я воздержался узнать, но он меня предупредил говорить его не всем, кому двери открываю, а тому, кто равней будет самого Эдуарда Фокича, и обязательно чтоб напоследок, как высвистел судырей с благодарностью-с, так сразу и "ваш спрос" пустил, вроде как пальцами по спине прошелся. "Дай, - думаю, - попробовать". Попробовал. Гляжу, - это что ж, твою дивизию, на свете происходит?! Лично первый секретарь Махмуд Рахимович ко мне повернулся и контролирует, как я бороду свою - и вашим, и нашим! и вашим, и нашим! Да этак надвое, надвое, ровно бабушка мне сказала. А с ним вся головка: Марсель Шаратович - облисполком, Аминов полудурок - горком партии и полковник Кужецкий госбезопасность при них соблюдает, девок в кабаре приходили смотреть и ханского шашлыку покушать, а ханский шашлык у одних нас делают секретно и больше нигде. "Представительный, - говорит, - швейцар у тебя, Эдуард Фокич. Ишь, веники распустил. Такой и на Красной даче у нас не протух бы вечерок постоять. Ты уж нам его изволь, друг, если надо будет, ког-

да скажу, на день-два. Изволь, давай, в порядке поручения. Коммунист?" - это уже у меня интересуется.

А я, веришь-нет, душа от избытка маслом обливается, вешний праздник, прощенный день. Это ж подумать! Да кто я такой, твою дивизию? Чем заслужил, чтоб такому знатнецу, как Махмуд Рахимович, на меня оборачиваться? "Беспартийный, - говорю, - ваш спрос". "А почему беспартийный? - спрашивает. - Почему, Эдуард Фокич, у тебя такие кадры мимо партии на ответработе? Непорядок. Ты этот вопрос подумай". И руку мне при всех, - не веришь? Так я и знал, другие тоже не верят, хорошо - свидетели есть. Не вытерпел я, зашелся светлыми слезами, дергает меня по ниточке, жаром окатывает. Руку-то Махмуда Рахимовича держу - не выронить, будто блинок с пылу, сам держу, сам чувствовать не смею и размышления у меня искрами по организму, что этой вот ручкой, какую я оберегаю, он кого любого в землю по пояс вогнать может, а я держу и хоть бы что. И все после него со мной за руку и носом дышат, потому - на бороду я поплакал и от меня конница Будённого, анафема, когда я мокрое растер никому не заметно, чтоб духовитей.

С того дня стал я равный приблизительно Егору Михалычу, директору ресторана. Егор-то Михалыч не дурак, сам наблюдал мою победу, смикитил, догадливый. "Ты, - говорит, - Куприяныч, как он другой раз заявится, Махмуд Рахимович, ханского шашлычку перекусить, так ты ему, кроме всего прочего, пожелай еще приятным аппетитом покушамши, а я тебе по десятке во здравие за это. Так и скажи: - "Приятным аппетитом покушамши вас, Махмуд Рахимович". Они это любят, знаю, сам Дугласа кормил". Он, вишь ты, натурально кормил этого Дугласа и забыть уже нет мочи, а Дуглас этот чей-то был иностранный, но не наш одно слово, и он его чем, не знаю, кормил. Оно, правда, при Сталине еще было, а все в память: - "Дуглас, - говорит, - о-о-о!" И вся жизнь у него с Дугласа, как у меня с бороды: "Это, - говорит, - было до того, как я его кормил, а это, - говорит, - после". "Не волнуйся, - говорю, - Михалыч, все сделаем малой кровью, лучшим качеством".

Чувствую, должность моя в горку поехала; с чего бы? - думаю. Хозяйство у меня - глянул и не заметил, дверушка всего да вешалка, остальное знать надо. На одну паркетину наступил, звонки в нужном месте зазвенели; смотрю, капитан Солохин мчит, галстук на ходу надевает. Или на другую нажал, сфотографировал на добрую память десяток карточек вкруговую бесплатно. Снимаем мы на пару с Гришечки-

ным: он вдоль сений наблюдает, когда интурист по отдельному ковру пойдет, а сам рукой мне показывает: "Давай!" - я и даю. Один раз я переводчика Володю Киселёва заснял, так мне за это от Ахтака попало. "Ты что это, мудоило старый, - говорит, - наших людей снимаешь? Тебя для этого сюда поставили?" "Нечаянно, - говорю, - заступил, товарищ подполковник. Извиняюсь, больше не повторится". "За нечаянно, - говорит, - бьют отчаянно. Ходи у меня, ежели работать хочешь". Грубые они все из этого комитета, особенно Ахтак подполковник, он тут у них главный. Бывает, даст поддержать снимок личности и говорит: - "Подойдет этот фуй с бугра, нальешь из этого графина, а на вынос попросит, вот эту продашь бутылку. Смотри, - говорит, - не перепутай, ты меня знаешь, я тебе бороду с головой отрежу, ежели что не так". А водка та разговорчивая, японец напёрсток пропустил и забеседовал: своих не признаёт, Гришечкин у него друг детства и всё, что японец бормочет, на портсигар записывает.

При такой нервной работе мне ж тоже за вредность процент полагается. Раньше я в ресторан всех подряд пускал, какое мое дело, ежели места, но раз такой случай... "Э-э, - думаю, - нет; шибко спешить - людей смешить". Начал я в клиенте разбираться. Этого пропускаю милостью-с, а тому назад салазки и мимо себя чай без сахара. Проход загородил, - "Местов, - говорю, - нету". Клиента, как на рентгене, вижу, редко-редко ошибусь, и не надо здесь большой хитрости, потому как при деньгах у тебя походка одна, а по бедности совсем другая. Ты вот не замечаешь, а она другая. Командированный, он на два с полтиной целые сутки обязан продержаться, а у нас один бульон под музыку доroje стоит. Что я, не вижу, как он идет, про что мечтает? На первое хлеб с горчицей, на второе кефир, и личность у него умная-умная, а как меня приметил, по ровному заспотыкался. При деньгах ты идешь как? Хозяйственно землю попираешь, твою дивизию, грудь у тебя напрокат, пиджак в плечах жмет, руками обленился и разговаривать тебе со мной неохота, легче рванный трояк сунуть. То-то, смотрю, завелось у меня этих трояков, - уже докладываю, не приbedняюсь: - "Лучшим видом, Эдуард Фокич, полный вперед, ваш спрос, дай вам Бог то, другое, третье".

Мне б таково и дальше трубить, да проходит время, а Фокич, он памятливыи, вызывает, говорит: - "Дело до тебя, Куприяныч. Помнишь, Махмуд Рахимович на беспорядок мне указал, помнишь? Так вот: опять спрашивал, как, мол, с порядком, наводится или нет? И сроку дал неделю, чтоб

тебя к этому сроку в боевую готовность двери у них на Красной даче открывать, очень будет прием ответственный. Второй звонок из-за тебя, а третьего не допущу, у меня порядок на первом месте, хоть ты кто, а порядка не нарушай, и ты, Куприяныч, тоже не нарушай, а садись, давай, вот ручка, вот листок чистый, и пиши: "Прошу принять кандидата", - я продиктую, чего дальше. Рикиминдации, автография - не твоя печаль, другие за тебя напишут, а насчет карточек, - возьми мою машину и сгоняй в похоронное бюро "Прогресс", найди Ваню Лазарева, он быстро делает, скажешь, Эдуард Фокич просил на партдокумент, да пятерки-то не пожалей, а то знаю я вас... Ну, любезный, поздравляю со вступлением в ряды".

Я как сидел, так и встать не могу, ноги отнялись, сам чуть не плачу: - "Эдуард, - говорю, - Фокич, ваш спрос, пожалейте старика, дайте помереть своей смертью, ну какие из меня к шутам ряды-с, когда ни уха ни рыла, и Ахтак подполковник грозит уволить, - позорю, мол, общую грамотность, доносы письменно не сообщаю. Да как же мне-то им письменно? Душой бы рад, а как? Подпишусь еле, восьмой десяток, судырь-с, песок из меня и в политике не разбираюсь". "Нечего тебе, - отвечает, - там разбираться, без тебя разберутся. А насчет Ахтака, - не он тебя нанимал, не он уволит, ему степенства на это не хватит, второстепенный он и ты его не бойся. Старик ты из себя, - лет десять еще протянешь, а что прочее, это не твоего ума, ты давай, делай, что говорят, заявление пиши". "Да как же так, - говорю, - добровольно головой в мешок по таковой цене, хоть бы малое какое послабление, а то еще и Быструхину налог полтыщи плати, что меня принимают, а мне за эти деньги целных три дня на ногах с полдня до полночи, - кому охота?" Эдуард Фокич засмеялся и говорит: - "Не тушуйся, старик, тут случай такой, что Быструхин сам тебе эти деньги заплатит и еще больше того, только время не проводи, вступай, слышь, не тяни, некогда мне с тобой". "А ежли, - спрашиваю, - не стану-с?" "Ну что ж! - говорит. - Тогда по старости на заслуженный отдых, а мы уж как-нибудь без тебя, кого другого подберем, помоложе, посговорчивей. Свято место, - сам знаешь. Жалко с тобой расставаться, отличный швец, и сколько я на тебя труда положил, да что ж делать!"

Повязал он меня, твою дивизию, что я ни дёрг, то больней. "Да мне какая ж, - спрашиваю, - прибыль-с? Ну, другие там, которые с образованием, в начальство прут, дорогу лбом прошибают, без партии им невмочь, это я понимаю. А я что? Дверушка да вешалка - весь инвентарь, больше не

надо. Не заместителем же к вам, судырь-с?" "Угадал, - смеется, - не заместителем. И прибыль тоже - одни убытки, рубль в месяц взносы будешь платить. Зато в жизни устроишься, как это ты простых вещей не сообразишь при дремучих своих способностях? Тебя тогда и под суд нельзя. За это люди годами в очередях стоят, - в ряды скорей попасть, любые деньги платят, один другому дорогу перебежать норовит, чтоб этот сегодня, а тот завтра, а ты, как бык на привязи. На какую стезю выходишь - пойми! Кому открывать будешь?! Ты таких и близко не видел, перед ними Махмуд Рахимович сам навроде швейцара. Они с беспартийными знаешь как? Как с беспортошными, через секретаря, а ежели иностранец, через переводчика. Разве можно тебя в таком виде к ним пускать? Такие люди, Куприяныч, другая порода. Ты вечеряешь, а они пищу принимают, - учишь, брат! Ты разговор ведешь, а они указывают, - сообразил? Ты квартирно живешь, а у них резиденция, - понял? Ты спишь, а они почивают, - запоминай, говорю, а то ляпнешь спроста: "Как спали?" - а я за тебя красней. Нет, Куприяныч, ты меня лучше не растравляй. Ну, постоишь ты, беспортошная душа, месяц, два, не знаю сколько, а на тебя жалоба: пальто не отдает без полтинника, - ну? Или: по карманам, скажут, мелочь таскает, ничего оставить нельзя, - что дальше? Веры тебе нет, кому ты нужен, заступаться за тебя? А в партии совсем по-другому, как ты уже коммунист, то никто тебя пальцем. Так что давай, друг милый, местом ежели дорожишь, а с чаевых и взяток взносы не платят, не волнуйся, в прогаре не будешь. Больших людей обслуживать сроду не накладно, еще лучше жизнь у тебя пойдет, сам скоро разжуешь своим древним талантом. Один мой тебе совет: что там увидишь - забудь, что через одно ухо услышишь - выкинь через другое и вообще ничему не удивляйся, тогда проживешь долго".

Вижу такое дело, - что ж мне сто рублей в день, что ли, не жалко? "Благодарствую-с, Эдуард Фокич, - говорю, - надумили, ваш спрос, а я вам за то налогом обязан и все напишу, что требуется". Повеселел, гляжу, Фокич, подобрел, озоровать стал, за бороду цапать шутками, а я изловчился и руку ему чмокнул. И мигом подал в партию.

На другой день партийное объявляют собрание; всем, значит, явиться обязательно и два вопроса: первый - "Разное", второй - тоже "Разное". Так надо для строгой секретности. Иностранцев по всяк день полная гостиница, такой народ бессовестный, до каждого чулана ключи подберут и всякую объяву заснимут, особенно ежели партийные дела,

они всегда тут как тут с аппаратурой, кого там у нас в партию принимают и как фамилия, чтоб никаких уже с ним делов, а кого выгоняют, - этого Иванова теперь можно, значит, смело-пожалуйста за доллары вербовать. Но я-то это не знал по беспартийной своей глупости и думаю: ну, ладно, первый вопрос, это ясно, - меня принимать, а два раза "разное" для чего? - два раза меня, что ли, твою дивизию, за одну провинность головой в мешок? Нашел Быструхина, спрашиваю, а он говорит: - "Отцепись, не лезь, готовься лучше к международному положению, которое сейчас как никогда: и разрядка под напряжением, и Израиль от рук отбился, и все летит к Богу в рай, не до тебя". Он вообще такой человек: его тронь, как слегой ткнул в болото, а оттуда пузыри и бульбы. Раньше судисполнитель был, а теперь партком, и мельница у него по любому дерьму мелет. Да оно и должность тоже, - какой сам, такая и должность.

Наши всегда в банкетном зале собираются, и чтоб в рабочее время, а по-другому их не соберешь. Оно и так собралось меньше половины: кто после смены, кто вовсе не заступал, кто на перерыв ресторана, - официантки, сантехник, Леша Яйцов - завгар, бюро обслуживания, контора, горничные, а переводчиков трое всего: Аврамов Георгий Васильевич да Киселёв, да Юличка с немецким, - остальные в разгоне по экскурсиям. Посмотрел Быструхин сверху по макушкам и спрашивает: - "Ну что, Эдуард Фокич?" - а тот ему: - "К вóрам, - говорит, - к вóрам", - да еще из зала: "Давай, Быструхин, живей!" - кричат. И сразу меня за пять минут приняли.

Ну, вопросы, само собой. Кастелянша Полина: - "Пускай, - говорит, - автографию расскажет, когда это он родился, чтоб всем ясно". Я встал, бороду нарасхват, сам отвечаю: - "Автография, - говорю, - моя в порядке, в парткоме записана, работаю сколько уже, а родился - тебя, Полиночка, еще в зачатке не было". Тут разом так все и зашумели: - "Принять! Принять!" - потому каждый спешит по своим делам и охота, чтоб скорей все кончилось. Ну, еще Лешка Яйцов выпимши, он всегда выпимши, с того и завгар, чтоб самому, значит, не ездить, а то задавит кого, Фокичу неприятность. Ежли б он беспартийный, его б, конечно, давно уволили, а он, мало того, что сам коммунист, так еще и в горьком братовья двоюродные, вот он и не просыхает и никакой на него управы, кроме как перевоспитать, чтоб не пил. Он еще когда шоферил, тоже зашибал крепко, пришлось выдвигать на повышение. Его спросили раз на собрании: - "Зачем вы, товарищ Яйцов, не в трезвом виде?" А он гово-

рит: - “Да пошли вы все на фуй!” Малость посидел, подумал, еще добавил: - “Я, - говорит, - книгу пишу!” После того встал и ушел никому не должен. Вот он мне и задает: - “Почему, Куприяныч, ты поступаешь, куда стремишься и какие твои задачи?” А я припомнил Эдуарда Фокича вразумление и говорю: - “Один пойдешь, в тюрьму попадешь, а с партией пойдешь, много счастья найдешь, и я тебя, Леша, не хуже, не тебе одному книги писать”. Тут все руки кверху позадирали, а Быструхин пальцем по воздуху поводил и объявляет: - “Единовластно”.

А вторым вопросом разбирали образ Володи Киселёва, переводчика, - вот что такое “Разное” под вторым номером! Это всегда нехорошо, когда образ разбирают, пакостное дело - страсть, и понимать его надо так: или ты взял не по чину, или согрубил не по должности, или вообще наперекосы начальству пошел. Мы попритихли, интересно, ждем, а Быструхин сперва доложил, сколько по стране сена заготовили и зерна намолотили, и неграм тракторов подарили, а потом и говорит: - “Не знаю даже, как вам сообщить, дорогие товарищи, но дожились мы до ручки, позор на коллектив, черное пятно, неизвестно, каким порошком отмывать, и где он, тот порошок, чтоб его купить за любые деньги, - вот какой нам вред учинил товарищ Киселёв всем вам известный”. И дальше понёс про разрядку, про Вьетнам, евреев ругал по-страшному, так что совсем стало непонятно, чего там Киселёв натворил: то ли убил кого, то ли банк ограбил, а то, может, крушение поезда. Райка Чумакова не утерпела и Быструхину при всех советуем: - “Тянул бы ты, домовой, дохлого кота за одно место, время тут с тобой проводить, давай покороче!” Ну, Райке все сойдет, самого Марсель Шараповича облизполкома любовница, так всем и заявляет: - “Я, - говорит, - любовница Марсель Шараповича, а вы кто будете?”

Дело-то, оказывается, ну что пустое, прямо сказать, никакого дела, один пар. Приехали прошлым числом туристы из Америки, и с ними туристка, забыл, как ее. Киселёв их на экскурсию водил, а уж там дело бытейское: он ей глянулся, она ему. Володя-то Киселёв собой ничего, привычка только, - глаза с головой вместе ходят: сперва голову повернет, потом смотрит, а это не всем по шерсти. Говорил ему: - “Володийка, ну чего ты гляделки таращишь, ровно буравли они у тебя, и сам сурьезный, как Лазарь. Ты ласково людей видь, бочком, как Фокич, и все тогда к тебе будут добровольно желательны”. Так он что с туристкой этой надумал, Быструхин рассказывает: заместо того, значит, чтоб стре-

миться к дальнейшим успехам на трудовом фронте, он, Киселёв, к этой американке стремился, пробыл до третьих у нее петухов и американку за то время, недолго думавши, оприходовал. “Я очень сожалею, товарищи, - Быструхин докладывает, - меня там не было ихнюю свадьбу поломать, а Киселёву прописать очки, чтоб, значит, видел, с кем связался, и место ли ему в нашей парторганизации, ежели так себя ведет”.

Что гомону поднялось! “Место! - кричат, - место! Гоги Кукуберия двоих обработал и - ничего, а Киселёва за что?”. Гоги в тот день на собрании не было, он вечером с пяти заступает как завбара уже больше недели, а раньше, когда был буфетчиком, напоил двоих полячек, отвез к себе домой и что с ними там вытворял, все догадывались, а утром на самолет предоставил - чуть ходят. Ему тогда выговор сделали без занесения, чтоб рейсы в другой раз не задерживал. “Ты, - ему говорят, - не прогноз погоды рейсы задерживать”, - так что случай такой уже у нас был.

Но Быструхин сказал, что совсем это не тот случай, потому - Польша все одно, что Белоруссия, а поляки как наедут, так и в коридоре спят, и на чердаке, и в садике под кустом и не обижаются, а Америка... “Пусть, - говорит, - в глаза мне плюнут, ежели хоть один американец во дворе или на крыше заночевал, сроду не было, завсегда первый класс или даже “люкс”. А Киселёв этим воспользовался, что в номере все условия, никого посторонних, мягкий, в общем, плацкарт, про него специально старались, и ты нас, товарищ Киселёв, извини, будь друг, ежели там пружины скрипели ржавые. Как же ему верить, когда без разрешения сам опозорился и нас опозорил, стыдно в обком ногой, все удивляются: - “Непонятно, - говорят, - зачем вы ему доверяли, что он вам за ваше доверие сожительствоет с кем попадя, любая посуда годится, лишь бы импортная и без крышки”. А это уже называется политика, потому что не всякий импорт на пользу, товарищи, это вам не парень девушку обнял, а коммунист, да ежели б девушку, а то и сам, гляди, не разобрал кого, - ей уже больше тридцати и ничего общего, кроме последствий, а кто нам такую даст гарантию, что не замастерил он ей фундамент на девять месяцев, а? Вы только на него посмотрите, - здоровяк, за сколько лет ни одного бюлетня, да он ей там пять палок, не меньше, и теперь мы его спросим: можете ли вы гарантировать собрание, товарищ Киселёв, что она от вас не беременная поехала, или пусть даже расписку, что не имеет к вам претензий на будущее, - хоть бы это вы, товарищ Киселёв, дога-

дались, уже не говорю насчет справки состояния полового здоровья, которую он тоже у нее не спросил, это больше, чем я вам уверен”.

Только он это заявил, как переводчик французский Аврамов не вытерпел и насуперечь без дозволения: - “Какое, - говорит, - дело партии и лично ваше, товарищ Быструхин, кто с кем спит без ваших указаний и сколько там у них палок. Я, - говорит, - на месте Киселёва вообще б на этот спектакль не явился, потому что стыдно вас слушать”. “Помалкивал бы ты, - осерчал Быструхин, что его перебили, - да дышал бы за пазуху, господин хороший, со своими капиталистическими порядками, тут не Франция, а Советский Союз, а ежли тебе без разницы, можешь вообще гулять отсюда”. Тот встал и вышел, дверь не закрывши. Ну, еще один смелый, себе думаю, зажрался, пенсию за граница платит, деньги складывать некуда, чего ему бояться при таком обеспечении? А платил бы наш собес, сидел бы, небось, ниже травы, твою дивизию, герой нашелся.

Все, кто там был, сразу промежду себя: шу-шу-шу-шу-шу... Потом один поднялся: - “А хоть и беременная, - говорит, - ну и что?” За ним еще кто-то: - “Это, - говорит, - с тебя, Быструхин, рождаемость в Союзе на убыль пошла, так ты теперь виноватых в Америке ищешь”. Лешка Яйцов тоже: - “Имею, - говорит, - предложение Быструхина убрать за вредительство, а на его место Киселёва и благодарность объявить: молодец, не испужался и показал иностранцам, что мы такие же люди без никакой разницы”. После того долго смеялись, один Эдуард Фокич сознания не теряет, сидит вполоборота, очками к нам, насмешкой к Быструхину: - “Переходите, - говорит, - к выступлению, товарищ Быструхин, может, кто выступить желает”. А выступать желает всякий раз одно только начальство, остальные - кому охота трепаться? Шустов, директор гостиницы, самый крайний, и Быструхин ему говорит: - “Давай, товарищ Шустов, принципиально и начистоту, чтоб другим nepовадно разворотом морали заниматься”.

Шустов встал, потоптался и смело так заявляет: - “Товарищи бытовики! Не знаю, как сказать правильно со всей ответственностью в глубине поставленных задач, но скажу откровенно, ничего не скрывая, потому что не дело коммунистам скрывать чего-то перед народом или бояться, например. Наша коммунистическая партия, она приказывает нам не бояться, а совсем даже наоборот, чтобы без никаких недочетов, какие могут быть в глубине поставленных задач, а кто не работает, тот не ошибается”. Говорил, гово-

рил, и про критику, и про самокритику, и про все сказал, а про Киселёва, жулик, забыл.

После него Егор Михалыч, директор ресторана... Этот, конечно, первым делом про Дугласа: - "Разве ж это, - говорит, - выход продукции в настоящий момент? Вот я Дугласа кормил, так это натуральный был выход продукции, а сейчас одно издевательство под маринадом. Как я могу, Эдуард Фокич, на сегодняшний день ваших иностранцев, чтоб довольны, когда у меня в первую очередь футболисты? Я, предположим, интуристов недокормлю, так это брызги от шампанского, а "Динамке" бифстрогана недодам, меня Махмуд Рахимович самого на гриль отправит, потому как его команда, он за нее крупный спор держит с соседними областями". Тоже: молол, молол, а про Киселёва ни сном ни духом, вроде такого даже и на собрании нету.

Одна только Рева Люциевна, татарочка наша, про него вспомнила, какой он хороший переводчик, - интуристы на него, мол, не нарадуются, и всегда его вспоминают, когда пишут: "Спасибо мистеру Киселёву, полную картинку теперь имеем о вашей стране"... Быструхин вскочил и на весь банкетный зал: - "Знаем, - кричит, - какие картинки! За такие картинки раньше каналы рыть посылали!"

Стой, смекаю, не в американке, значит, дело; американка сбоку припёку, совсем даже ни при чем, просто ручка от чайника, есть за что ухватиться. Не особо давно слышать было краем уха, будто рассказывает Киселёв интуристам про вечный огонь при солдатских могилах в парке, что могилы, вроде того, устроены для красоты, а на деле никаких костей в них нету и фамилии наобум-лазаря, а солдаты наши природные, что в здешнем госпитале в войну от ран умирали, как были на пустыре закопаны, так и по сей день там, бурьян растёт, оправляются на них, бесфамильных, потому как теперь уже неизвестно, где кто лежит. Я еще тогда сказал: - "Не может того быть, чтоб он такое иностранцам открыл, у него и образование высшее". Правда-то, оно, может, и правда, раз никто не говорит, - клевету, мол, Киселёв пропагандирует, только за такую правду у нас и под суд загреметь не диво. На том, видать, и погорел. Вот Эдуарда Фокича взять, этот не погорит, для Фокича надо всю советскую власть кверху жопой поставить, и то навряд его достанешь, новый тип-деятель, а Киселёв... Ну, добрал я своим умом, что придумали, в общем, сделать ему дым без огня и прилепили понарошку приезжую американку...

Закончили выступать, Быструхин говорит: - "Есть мнение исключить Киселёва из партии за всенародный позор и за

разврат его морального образа. Кто за это дело, прошу поднять руки". Никто не подымает, сидят все, в зале тихо, лишь аппараты щелкают слушательные, - их старший лейтенант Гришечкин как установил, так они по очереди и переключаются. Посидели, поскучали. Мотьяка Расторгуева первая с места сорвалась: - "За что исключать? - кричит. - За такое исключать, так всех подряд надоть, а тебя, Быструхин, раньше других. На вид ему, и то через край". Полина кастелянша тоже на вид затребовала, остальные гудят: - "Правильно!"

Быструхину что делать? Даже Фокич, и тот руки не поднял. И поставили Киселёву на вид, а это совсем пустяки, все одно, что по ночному времени пальцем погрозить, - сукин, мол, кот, такой-разэтакий, твою дивизию мать! - и все. Мы подумали: - "Ну, конец", - и завозились вставать, но Быструхин сказал, что еще не конец и что есть у него письмо американскому посольству, которое в Москве, и он его нам сейчас зачитает на голосование. А как мы не каждый день американскому посольству письма пишем, то решили послушать и сели. Стал он читать, а там чего только нет: и Вьетнам, и разрядка, и мирное небо родины, и Леониду Ильичу спасибо, и международное положение, и все шло у нас - лучше не надо, пока американка эта не приезжала, а как приехала, пошло все насмарку, потому что полезла, как ее в разведке обучали, не в свои внутренние дела, а у нас, вроде того, нашелся один слабохарактерный, поддался на уговоры, но потом опомнился и честно признался, а его за это строго наказали, и понес, и понес, с большака по кочкам, что было, чего не было. Прочитал, а Эдуард Фокич говорит: - "Проект хороший, но слабоват, надо в редакцию отдать насчет поправки ошибок. Деловая бумага, - говорит, - это деловая бумага, а не газета, и все должно в ней по делу без никаких "да здравствует". И Леонида Ильича тоже убрать; не всякому, - говорит, - кабаку царёво имя. Мы его, конечно, любим, как один, пусть никто ничего не подумает, но американцы такую нашу любовь не поймут, только посмеются да скажут, что мы несерьезные люди и нам веры нет". На том и порешили: письмо красиво переписать и отправить.

Я как обрадовался, что Володе баловство даром обошлось, встал и говорю: - "Имею кой-чего добавить тихим сощещательным своим голосом. Одного мы, значит, наказали, а другая, выходит, гуляй себе, - так получается? Это неправильно. Нужно отписать, чтоб ее там, в Америке, нашли и по месту работы коллективно пропесочили, - пускай помнит

чужая кошка нашу сметану". Посмеялись, конечно, и добавили, что "наш ударный коллектив коммунистического труда требует единовластно эту гражданку разыскать по месту жительства и привлечь к ответственности за похождения в нашей стране". Ну, голоснули.

Закончили собрание, подходит Киселёв ко мне, говорит: - "Чего ты, Куприяныч, до белых волос дожился глупость свою показывать, - кто тебя просил?" "Володийка, - говорю, - я ж за тебя душой-бородой, как лучше хотел. Да ты не дрейфы! Ничего ей там, в Америке, не сделается, а нам с тобой жить хлебосольно, план переполнять, - я ж теперь парте-е-ейнай!" Посмотрел он на меня, как примерно, я на поляков смотрю, ничего не сказал, отвернулся да прочь пошел.

А Эдуард Фокич каков? Хитрый он, ваш спрос, хитрей всех будет, тип-деятель, и хитрость у него партийная на все будущие времена.

## VII. Комиссия

Обычно, пережив неприятность, человек облегченно вздыхает и думает, что все плохое позади, а хорошее впереди, и совсем не предполагает, что его беды только начались, а он глубоко ошибся, приняв начало за конец. Таких называют оптимистами, и Киселёв Володя был из их числа. Он ничем решительно не отличался от большинства сограждан и, найдя на тротуаре гривенник, шарил по привычке глазами в поисках рубля. Разве мог он представить, что решение партийного собрания ничего не стоит и все будет зависеть, как на него посмотрят там, где все обо всех известно и ошибки исключены. Хотя он и тут не потерял присутствие духа, скорей обрадовался, когда ему сообщили, что им будет заниматься специальная комиссия, в которой сплошь одни старые партийцы, или "перспены", как в обкоме называли персональных пенсионеров. "Чего придумали! - скажут они. - Вроде того, что парень с девкой не балуй, ежели из дальнего села. Иди, - скажут, - Киселёв, до дому и живи, не боись. Геройства за тобой не числится, но и охулки класть на тебя не за что". И опять справедливость вострожествует.

Он ходил по коридору и ждал. Его позвали, как на прием к врачу: - "Следующий!" Но сперва из кабинета, где заседала парткомиссия, вышел мужчина. По виду это был настоящий Геркулес, но до того измученный подвигами, что у него не осталось больше сил, - от этого он беспомощно пришлепывал губами, отирал платком пот и пошатывался.

Он диковато взглянул на Киселёва, выдохнувшись до дна, сказал: - "Концы, брат!" - и двинулся на выход, цепляясь ногой за ногу. Киселёв проводил его глазами и вошел. И разом всех увидел. Их было трое, и они на него смотрели, как на телевизор, обещающий новую программу. Он тоже их разглядывал не без любопытства и о каждом успел подумать что-нибудь, а фамилии были ему известны еще до того.

"Вот, - думал он, - главный посередке, в усах, председатель, товарищ Воздухов. Галифе, хромовые сапоги, ноги кривые из-под стола лезут. Много ездил верхом. Конармеец. Кавалерист. Конная милиция. Победитель басмачей. Эх, его водила молодость в сабельный поход! А теперь, на старости, неперменный член всяких комиссий в светлое время суток, а по ночам воспоминания пишет - "Полжизни в седле". Первая часть "Эгей, по коням!" где-то будто бы уже печаталась. Борец за становление и восстановление. Перспен, само собой.

А вот, край стола, другой, постарше, - Молибога фамилия. Все время сидит и отдувается, будто камни ворочал. Лысый, толстый, злой. Хватил, верно, лиха, что в германскую, что в гражданскую. Пострадал, помучился, по морям, по волнам. Вмерзал в кронштадтский лед неоднократно. Матюган, небось, каких днем с фонарем поискать. Но прошлые заслуги своего требуют. Определенно, перспен.

Третья - бабушка старенькая, Агроломова. Член с тридцатых годов, как на лбу написано. Не иначе, Днепрогэс строила. Или Магнитогорск, - какая ей разница? А то, чего доброго, и Комсомольск не обошла, - от такой все может статься. А время-то летит... Совсем как будто вчера, сама еще в красной косыночке да на физкультуру легкой ногой, а сейчас, гляди, внучат пестует да на деда, если живой, рычит любя, да общественные нагрузки, да партийные поручения, а за партией служба, как за Богом молитва. Тоже, верняк-дело, перспенка".

Наглядевшись друг на друга, обе стороны приступили к обязанностям. Председатель зачитал краткие сведения о Киселёве Владимире Георгиевиче, женатом, русском, члене партии, образование высшее, двое детей. Потом спросил: - "Аморальное разложение?" "Да", - ответил Киселёв скромно. Может, лучше бы ответить "так точно", если бы кавалерист был сердит, но у него топорщились задорно усы, шея дергалась, бойко подмигивал глаз, словом, Володя на него понадеялся, потому и ответ такой получился естественный - "Да", - и все. А он до этого провел целый час в

ожидании вызова, и у него нудно ныли ноги. Заметив перед столом пустой стул, он уселся на него, положил руки на колени и облегченно вздохнул.

Воздухов: Ты это, браток, брось. У нас, понимаешь ты, стоять положено.

Агроломова: У тещи на именинах посидишь.

Молибога: Совершенно верно.

Киселёв: (забыв, где он находится) А стул для кого? На что он тут, если сидеть нельзя?

(Лица членов комиссии выражают недоумение и досаду, как будто все они только что больно позанозили пальцы, а он их спрашивает, который час.)

Воздухов: А на то, что по-разному у нас бывает, понимаешь ты. У того, понимаешь, сердце не выдержит, другой еще там чего такого, третий заплачет или бессознательно в обморок упадет. Один тут, понимаешь, был до тебя, так плакал.

Агроломова: Москва слезам не верит.

Молибога: Ни в коем разе.

Воздухов: Вот он и стоит, понимаешь. Для порядка стул нужен, вот для чего. Понял?

Агроломова: Такой поймет!

Молибога: (Полнота и одышка мешают ему говорить, и он больше трех-четырёх слов сряду не произносит.) Поймет (вдох-выдох). Не может (вдох-выдох) научим (вдох-выдох), не хочет (вдох-выдох) заставим.

(Члены комиссии переглядываются и строго смотрят на Киселёва.)

Воздухов: Ну, давай.

Киселёв: Чего давать?

Воздухов: Как это "чего"? Как разлагался, понимаешь. Чего натворил, того и давай. Рассказывай, в общем.

Киселёв: Чего рассказывать? Ничего не натворил, ничего такого не было...

Агроломова: (перебивает) Филаткой прикидывается.

Молибога: Сссамарский!

Воздухов: Слушай, ты нам тут, понимаешь, мозги не положи. И вопросов не задавай: чего? зачем? Твой номер шестнадцать. Не для того тебя сюда вызвали, понимаешь ты. Нам все известно. Тут в документах (листает для проформы дело, кашляет), между прочим, сказано за тебя: интимное разложение, понимаешь... недостойное поведение и прочее. А ты нам ответь: было такое?

Киселёв: Было.

Воздухов: Вот видишь! А то сразу: тети-мети, ничего не

знаю. Зна-а-аешь, браток! (Грозит пальцем) Давай теперь признавайся, как ты это дело, понимаешь, устроил. С подробностями, чин-чином, по-честному. Тут все свои, чужих нету.

Агроломова: Честное признание - меньше наказание.

Молибога: Угу.

Воздухов: ...Все, как есть. Как ты ее уговорил. Или, может, она к тебе приставала, - тоже бывает. Может, ты ей за это пообещал чего. Планы, понимаешь, доку́менты какие. Если обещал, так и скажи: "да, обещал". И ничего тебе за это, понимаешь, не будет. Самому только легче будет.

Агроломова: (с помолодевшим лицом бухает в колокол, не глядя в святцы) А все одинаковые. Все-э! Чего девушке не наобещают, лишь бы своего добиться. А после бросают и хвост набок: не встречался, не сношался и здравствования не хочу. Гули-гугули!

Молибога: (раздумчиво) Конечное дело ( - ), жизнь свое берет.

Воздухов: (бабке) Мы, товарищ Агроломова, сейчас не про то, а про другое. (Киселёву) Ну, что скажешь, браток?

Киселёв: Нет, не обещал.

Воздухов: А если подумать?

Киселёв: Ничего не обещал. Честно.

Воздухов: Ну, честность твоя нам, прямо сказать, ни к чему. (Вздыхает) Ладно. Американка, значит?

Киселёв: Американка.

Воздухов: (разводит руками) Ты ж понимаешь! Тебе что ж, своих не хватало, что на чужих кинулся, а? Для проверки, что ли, как у них там, за границей, насчет туда-сюда и обратно? Или жена, понимаешь, надоела? Или как?

Агроломова: (кровно обидевшись) Свой дом гумном воюет.

Молибога: Чужая сладче! (Колышется от смеха и натужно дышит.)

Воздухов: На каком языке обращались?

Киселёв: По-английски.

Воздухов: Погоди. Она ж американка, - сам говоришь. Как же так? Опять ты, понимаешь, чего-то не того... Путаеться, крутишь-вертишь... А договорились, вроде...

Киселёв: (скороговоркой) Все американцы по-английски говорят.

Воздухов: (не слушает и принципиально продолжает гнуть свою линию) Договорились, говорю, вроде, по-честному. И человек ты, понимаешь, из себя на вид серьезный, а сам байки нам тут... Англия по-каковски говорит?

Киселёв: По-английски.

Воздухов: Во! А Америка?

Киселёв: Тоже.

Воздухов: (громко ликует, подловив Киселёва на вранье) Вот и сбрежал! Америка - другое государство. Франция по-французски. Япония по-японски. Китай по-китайски...

Киселёв: (весьма бесцеремонно) Австрия по-немецки и Германия по-немецки...

Воздухов: Сказал, - Австрия! Тамбовская область, знаешь? Вот тебе и вся Австрия. А Сэшеа, - это, браток, не шутка, понимаешь ты... Сверх, - как это...-держава, во! Так что не брешу.

Киселёв: Да мне какой интерес обманывать? Спросите хоть у кого.

Воздухов: Спросим, не бойсь. Все проверим, что ты нам тут... Значит, говоришь, по-английски?

Киселёв: Да.

Воздухов: (комиссии) Видал! Вот же народ; языка своего, понимаешь, не имеют, а туда же!

Молибога: Империлисты ( - ). Чего с них?

Воздухов: (Киселёву) Ты б им сказал этим интуристам, пускай для начала калякать, понимаешь ты, научатся по-своему, а потом уже против нас лезут. А то у нас, понимаешь, живо-два по шапке можно схлопотать. Мы всех побеждали. Ты им передай: кто к нам придет, тот и погибнет.

Молибога: Эт-да ( - ). Эт мы могём.

(Тема закрыта. Все молчат. Длительная пауза.)

Воздухов: Где встречались?

Киселёв: В гостинице. В номере.

Агроломова: В гостиницах этих вечно разврат. И раньше так было. Чего их держат, не позакрывают?

Молибога: Безусловно.

Воздухов: Так-так. Значит, в номере, говоришь. В каком? Небось, "люкус", понимаешь ты?

Киселёв: Нет. Простой.

Воздухов: Ну, и об чем же ты с ней, интересно, беседывал?

Киселёв: Разное. Политика, литература...

Воздухов: Чего? Это кто какие книжки читал, так что ли?

Киселёв: Ну да.

Воздухов: Нуда хуже коросты. Ты смотри на него! Я ему про Дуньку, а он про пряники. Вот же голова, два уха! Может, ты ей еще про разоружение? Ну и жулик ты, браток!

Агроломова: Надо же!

Молибога: (пыхтит, как тесто в дёжке) Мир ( - ) во всем мире.

Воздухов: А что? Внедрил ей, понимаешь, эт-самое... дух Бандунга и - на боковую, а?

(Комиссия смеется дружно и с пониманием чего-то неприличного. Впрочем, веселье их без притворства, так как они, действительно, считают, что мужчине наедине с женщиной разговаривать о литературе или о политике, это же - смеху не оберешься.)

Воздухов: (вытирает, пересмеявшись, глаза) Ну и ну! Выходит, ничего ты ей, понимаешь, не обещал, а она первая напросилась, вроде как награда тебе за красоту.

Агроломова: (легко переходя от радости к зависти) Да кому он, пёс паршивый, нужен, - одна бы я с ним на белом свете осталась! Красавец!

Молибога: (насупившись) Я б с ним ( - ) в разведку не пошел.

(Серьезность момента нарушена, и положение меняется. Теперь смеется Киселёв. Вряд ли, конечно, его соблазняет мысль остаться с бабкой, как Адам с Евой, полагая начало роду человеческому. Скорей всего, ему представляется, как они с дедом идут через линию фронта в тыл врага за языком. У деда гипертония, астма, геморрой, диабет, подагра, склероз, ревматизм, грыжа и радикулит. Он часто останавливается передохнуть, и они никак не могут до передовой добраться. Кроме того, старик всюду пускает газы, порой очень громко, что демаскирует их и компрометирует секретность задания. Но делать нечего; дед - командир разведгруппы и каждое его слово - приказ. Киселёв, помимо оружия, несет также кресло-кровать, одеяло, термос, клизму, грелку, аптечку и несколько перемен исподнего белья...)

Воздухов: (неодобрительно) Смешливый!

Агроломова: (с угрозой в голосе) На погосте посмеется. Молибога: Поплачет еще.

(Они очень рассержены. Будучи людьми бескультурными и малограмотными, но властными, члены комиссии терпеть не могут ни ума, ни образования, ни начитанности и не упускают случая показать, как мало стоят у нас знания и духовность по сравнению с тупой, темной партийностью.)

Воздухов: Иностраный язык, понимаешь ты, выучил! Высшее образование у него! У нас, к примеру, никакого нету образования, ни высшего, ни низшего, а мы над тобой поставлены учить вас, молодежь. Сюда шел, втихаря думал: я им, понимаешь, трали-вали, а они, вахлаки, не разберутся. Разберёмся! Разберё-о-омся, браток! Похлеще тебя были и то разбирались. Нам твоих институтов не надо, мы советскую власть своим горбом подпирали, - понял?

Киселёв: Понял.

Молибога: Стрелять таких...

Воздухов: Арапа заправил! Будто мы, понимаешь, дети малые, не соображаем, откуда чего. Такие вещи задаром не делают, - любой скажет. Так тебе и поверили.

Киселёв: (в сердцах) Ну и не верьте.

Воздухов: А ты думал! И не обязаны... Женатый?

Киселёв: (рассматривая портрет Леонида Ильича) У вас там написано.

Воздухов: Слушай, написано, понимаешь, не написано, - не тебе читать. Отвечай, когда спрашивают.

Киселёв: На развод подал.

Воздухов: Дети есть?

Киселёв: Двое.

Воздухов: Жена согласна?

Киселёв: Ей все равно.

Агроломова: (не разобравшись) Видать, любит тебя, подлеца, хоть ты и не стоишь того.

Воздухов: Разводишься через чего? Причина какая? Что она - пьет? гуляет? или как?

Киселёв: Просто не люблю.

Воздухов: (подняв перст, обращается к членам комиссии) О! - видал? Он не любит. Не любит он, ты ж понимаешь! Во гусь, дери его нáтрое. (Киселёву) А кто любит? Кто любит жену? Я? Он? Другой? А кто? Да найди ты мне, понимаешь, хоть одного, я ему знаешь что скажу при свидетелях? Жена для этого, что ли? Молчишь? То-то! Жена, брак, для другого дадена. Это, браток, вроде как камень: не-сешь - надрываешься, а бросить лень, - во! А ты... Эт не причина. Давай, понимаешь, дело толкуй. А то заладил "не нравится"...

Агроломова: (явно сдуру) Сердцу не прикажешь.

Молибога: Мало чего ( - ) не ндравится.

Воздухов: Дети, вон, у тебя. Взрослый человек, понимаешь. Член ке-пе-эс-эс. С иностранкой спутался. Не позор, скажешь? Позор! Измена родины. Предатель ты, вот кто.

Агроломова: Ну, со своей бы, еще простительно. А то - с чужой! Страм слушать! Стра-ам!

Молибога: Через таких ( - ) Чапаев погиб.

(У Киселёва провисает нижняя челюсть. Он совершенно подавлен тяжестью обвинений и силится понять, каким образом он, родившись на тринадцать лет позже помянутого события, может быть хотя бы косвенно повинен в гибели легендарного Василь-Иваныча.)

Воздухов: (комиссии) Запросы к нему есть? Агроломова...

Агроломова: Какеи к нему запросы? И так видать молодчика.

Молибога: Стой! ( - ) Есть запрос. ( - ) Это я ( - ) председатель был в суде ( - ) тоже один такой ( - ) не люблю, говорит, жену ( - ) желаю разойтись ( - ) давай, судья, развод. ( - ) А судила эта ( - ) Губанова ( - ) пятый раз выбирают ( - ) дулю ему ( - ) под шмыгало. ( - ) Говорит ( - ) мужа свово не люблю ( - ) може, мне тоже ( - ) того ( - ) разойтись?

Воздухов: Эта скажет!

Агроломова: Да уж! Чуть что, сажает мужика родного на пятнадцать суток, - разве ж это дело?

Воздухов: Боевая... (к Молибога) Ну и? Развели?

Молибога: Куды! ( - ) Живи, говорит, покеда... ( - ) Суд вас не собирал ( - ) разводить не будет ( - ) опчее согласие ( - ) советская семья ( - ) святое дело ( - ) коммунизм ( - ) ходи до хаты, говорит. ( - ) Он ( - ) опосля того ( - ) повесился.

Агроломова: (всплескивает руками) Батюшки!

Воздухов: Ты про музыканта, Молибога?

Молибога: Угу.

Воздухов: Знаю, разбирали. Он там такое, понимаешь, в партбилете написал, - хоть стой, хоть падай. "Кладу, - говорит, - с прибором на всю вашу артель", - ты ж понимаешь. И так дале. Ферт моржовый! Ну и вешайся, раз приспичило, а партия при чем? Она ж тебя, врага, на баяне выучила, специальность дала, понимаешь ты. А ей заместо спасибо... Во, гад мстительный! Откуда берутся такие?

Агроломова: А вот. (Кивает на Киселёва) Тоже не лучше.

Воздухов: (спокойно, даже как бы нехотя, поворачивается к Киселёву) Значит, понимаешь, развестись мечтал, а с американкой сойтись, да?

Киселёв: Я об этом не думал.

Воздухов: (отмечает рукой киселёвские возражения) Брось! Не думал он! Сперва не думал, потом подумал. Эх ты, на деньги позарился. Доллары тебе спать не дают.

Агроломова: М-мм! Сама-то богачка, рассказывают.

Молибога: А то как же! ( - ) Там усе ( - ) гарно живут.

Воздухов: (Киселёву) А работает где?

Киселёв: Агент по продаже домов.

(Всеобщий ужас. Председатель вскакивает, остальные цепенеют сидя.)

Воздухов: Агент? И ты знал? И пошел, не побоялся? Как же ты...

Киселёв: (кричит) Домами, говорю, торгует.

Воздухов: Какими ж домами, ежели агент? (Председатель беспомощен и почти жалок. Часто моргая, он с упованием смотрит на Киселёва.)

Киселёв: Готовыми, какими ж еще? Стены, крыша, пол, потолок... сначала строят, потом продают. Плати третью часть, заходи, живи, остальные потом...

Воздухов: (возмущается, едва приходит в себя) Как это "заходи, живи"... Сразу, что ли? Без очереди?

Молибога: Брехня. ( - ) Не верь.

Агроломова: (поджав губы) Не бывает так.

Киселёв: Это у нас не бывает, а у них бывает.

Воздухов: (осторожно и не без любопытства) Это что ж, навроде кооператив?

Молибога: Ну! ( - ) Кооператив ( - ) два года ждать ( - ) три в очереди ( - ) сдохнешь раньше.

Воздухов: А что, ежели не кооператив? Кредит, что ли, понимаешь? (Потеряв терпение, обращается к Киселёву) Ты будешь отвечать или нет?

Киселёв: Вроде того. Кредит.

Воздухов: Ишь ты! А получает она сколько?

Киселёв: Не знаю.

Воздухов: Так-таки не знаешь?

Киселёв: Нет.

Воздухов: А в партии она в какой?

Киселёв: Ни в какой. Беспартийная.

Воздухов: (усмехается) Ну, нашел подругу жизни... Машина у ей есть?

Киселёв: Не спрашивал. Может, и есть. Там это не проблема.

Воздухов: А родители кто?

Киселёв: (теряет выдержку, нервничает) А я знаю? Чего пристали? Вам что, делать нечего? Будто я спрашивал: сколько? да как? да почему? Совсем про это разговора не было.

Молибога: (председателю) Чего ты с ним ( - ) нянчишься?

Воздухов: Ты ж видишь, какой упёртый? Хоть глаза ему заплюй, он свое: фу-ли нам пули, нас снаряды не берут. Смелый больно.

Молибога: Ну и дай ( - ) на усю катушку. ( - ) Права у нас есть?

Воздухов: Правов хватает. Аж до исключения. Можно даже под суд, - было такое мнение тоже.

Агроломова: Бычок-третьячок. О как землю гребёт выше себя.

Воздухов: (Киселёву) Признаваться будешь? Или нам с тобой до петухов гуторить? Знаешь, чего тут до тебя было?

Киселёв: Чего?

Воздухов: (передразнивает в тон) Того! Корова бодалась - рога поотшибали. Так что полегче, милоч. Скажи лучше, - правда, миллионерка? Доллáров у ей много?

Киселёв: Не знаю. Не спрашивал. Больно надо.

Воздухов: (вне себя от возмущения) Так чего ж ты, сукин сын, на ее полез, раз тебе ничего не надо!? Ну?

(Киселёв молчит. Очень напряженный момент.)

Воздухов: (сбавив на пол-октавы) Ну, так как же? Будем, понимаешь, признаваться или, понимаешь, твои фигли-мигли слушать? Просто так, за хорошие слова ни одна не даст. А за что? Надо разобраться, понимаешь ты. Вот ты говоришь, ничего ей не обещал. Пускай по-твоему. А может, она у тебя чего просила? Ты вспомни.

Киселёв: Не помню.

Воздухов: Эт как, - “не помню”?

Агроломова: Память девичья.

Воздухов: Ты что, пьяный был?

Киселёв: Нет... (хватается за голову, вспоминает) То есть, да. Немного. Самую малость. Для смелости.

Воздухов: Чего пил?

Киселёв: Так, ерунда. Шел к ней... выпил... гм!.. бутылку водки. Потом... коньяку грамм триста. Ну... пару кружек пива, конечно...

(Члены комиссии переглядываются, кивают друг другу со значением и впервые смотря на Киселёва доверительно и сочувственно: наконец-то он говорит правду. В самом деле, какой мужчина пойдет к женщине, не напившись прежде до беспамьятства? Никакой. Да его и женщина к себе трезвым не пустит. То ли дело во хмелю: никто ничего не смыслит, никто ни за что не отвечает. Историческая причина: если “веселие Руси есть пити”, то и по суду тем же можно оправдаться: - “Пьяный был, ничего не помню”.)

Воздухов: Так-так. Нафуюжился, в общем.

Агроломова: (председателю) Выражался б ты, Воздухов...

Воздухов: (не слыша упрека) А у ей?

Киселёв: Тоже.

Воздухов: Ну?

Киселёв: Виски. Джин. Черри-бренди.

Воздухов: Ишь ты! Все заграничное. А водку?

Киселёв: И водку. С собой захватил поллитра. Специально для нее.

Воздухов: (с самодовольным видом) Так и знал. Они без этого не могут. Что хочешь отдадут, только дай нашей водки. Уважают, черти крученые!.. Так бы сразу и сказал, понимаешь. Теперь все ясно. А дальше?

Киселёв: Дальше неинтересно.

Молибога: Застеснялся (-) штаны скинуть.

Воздухов: (внушительно) Нам, браток, все интересно. Всё-о! Для того мы тут, понимаешь ты, посажены, чтоб все твои шуры-муры на чистую воду без обмана...

Агроломова: Как делать, так интересно было, а как признаться, так неинтересно. (Чувствуется, что скрытность Киселёва очень ее затронула.) Кататься-то любишь, а кто санки будет возить?

Молибога: Пушкин.

(Отворотив лицо вбок и уткнувшись взглядом в угол, Киселёв рассказывает. Слушают его с большим вниманием. Порнографические мечтания овладевают партийными массами. Бабка, вытерев заеда, целомудренно потупилась. Толстяк раскрыл рот, вывалив язык, а ладонь приладил рупором к уху. Председатель жуёт ус и ёрзает, как на угольях. В глазах у него одобрение и готовые сорваться слова: "Молодец! И я бы так!" Никто рассказчика не перебивает. Партийной комиссии больше нет; ее рамолированные\* представители перевоплотились в иное физическое состояние и сменили настоящее быстротекущее время на "плюсквамперфект", что значит, давным-давно предпрошедшее, когда они были молоды, в силах и, подобно всему человечеству, любили взбляднуть. Но вот Киселёв заканчивает рассказ, и члены комиссии словно просыпаются, - неохотно, медленно, вразминку, со старческим побряхтыванием.)

Воздухов: (мечтательно) Да-а! Было время, значит... В общем, того самого... Делишки насчет задвижки... Понятно... (комиссии) Так чего с ним теперь делать будем?

Агроломова: Мррр-мррр-мррр...

Молибога: Кха!

Воздухов: (как бы делясь соображениями) Одно дело, конечно, без наказания нельзя. А другое, - за что наказывать, когда ничего особого. Пьяный, он на то, понимаешь, и пьяный, чтоб не понимать. Такая грамматика хоть с кем... Ну, допустим, выпил... Ну, сходил, скажем, к этой... Делов! Еще спасибо, что окна целые. Спьяну чего не натворишь.

Агроломова: (назидательно и с большим знанием дела) Кто пьян да умен, два угодя в нем.

---

\* *Ratolli* (фр.) - старчески расслабленный. - Ред.

Молибога: Не за то вора бьют, ( - ) что крал, ( - ) а за то, ( - ) что попался.

Воздухов: Оно, конечно, подпускать его к иностранным туристкам, особенно к молодым, уже нельзя. Он их теперь там всех подряд, ни одной не пропустит.

Агроломова: Да уж! Пусты козла в огород...

Молибога: Специалист!

Воздухов: Они народ какой? Самый, понимаешь ты, на это дело падкий. Им только покажи, они враз, как мухи на мед полезут. Знают, что у наших не сорвется... (Бабка, соглашаясь, кивает; толстяк тихо ржет.) Мы, когда в Германии стояли, насмотрелись. Веришь, Молибога, отбою не было. Только пронюхают, что рус-Иван и - нарасхват, чуть не до драки. В общем, сколько ни дай, Европа страна большая, на всех не хватит. Хоть немки, хоть мадьярки, хоть кто. В штаб приходили просить, до самого Жукова доходили: обеспечить - и все; завоевал, значит, обязан. Концерт по заявкам! У них, понимаешь ты, по закону полагается день свободной любви. Раз в неделю. По пятницам. Специально для семейных. Муж - себе, жена - себе. На другой день сойдутся, рассказывают. Такая, понимаешь, мерифлютика. Вроде, как обмен опытом.

Агроломова: (сплюнув конфузливо) Тьфу! Стидище-то, Господи!

Молибога: (не переставая ржать) Стидно, да сытно!

Воздухов: У них там чего ни бывает! А то еще и так... Вот ты, Молибога, что сделал бы?... Приходит к тебе под окна, понимаешь, прохожий с улицы, штаны снял и в клумбу тебе нахезал, а ты аккурат обедаешь, в одной руке хлеб, в другой ложка, и все это внимательно наблюдаешь. Вот и скажи, чего б ты сделал в таком, понимаешь, разе?

Молибога: Мордой навтыкал, ( - ) вот чего.

Воздухов: (смеется и жестикулирует с чувством собственного превосходства) Шараш-монтаж!.. Эх, темнота наша!.. Мордой он, понимаешь ты... Это по-ихнему бескультурность называется. А у них выходит хозяин и дает тому, в клумбе который кучу наложил, дает, понимаешь ты, пачку сигарет, коробку спичек и говорит: - "Спасибо тебе, мил человек, что землю мне удобряешь, приходи еще". И что ты думал? - приходят. По большей части, молодежь. Особо, если девка в доме симпатная, - познакомиться там или чего другого. Вот так, понял? по-культурному как надо.

(Агроломова заинтересованно слушает, Молибога смеется, очень довольный. Наверное, жизнь за границей чем-то ему все-таки нравится, потому что он весь обмяк и по-добрел.)

Воздухов: Вот и с этим, понимаешь, героем (смотрит на Киселёва), вот и с ним тоже, вроде бы, ничего, понимаешь, такого, вроде, ты да я и шито-крыто. Но! Тут бери выше, - до самой доходит до политики. А ежели этот сукин кот дитё ей, к примеру, организовал, этой американке, тогда чего? Тяп-ляп, никому не известно. А ежели она, положим, домой вернется и жалобу в прессу подаст через телевизор? Да ихняя пресса, ядрёна лапоть, только того и ждет, как нас на весь белый свет опозорить: такую мораль наведут, понимаешь, о-го-го! и вся разрядка, какая была, в задницу полетела. А ежели она, понимаешь, анонимку в цека догадается на иностранном языке? "У вас, - скажет, - как у нас, и даже еще хуже, намахивали мы через левое плечо такой социализм" - и так дале. Да вы что, товарищи! Не соображаете, чем пахнет? Мировой конфликт! Международная политика! До военного действия свободно может дойти, - да-а! Ну, а ежели она, будем говорить, на алименты подаст через всемирный трибунал, а этому жеребцу орловскому платить придется? По министерству иностранных дел. В долларах.

Агроломова: Пряма-таки, в долларах!

Воздухов: А как же! Валюта, понимаешь. На вес золота.

Молибога: Нехай платит. ( - ) Не твои. ( - ) Тебе-то чего?

Воздухов: Я ж сказал: прэстиж. Он их где возьмет, доллары? Что он их, понимаешь, куёт-мелет, что ли? Значит, из золотого запаса страны, за который мы что ни год хлеб у них покупаем. А ежели каждый бабник начнет еще и алименты за границу платить, да в долларах, это что ж получится? Это сколько ж, понимаешь ты, дипломатов потребуются одни переводы разность, - знаешь? Мильён человек.

Молибога: Нехай бы рублями.

Воздухов: Тоже скажешь! Думаешь, там дураки. Не-эт, браток, они там кой-чего кумекают. Кому они нужны от сырости рубли твои? Ни в сику, ни в Красную Армию. В "Березке" видал? - птичьего молока нет. Что хошь, то бери: хоть "Волгу", хоть полтавскую колбасу, хоть жену молодую. Гони, понимаешь, доллары и кушай на здоровье. А с рублями, давай, на базар топай, там тебя только и ждут...

Агроломова: Черт-те что делается! Мясо до шести рублей, не подступишься...

О Киселёве забыли. Да он и сам о себе забыл, слушая стариковские пересуды и не находя смысла в происходящем. Он глянул на стул рядом с собой, куда так и не присел, и усмехнулся.

- Опять скалишься, - недовольно заметил председатель. - Никакой в тебе, браток, сознательности, что тебя ждет, понимаешь. Стоишь, подсмеиваешься тут...

- Я ж говорил ( - ) морду набить, - одышливо предложил бывший моряк, а бабка, построившая Магнитогорск, строго вразумила:

- Тебе, дураку, добра хотят. Ты нам должен "спасибо" сказать.

- Спасибо, - сказал Киселёв.

- То-то! - шевельнул усами кавалерист. - Ты теперь жми прямым ходом в свою гоп-контору, - так, мол, и так, прошу, понимаешь, с переходом на другую работу и так дале. Заявление, в общем. А мы проверим. Добром не подашь, статью на увольнение применим, понял? А по статье тебя не то, что на работу, в тюрьму не возьмут. Намаешься. А пока строгач тебе.

- С предупреждением, - сказала бабка.

- И с за ( - ) несением, - добавил толстяк.

- И можете быть свободные, - оскорбил его напоследок председатель вежливостью.

Заявление Киселёв подал сразу. На другой день местная газета опубликовала фельетон с гадким названием. Морщась со стыда, он прочитал самый невероятный о себе рассказ и понял, что теперь его из партии обязательно вышибут. От этой мысли он, было, сник, но вспомнил о перспенах из парткомиссии и тихо засмеялся, чтоб никто не услышал.

"Черт с ними, - подумал он, не вполне себе представляя свою завтрашнюю жизнь. - Черт с ними, пусть вышибают".

## VIII. Превращение Савла

**У**строиться на работу в комитет госбезопасности было непросто, хотя люди все же устраивались и на жизнь не обижались. Вообще-то дураков туда старались не брать, о чем ранее уже помянуто, но без них было никак, особенно на исполнительских должностях, и его взяли, загодя рассчитав, что ничего вредного он не натворит, ума не хватит, а выше себя и подавно не прыгнет. Да и опыт подсказывал, что глупость тоже дар Господень, если ее правильно понимать, а на толкового дурака десять умных не в зачёт, точно так же, как за одного исполнителя десять законодателей дают и не берут. - "Мало, - говорят, - надо прибавить".

В органы он попал по рекомендации, а проще сказать, по наводке и с приличной биографией: сирота, воспитанник детдома, закончил артиллерийское училище, старший лейтенант запаса, участник белофинской и великой отечественной, ранен-контужен-награжден, в плену не был, под судом и следствием не находился, и так до самого конца ни-

чего плохого, одно хорошее. Когда ему предложили, он первах обиделся, - за кого они его принимают? - но малость подумал и согласился; ничего не попишешь, гражданской специальности нет, семью завел, учиться поздно, а тут вдруг работенка не бей лежачего, шпионов ловить, и за звание платят, - дурак он, что ли, от добра отрезаться?

Воинская его специальность на новом месте не пригодилась, пришлось начинать стажером. Служил добросовестно, грудью не выдавался, газеты читал, в политике смыслил, общественную нагрузку нес безотказно, нареканий не имел, и уж вовсе не приходится говорить, состоял ли в партии, поскольку беспартийных в КГБ не принимали. Пока он стажировался, за ним, ясное дело, присматривали и проверяли, но проверки кончались самым похвальным образом записями в журнале: "Без замечаний", "Нарушений не отмечено", "Претензий нет", а то и короче: "Проверен" - и все. Дважды в год к маю и к ноябрю выходила стенгазета "На страже мира и труда", так о нем даже стихи сочиняли на предмет образцово-примерного отношения к делу:

Младой чекист, работай так,  
Как старший лейтенант Ахтак.

За год он мало-мало поднатаскался, и его откомандировали в Киев, где он еще два года постигал профессиональные тонкости контрразведчика, а по окончании курса был аттестован как один из. Очередное звание, благодарность председателя республиканского комитета и собственный участок работы не заставили себя ждать, едва он вернулся обратно, подкованный на все четыре. Ему дали местного прохиндея-стоматолога, за которым много чего водилось, а главное, спекуляция и скупка золота. С него давно не сводили глаз; Ахтак еще в органы не поступал, а прохиндей был уже под колпаком, - время от времени его то обыскивали, то задерживали, но дальше подозрений дело не двигалось. В милиции и в госбезопасности его называли по-разному: Мордатый, Мордуляк, Мордохлыст и все, что можно придумать от слова "морда". Капитан здорово удивился: - "Не взяли, значит, Мордатого?" - спросил. "Пока нет, - ответил замнач. - Рыбка плавает по дну, хер поймаете хоть одну". "Я его сделаю, - заверил Ахтак начальство, - вот увидите". Зам протянул руку, улыбнулся одной половиной лица и пожелал успеха.

Юка́ знал Мордатого. Это был корпулентный красивый таджик, о нем полгорода сплетничало, будто он при желании мог взять на зарплату промышленное производство душ этак на двести-триста. А он и сам, не скромничая и не

прибедняясь, еще пуще старался подогреть общественный треп, лишь бы удостоверить слухи о себе: да, он богат; да, выплатить зарплату работягам маслоэкспелерного завода\*, это ему на раз плюнуть; да, он смел, а кого ему бояться при его наличности? Тут он, конечно, брал на себя лишку, потому что рассчитывать на частный капитал в стране развитого социализма представлялось делом настолько же отчаянным, насколько и бесперспективным.

Невзирая на то, Мордатый, как человек принципа, демонстративно протестовал. Одна из его демонстраций бросалась в глаза бесшабашной наглостью и вызывала сдержанно-восторженную поддержку совграждан: - "Во дает!" А он действительно "давал". С недавних пор были разрешены для частной продажи легковые автомобили, но горе тому, кто их приобретал; таких выгоняли из партии за буржуазные замашки и отбирали автотранспорт в доход государства, а то и уголовное дело затевали, поставив процедуру с ног на голову: не следователь должен был доказать, что "лайба" приобретена на средства, добытые преступным и бессовестным образом, а подсудимый обязан был справками и живыми свидетелями убедить народный суд, что речь идет о его персональных сбережениях, заработанных ударным коммунистическим трудом. Последнее, как правило, мало кому удавалось и приводило частника к конфискации имущества и к жесткой посадке.

Выглядело все это нелепо и смешно: человек, способный взять на собственный баланс небольшой таксопарк, боялся купить машину для личного пользования. Видя такое дело, Мордатый договорился с городским парком, и его с утра до ночи без выходных обслуживали два таксомотора. Интересно было наблюдать, как он при хорошей погоде прогуливался или шел на работу, а бок о бок с ним двигались друг за дружкой две пустые "Победы". Конечно, не он первый, были и до него люди, ездившие в пяти каретах разом, но по нашим временам для подобной выходки, помимо капитала, нужен был либо очень влиятельный покровитель, либо заведомый прозаклад удалой забубенной головушки, потому как ничего третьего не предусматривалось.

Когда Юка вернулся с курсов, за приобретение автотранспорта к суду больше не привлекали, и Мордатый разжился новым "ЗИМом". Задание, каким начальство почтило

---

\* "Маслоэкспелерный завод" - англоязычный уродец от *gl. to expel*, что значит "выгонять, выталкивать, выжимать", короче говоря, этот завод - большая маслобойня, где жмут растительное масло из семян хлопчатника. - Б.К.

Ахтака, сослуживцы восприняли кто как: одни завидовали, что льготное перспективное дело отдали неопытному сотруднику, который без году неделю служит и обязательно дров наломает; другие поздравляли с успехом, словно Юка уже отловил Мордатого и вывалил на стол перемётную суму неопровержимых доказательств.

Пока Ахтак набирался в Киеве ума-разума, стоматолог не терял даром времени и не только транспортом обзавелся, но и авторитет снискал. Областная газета под рубрикой "Люди интересных профессий" периодически воздавала Мордатову должное, как выдающемуся умельцу по части искусственных челюстей, передних мостов и металлических коронок, после чего в ответственных партийных ртах сверкнули золотые зубы. Это, разумеется, ничего не обозначает, кроме очередности событий: сперва дифирамбы в газете, затем зубы во рту. Но обком и облсовет, чьим органом газета являлась, всего лишь первые по порядку номеров, а за ними вплотную шли госбезопасность и милиция, поэтому неслучайно в главных едальниках принудительных учреждений тоже блеснули резцы и кутние из неокисляющегося металла. Все обоюдно по уговору, - любовь за любовь, а за дарма и чирий на задницу не сядет.

План действий опергруппы под началом капитана Ахтака предусматривал задержание мордатого уголовника в самом недалеком будущем, а главным слагаемым успеха разумелся элемент внезапности. К большому прискорбию ставка на внезапность не сыграла. Юка и двое с ним прибыли на место, хозяин встретил их у ворот, досадливо отмахнулся от ордера, развел руками, сказал: - "Гость в дом - Бог в дом", - пожелал успеха и выдал аванс: - "Что найдете, то ваше". Он ни в чем не перечил, ненавязчиво сопровождая гебистов, показывая, где что, объяснял, откуда и зачем, в общем, был идеально параллелен и весьма способствовал проведению акции. При всем том он же оставался хозяином положения, тонко улавливал момент сил, был уверен в себе и абсолютно спокоен, чего не скажешь об Ахтаке с командой: все трое нервничали, привередничали, грубили, срывали сердце на чужом имуществе, у Юка было глупое обиженное лицо, - словом, полная безнадёга, одни ужимки да гримасы. Дантист скорбно им сочувствовал и умолял не расстраиваться, не последний, мол, раз, - "тут много было-перебыло и все зря, ничего не нашли, а что искать у честного гражданина? давайте лучше будем знакомы, для вас всегда, в любое время я ваш, я ваш", - и с тем выпроводил со двора.

Юка принял приглашение и повторил набег через два

дня, но захватить Мордатого врасплох опять не удалось. Теперь это был совсем другой человек: молчаливый, сумрачный, страдающий от зубной боли, - ни дать ни взять, "врачу, исцелися сам", и куда только подевалось его радушие. В этот раз уже без сопровождения они походили, порылись, пошарили и уехали с пустыми руками. Но третий визит, состоявшийся сразу после второго, был встречен шумно и перпендикулярно. У Мордатого сдали нервы, и он повел себя, как партизан в застенках гестапо: выкрикивал октябрьско-майские призывы, бранился на чем свет стоит и грозил подать в суд за порчу имущества, - вот что такое детская считалочка до трех для взрослых: раз - это раз, два - неоднократно, три - систематически. Вечером того же дня капитана вызвали к шефу с докладом.

Ну, доклад, это к слову сказать. Он, конечно, имел место, но докладывал полковник, а капитан переминался с ноги на ногу и слушал, как надо работать. О шефе рассказывали, что поначалу это был мировой, простецкий мужик, со всеми без чинов и званий, со всеми на "ты", всех приглашал заходить без дела не на анекдот, так на перекур, изобильно употреблял матерные вычурности, которые называл "экспроНтами" и позволял себе загибы даже перед коллективом, но не сплеча рубил, а тактично вначале спрашивал: - "Женщины здесь есть?" - хотя и без спросу было видно, что есть, и едва машинистки с техничками закрывали за собой дверь, он под веселый гомон мужской аудитории выдавал очередной "экспроНт". На партконференциях и официальных торжествах его непременно избирали в президиум, и он сидел за столом хоть и в первом ряду, но всегда с краю, чтобы в нужный момент сорваться и бежать туда, где без него и конь не валялся.

К шестидесяти он заметно посolidнел и стал похож не на чекиста, а на ректора гуманитарного вуза, сделался культурным и скучным, выступал перед народом, не прибегая к "экспроНтам", всем "выкал", никого не звал зайти просто так и очень полюбил читать подчиненным нотации, - это и называлось "вызвать с докладом". Он скрупулезно проанализировал работу капитана, отметил два-три недочета, не скрыл от младшего по званию, как бы он сам поступил на его месте, нацелил исполнителя на соблюдение съездовских решений и, посветив золотыми коронками, не велел трогать Мордатого чаще одного раза в два месяца, чтобы дать тому успокоиться, расслабиться, утратить осторожность и, тем самым, обеспечить красивый и эффектный финал. Юка отвечал, как положено: - "Виноват, молодой, исп-

равлюсь”, “Так точно”, “Слушаюсь”, “Больше этого не повторится”, - и впервые за время службы в органах крепко призадумался.

Думал он долго, будто конину переваривал, пока его не осенило, что с Мордатым ему не совладать: тот работал вне закона, а капитана держали на поводке в пределах законности, вошедшей в моду после двадцатого съезда. Получалась нескладица и разнобой, когда две противостоящие силы действовали в разных плоскостях, не причиняя друг другу вреда и не сопрягаясь даже по касательной. Юка сообразил, что решение проблемы находится в сфере полного беззакония, страшно обозлился и, плюнув на съездовские постановления, присягнул в душе, что достанет паскуду мордатую всеми правдами и неправдами, чего бы то ему ни стоило. План остался прежним, и элемент внезапности не был исключен, а новизна состояла в том, что Ахтак ни с кем своими мыслями не поделился ни по дружбе, ни по службе.

А время шло, и о бесстрашном уголовнике стали по городу ходить поощрительные басни, где Мордатый выглядел разэтаким удальцом шапка набекрень, а капитан медведем, пожинаяющим непотребные вершки. К шефу народные притчи поступали как в устной форме, так и в письменной, и он втихомолку посмеивался над чересчур ревностным и простоватым исполнителем, не заметившим в возложенном на него задании собственной выгоды. Резон повеселиться у полковника действительно был: с некоторых пор в республике подыскивали разносторонне образованного интеллигентного товарища на должность председателя общества по культурным связям с заграницей, но никого не нашли лучше, чем он. По таковой причине полковник был очень лестного о себе мнения, постоянно находясь в приподнятом и благодушном расположении духа, а сам, тем часом, не спеша уложил чемоданы, сдал дела и отправился к новому месту работы с вызолоченной пастью и с обидой на природу, отпустившую ему всего тридцать два зуба.

- А что, мужики, - спросил Юка, найдя подходящий момент и случай, - у шефа такие зубы гнилые?

- Ага, - ответили “мужики” шуткой-лаской. - Ты ему палец в рот сунь для пробы, протез до плеча заказывать придется. Его зубами консервы открывать будь здоров.

- Зачем же ему фиксатые при своих родимых?

- Запас в жопу не гребёт, - назидательно заметил самый умный, и капитан все понял.

Новый шеф оказался тоже полковником и в придачу поляком, чему никто не удивился и не спросил, с каких это

пор органами стали командовать иностранцы, поскольку все знали, что чекист-поляк и сержант-украинец ценятся в силовых структурах вне конкурса, как два сапога - пара. Звать его было Кужецкий Чеслав Адамович, и первый свой день он отдал знакомству с персоналом, принимая каждого в порядке званий и должностей. Капитан Ахтак использовал свой шанс лучше других и при встрече отчитался, как городской перед частным приставом: все в порядке, пьяных нет, а есть подпольный оптовик-старатель, какого не мешало бы прощупать и припугнуть, чтоб не путался под ногами. Проще говоря, он предложил новоприбывшему начальству пальнуть из пушки по воробью без ручательства за попадание, а тому аккуратно нужна была не стрельба по цели, но салют, чтобы люди говорили, будто новая метла по-новому метет, для чего мелкая шантрапа, каким ему отрекомендовали мордатого дантиста, как раз то, что надо.

Так Юка получил "добро" на проведение акции и остался очень доволен знакомством. Была тут, конечно, одна маленькая штука: ордер на обыск капитан выправлять не стал, боясь засветиться. Ну, вы знаете, как у нас это делают, - сколько бумаг надо выправить: распоряжение, ордер, путевой лист, подписями скрепить, печатями приклепнуть, с милицией согласовать, чтоб не обижались, в обком звякнуть, где во все любят вникать, что жареным пахнет, короче, полная коллегиальность, - еще по адресу не прибыли, а уж там дело на мази: ворота настезь, стол накрыт, милости просим, гости дорогие, извините, что духовой оркестр мало-мало припаздывает.

Кужецкий и сам думал, что беседа с Ахтаком что-то вроде прикидки вчерне на будущее, а что касается мероприятия, так оно впереди и разговор о нем, как отдельный, так и обстоятельный: когда, каким составом, в какое время, кто связь будет осуществлять и тому подобное. Для полковника было полной неожиданностью, когда на другой день ближе к концу работы на учрежденческий стол посыпались из грязной торбы брусочки, пластины, царские червонцы, ювелирные побрякушки и сберкнижки. Компромат был собран убедительный, Мордатого застукали на горячем и подвели под статью, родина получила свыше девяти килограммов драгметалла высокой пробы, но разрешительных документов на проведение акции не было никаких, и действия группы Ахтака подпадали под юридическое определение разбоя средь бела дня.

От одной нештатной сексотки Юка вызнал, что там-то, тогда-то зубодёр встретится с кавказцем, проживавшим в

горкомовском номере старой гостиницы, а для какой надобности они соберутся - дело ясное, уж понятно, не "шамилля" плясать. Дальше имела место особенность, тонкость, изюминка всей операции: сначала он вычел от условленной встречи время, необходимое Мордатову на сборы и на дорогу, причем сделал это с такой же изумительной точностью, с какой Уолтер Рейли, друг и спонсор Шекспира, определил вес дыма, выкурив просушенную взвешенную сигару и вычтя из нее вес пепла. Обеспечив тылы устным соизволением руководства, он испросил милицейскую "марусю" под предлогом отвезти домой пять ящиков пива и взял двух помощников, введя их в курс дела по пути. Мимоездом он преодолел трехметровую саманную ограду, скатился вниз, перепугав сторожевого кобеля, ворвался в знакомые аппартаменты и накрыл хозяев с поличным.

Что было на столе, он сгреб вместе со скатеркой, затем схватил Мордатого за душу и пригрозил восьмой дыркой в голове, - буквально это звучало так: - "Если мне на роду написано в мирной жизни кого убить, пусть это будешь ты, проблядь мордатая, давай колись, у меня времени мало, до пяти только считаю". Он выстрелил из пистолета над ухом у стоматолога и сказал: - "Раз!" Тот, разумеется, не заставил налетчика считать до конца и, будучи в состоянии непротивления злу, высветил два тайника, откуда капитан уже при свидетелях вынул груды металлических бронзулетов желтого цвета, но это было еще не все. Капитану не понравилось, что хозяйка ходит враскоряк, и он, не чинясь и не спрашивая дозволения, залез рукой в те потаенные места, где Мордатый любил пасти лилий, и вынул кисет с николаевскими десятками, после чего, прихватив улики и преступника, группа отбыла восвояси. Мордатого устроили в каталажку, а Юка́ тем временем сообщил по телефону смежным и заинтересованным инстанциям о проделанной работе и услышал в ответ глухое мычание и тихий ужас.

Что победа не состоялась, он почувствовал сразу, но не мог объяснить природу обложного затишья, пока старший по званию сослуживец не вызвал его на откровенный разговор с глазу на глаз. "Ну, и чего ты добился? - начал он без вступлений. - Тебя для того к нему приставили, да? Тебя, долболоба, поощрили, чтоб ты так жил, а ты и сам не "гам", и другим не дам. Оно тебе надо, сто рублей премиальных? О! О! За страну он переживает! Десять килограмм цветного лома раздобыл, герой, а то она без этого не перебьется. Нужны ей твои килограммы, как перстень на фуй. Ты человека под уголовку подвел заместо охранять, понял? Он зна-

ешь сколько содержал таких, как ты да я? За себя бы лучше подумал ради щей погуще или в дом чего купить, а ты... долболоб, жалко раньше никто не догадался. Думаешь, тебе это обойдется? А ху-ху не хо-хо? Не надейся, парень, ты многих лично затронул, спуску не жди. Думай, думай, обращай да трепись поменьше, а я тебе ничего не говорил". При таких обстоятельствах Юрия Константиновича впервые обозвали дураком, точнее сказать, - неохота повторяться, а в теперешнем толковании это одно и то же.

Стоматологом пришлось-таки поступиться. Глупость капитана оказалась необратимой, и не было никакой возможности придать делу вид, будто ничего не произошло. Ценности сдали в Госбанк по описи, но кисета с царскими червонцами в списке не значилось, - приметный, вроде бы, кисет, такие в войну на фронт посылали с цветной вышивкой, как на уроках чистописания: "Доблестному бойцу от пионерки-отличницы Лены Паразюк", - и в нем без малого девятьсот граммов веса, махорка столько не потянет, хоть намочи ее, хоть битком набей, ни моршанская, ни донская, а вот поди ж ты! - никто не видел, никто не помнил, никто не знал, одно слово, чудеса Твои, Господи!

Очутившись в кутузке, Мордатый расстроился, закатил истерику, облаял всех предателями и, опасаясь за жизнь по причине самоубийства, объявил голодовку и отказался давать показания кому б то ни было, кроме представителя центрального ведомства, который прибыл из Москвы по срочному вызову так оперативно, что арестант и проголодаться не успел. Приезжий чекист-юрист для начала повел дознание в сторону возможных связей подсудственного с ЦРУ или, на худой конец, с ФБР, но там все было чисто и никаких контактов между местным "старателем" и банком "Америкен Экспресс" не усматривалось. Однако это не помешало следователю по особо важным делам смекнуть, какого поросенка может сунуть ему подсудственный своим "откровенным и чистосердечным". Время стояло льготное, всевозможное, воровали кто только мог, взятка считалась рычагом прогресса, партийность гарантировала неподсудность, и каждый вор слыл противником сенсаций, потому что все до одного были повязаны, замазаны и рыло в пуху. Когда Мордатый стал перечислять именитую клиентуру, следователь вовремя перебил его, сказав: - "Однучку!" - и принялся внушать вору спасительную мысль: только благоразумное поведение с полным осознанием исключительно своей вины и больше ничьей может спасти его в дальнейшем от инфаркта или от попытки к бегству, а чем такие по-

пытки кончаются, ни для кого не секрет. На том обрубили концы и договорились: пять лет общего режима минус два года досрочно за примерное поведение, а договор, как известно, дороже денег.

Тогда же в древнем городе вопреки обыкновению произошла заметная суматоха. Быстро и расторопно перевели областного прокурора в другую область. Без юбилейной трескотни и приветственного адреса проводили на покой комиссара милиции, большевика ленинского призыва, чекиста дзержинской закалки. Перетасовали номенклатуру, в итоге чего десятка два руководящих “кадыров” поменяли места работы, не лишившись при этом ни партбилетов, ни материальных благ, ни депутатских мандатов, ни золотых зубов. А уж выговоры понахватали, - и строгих, и простых, и с занесением, и без, и устных, и письменных, - ей-ей, никто столь урожайного года на партвыскаания не припоминал. Ну, еще провели по суду группу мелкотравчатой шушеры из анашистов и карманных воров, работавших исключительно на свой страх и риск, - только и того.

Без сенсаций все же не обошлось. Следствие установило, что подсудимый ласки не знал родительской, будучи круглой сиротой, детство имел безрадостное, трудился с малых лет, много страдал по доброте душевной и ничего себе не нажил, кроме благодарностей от хороших людей и неприятностей от плохих. О том же говорили характеристики, рекомендации, отзывы и, наконец, ходатайство трудового коллектива и его безусловная готовность взять пострадавшего на поруки. Закрытый процесс складывался в пользу подсудимого, и единственной препоной к освобождению его из-под стражи прямо в зале суда являлись девять кило треклятого редкоземельного металла. Возможно, оттого многие всерьез надеялись, что презренный металл со дня на день куда-нибудь запропаستится или украдут его, или документально спишут по ошибке, и тогда встанет вопрос, а было ли золото в действительности? и будет решен голосованием, что никакого золота не было, как не было кисета с золотыми червонцами.

Тут-то адвокат вспомнил, что подзащитный давно мечтал довести золотой запас до ровного счета и отмажным жестом руки передать сбережения городским властям на строительство детского дома имени генерального секретаря. Видит Мордатый, - прижали его, не выкрутиться, и в последнем слове заявил, что от советского правосудия ничего не скроешь, поэтому он должен сознаться, что - да, было такое заветное желание, оставалось добрать сущие пустяки

и приступить к строительству, да видно не судьба. Ему сочувственно кивали носами в рассуждении, что-де какой интерес человеку темнить да еще в последнем слове, которое есть исповедь всякого раскаявшегося преступника перед совнарсудом, самым демократическим и гуманным в мире. Ему дали, как договаривались, пять лет общего режима, и он отбыл в острог, оставив по себе нержавеющую память во многих номенклатурных ртах.

А у кавказца нашлись, по-видимому, другие дела, и он долго жил в старой гостинице. По вынесении Мордатову приговора он ударил телеграмму нескольким адресатам: "Дядя слег клинику инфарктом, самочувствие оставляет желать, курс лечения внушает надежду, наполнение пульса нормальное, уход оплачен первому классу, перспективе санаторий". Закон о тайне переписки у нас существовал всегда, но не для КГБ он был писан, а что значит "тайна переписки"? - так, глупость какая-то, в России чужое письмо прочитать никогда не порицалось, и по той же причине почтальоны считались самыми информированными людьми в пределах своего участка. Юка читал телеграмму без переживаний, и ему хотелось, как на войне, пойти в горкомовский номер и совершить над джигитом акт социальной справедливости, но он обязан был присутствовать до конца спектакля как истец по делу и ему только-только предстояло узнать, что такое советская власть и при чем тут коммунизм, когда весь этот бардак называется проще и короче.

Кой-кому тогда померещилось, что если Юка не засудят с дантистом за компанию, в органах ему так или иначе не работать, демобилизуют без выслуги, как из пушки. Тем не менее, ничего подобного не случилось, и годы перегода лейтенант Гришечкин понаслышке разыгрывал судебный фарс с таким блеском, что дух захватывало. По сути, это был театр одного актера, как у Чехова или у Яхонтова, а Федя ничем был не хуже, все роли брал на себя, и у него это получалось - закачаешься. Бледный от патриотического исступления, с интонациями казенного кликушества, он играл и прокурора, и подсудимого, и адвоката, и самого Юрия Константиновича, который заливался до животиков вместе с Солохиным и Киселёвым, глядя на себя со стороны. И все по вдохновению, без текста, без прогона сцен, без режиссуры и декораций, а как бы по благодати свыше, - не иначе.

Не могу удержаться, не ахнув, до чего же талантливы русские люди; в кого ни ткни, Станиславский от рождения заложен, в кого ни плюнь, в Гамлета попадешь, - да что нам

Гаррик, Кин, Тальма, Сара Бернар, Оливье, когда у нас между Каратыгиным и Высоцким сотни миллионов прирожденных невостребованных Гамлетов и один из них штатный сотрудник КГБ. Осади, Голливуд, куда прешь против рожна, искусство не твоя епархия, тебе до нас, как от Жмеринки до Пляд и далее того. Но если начистоту, дар художественного перевоплощения не за здорово живешь нам дался, не от культуры и достатка завелся, а от извечной крепостной зависимости и рабского состояния души, образующих “модус вивенди” советского гражданина, который с утра до вечера вынужден изворачиваться, лгать, выдумывать, притворяться, угождать, ловчить, воровать, подличать, доносить, предавать и не жить, а играть жизнь, да еще не в собственной роли, а в какой пофартит. Такова особенность русской драмы, когда жанр становится для населения огромной страны подневольной бытовой повседневностью.

Непонятно, каким чудом капитан Ахтак, сыгравший не по роли, остался цел и невредим; его не засудили, не выгнали, он даже выговора не схлопотал, но вовремя получил очередное звание и продвинулся по должности. В начале семидесятых это был молодежавый, стройный, белобрысый подполковник с прической под “ёжика” и внешне похожий не на “вашскобродь”, а на субалтерн-офицера и зауряд-фендрика. Жизнь его казалась устроенной и все в ней шло гладко за изъятьем главного: ему никогда больше не давали серьезных поручений, ответственных заданий и престижных командировок, из-за чего он себя чувствовал, как в общественном нужнике, где ногу от говна поставить некуда, а по стенам со всех сторон карандашные шуточки: “глянь налево”, “посмотри направо”, “обернись назад” и “какого фуя крутишься”.

Он потускнел и погрустнел. Порой на него наваливались обида и жалость к себе без видимых причин. Начиналось с какого-нибудь давнишнего полузабытого пустяка и долго не отпускало. После того приходило на ум, что вот он, заместитель начальника отдела и подполковник, и все, что могло составить жизненный смысл и движение к цели, достигнуто, а дальше хода нет, так как для очередного производства в чин нужна более высокая должность, а где взять? “Потолок, - вздыхал он, уставясь в потолок служебного кабинета с тем же замученным выражением на лице, с каким люди рассматривают тесную обувь. - Потолок, будь ты проклят”, - разговаривал он сам с собой, и ему действительно казалось, что всему виной низкий учрежденческий потолок, - это он не дает ему вырасти и давит на его спортивную фигуру тяжестью опор, ферм и перекрытий.

Обкомовские товарищи терпеть его не могли за привычку смотреть собеседнику не в глаза, а в рот, и предпочитали общаться по телефону. Его, конечно, ненавидели до кишок и не забывали того, что он когда-то учинил. “Какой мудака, - сетовал партиец с тремя коронками. - Скольким людям хлопот доставил, подумать только! Вот уж точно: личность истории хоть и не делает, но крови может испортить до японой матери. Заставили дурака Богу молиться... Турнуть бы его сразу...” “Кабы! - соболезнавал партиец с пятью коронками. - Кто ж его дядю знал, чей он зять и что с него взять. А после того Аминов не велел трогать. Про нас, - говорит, - и так много болтают лишнего, а тогда вообще скажут, - правды нет”. “А Махмуд Рахимович?” “Слабó Махмуду Рахимовичу, не тянет он против Аминова”.

Однако, как ни слабó было Махмуду Рахимовичу, первому обкомовскому секретарю, против секретаря горкома Аминова, но и он подключился к партийным разговорам. “Чеслав, - сказал он Кужецкому тет-а-тет промеж четырех глаз. - Определил бы ты, что ли, инициативного своего мудака куда подальше. Обахаэс жалуется, автоинспекция: борется со взятками, мешает работать, суется везде. Кинь его на иностранцев. Чем среди своих искать, пусть лучше среди чужих пошарит, может, и найдет чего”. Так Юка стал во главе дела, где меньше всего смыслил и больше всего соотвествовал официальному о себе мнению.

Его при случае спрашивали: - “Ну, как дела?” - а он обреченно махал рукой и отвечал: - “Наперекосы-манды-матрёна”, - что значит, из рук вон плохо. Он совсем замотался, но лез из кожи, пытаясь кому-то что-то доказать, и натворил немало глупостей. Однажды он заподозрил двух цыган в связях с французской “Сюртё” на том основании, что они выменяли у туристов из Франции поношенные джинсы и башмаки на толстой микропорке взамен железак, бывших, скорей всего, не контейнерами для передачи информации и не сигналами президенту от резидента, а предметами цыганского кузнечного ремесла. Недолго думая, он побрел за чавалами след в след до самого табора и устроил жуткий переполох среди голопузых цыганят и долгополых цыганок, - замызганных, остервенелых и больше похожих на ведьм с Лысой Горы, чем на обыкновенных баб.

Явившись в табор уже затемно, он встал наизготовку и обнажил оружие, что при свете костра выглядело очень эффектно и не без претензий на сценичность. Отслеженным шпионам он сказал, что их карта бита, предложил им сдать на его милость и незамедлительно проследовать с ним

в город. Черный бородатый цыган, не исключено, резидент, ловко отнял у него пистолет и, что силы, зашвырнул в заросли тамарикса и саксаульника. Затем, так же ловко и споро, они навалились на него гуртом, начистили ему до глянца физиономию и отправились под покровом ночи в ту самую ширь степей и бескрайние просторы, какими обильна земля советская и на какие всегда ссылаются высокодолжностные коммунисты, когда говорят о своей любви к родине по телевидению.

Ночью он грелся у костра и плакал от невезения, а чуть свет принялся искать казенное оружие. С восходом солнца он нашел-таки макаровскую “дуру”, но вид у него был, словно его собаками травили. Стыдясь людей, он краткими пробежками кой-как добрался до гостиницы, со скоростью торнадо прошумел по этажам и накричал на Мотю Расторгую за то, что она долго его не признавала и отказывалась выдать ключ. Запершись в “аквариуме” он срочно испросил по телефону отгул за ночной ненормированный труд, заказал в номер завтрак с водкой и долго мылся, восстанавливая идентичность. Случай этот скрыть не удалось, и репутация дурака прилепилась к нему пожизненно.

Сделавшись записным и притчей во языцех, он не стал спорить, но воспринял охулку, как общественную нагрузку, слегка поморщившись, - не он первый, так все делали, а русская глупость во все времена шла по цене Божьей благодати и формально наказанию не подлежала: пьян был, бес попутал, блажь накатила, - за что наказывать? Спасибо за науку, как говаривали после порки русские люди, а кой-чему Юрий Константинович худо-бедно научился. Он вскоре сообразил, что путь фактически пройден и надеяться не на что, хотя до полной остановки было еще служить и служить, лишь в самом конце, подобно утешительному призу, брезжили полковничьи звезды, в которых можно было пощеголять не больше месяца до отставки, да и то, смотря как руководство сочтет, справившись с послужным списком наград и взысканий, удач и просчетов, плюсов и минусов.

В нем появилась рассеянность и мечтательность. Иногда фантазия заносила его в такие эмпиреи, что самому приятно было, - он тогда чувствовал себя лучше, чем после доброй попойки: и голова не болела, и настроение легкое, и на службу неохота, а самым желанным было валяться на диване в гостиничном “аквариуме”, закрыв дверь на ключ и выдернув телефонный шнур из розетки, и бесконечно смотреть кино, сотканное из грёз и воздуха... Вот он в шумном кругу сослуживцев, провожающих новоиспеченного полков-

ника на законный и заслуженный... Вот нарочный свадебный генерал только-только нацепил на него значок почетного чекиста и ослюнявил поцелуями пол-лица, отчего значкист ощущал себя, как с утра неумытый, но быстро свыкся и забыл... А со всех сторон застольные разговоры, да всё о нем, всё о нем, и все его хвалят, все за него пьют, все ему желают сибирского здоровья, кавказского долголетия и еще более дальнейших успехов, а он сидит, улыбается, благодарит жестикулярно, успевая чокнуться фужером с теми, кого через стол не достать, и предвкушает нестерпимо щекотную радость от шуточки, какую он им приготовил. Когда обществу захочется ответного тоста, юбиляр расстегнет мотню, вынет придаток, постучит им по графину, взыскав внимательной тишины, и спросит: - "Вы, товарищ генерал, такие вот пуговички в продаже видали?" - после чего выпьет и застрелится, и о нем долго и весело будут вспоминать по праздникам.

В подпитии он нередко проговаривался: - "Дотяну до пенсии, напишу пару штук детективного жанра и подам в Союз писателей. В творческие командировки буду ездить, в конференциях участвовать, автографы читателям продавать". Или: - "Выйду на пенсию, разведусь с женой да десяток лет проживу по-человечески". А то еще: - "Оформлюсь документально на покой, только вы меня, ребята, и видели. Заберусь в колхоз поглубже, где вшами по сю пору желтуху лечат, устройюсь свинарем и буду жить натуральной жизнью: природа, грязь, навоз, простые сельские люди сопли рукавом подбирают, харчи от пуза казенные, хочешь - со свиньями, хочешь - отдельно".

Сны он тоже на перспективу задействовал и по настроению делился подкорковыми сюжетами, но об одном умалчивал, чтоб не сглазить, больно уж красивый сон привиделся, когда самолично списал в расход секретаря горкома Аминова, батю всех высокопартийных мафиозников республики, по сравнению с которыми пресловутый стоматолог был бесконечно малой величиной. А случилось и так, что какое-нибудь сновиденье выходило из него политической ретроспективой, что-де не настолько уж тридцать седьмой год плох, как его хулят, но было в нем также много хорошего: партия находилась под строжайшим контролем, номенклатура стояла перед органами на цырлах, воров и калек содержали в специально отгороженных местах, народ славил вождя и имел страх перед властью, а это, почитай, тот же патриотизм на всесоюзном уровне. По прикидкам Юрия Константиновича лет через десяток-другой страна обяза-

льно вернется к тридцатым годам и восстановит как прежние порядки, так и нормальную жизнь.

Замечались в нем и внутренние сдвиги в лучшую сторону: он подобрел, смягчился, стал здороваться со швейцарцами и с горничными, пристрастился к воспитательной работе и с воодушевлением читал нештатным экскурсоводам лекции по "Бдительности".

- Сделать врага нейтралом, а нейтрала другом - вот ваша почетная миссия на современном этапе, - внятно и не спеша наставлял он сезонную молодежь, давая возможность вести подробный конспект. - Если учесть, что половина приезжающего из-за рубежа контингента в лучшем случае враги, в худшем разведка, любому ясно, что доверие, оказанное вам нами, ко многому вас обязывает. - Тут он, по правде говоря, был не до конца откровенен, умышленно занижая количество врагов, но ради вкусных американских сигарет допускал небольшую сделку с совестью. По данным капитана Солохина, это гиды-нештатники нацепили на лектора кодовую кличку Юка с конспиративными целями, и псевдоним Юрию Константиновичу сразу же понравился, хотя производил его не в полковники, а в эскимосы. Первейшими особенностями его лекций являлись нестандартность и прямота, - это придавало занятиям оттенок блатной задухшенности.

- Каждый из вас подколотная змея комитета госбезопасности, как они говорят у себя в ЦРУ. Пусть говорят. Владимир Ильич нас учит: - "Враг ругается, это хорошо". Так что тут как бы высшая оценка вашей полезной деятельности. Вот когда вас хвалить начнут, дело хуже. Значит, где-то мы прошляпили, проморгали, зевнули, допустили, в общем, ошибку. А где? - давайте искать сообща.

Стандартных нравоучений он не переносил; все у него складывалось на ходу, свежо и подкупающе искренне.

- К нам приезжают немцы, поляки, чехи, французы, ну, допустим, американцы. Кто из вас их не видел, поднимите руку. Молодцы! Значит, визуально все видели. Ну что ж, тем лучше. Итак, приезжают. Тоже как будто люди, не спорю. Но какие? И зачем? - вот вопрос, требующий адекватного ответа. Купаться в комсомольском озере? Смотреть старые развалины? - кому они нужны. Или в драмтеатр за пятьдесят долларов? Ну что ж, мы - пожалуйста. Плиз, как они выражаются на том или ином языке. Наш долг. Я бы даже сказал, обязанность. А всякий предмет, да будет вам известно, друзья мои, можно показать с двух сторон или, как говорится, по-разному.

Когда Юрий Константинович входил в раж, обыкновенные слова мельчали и делались непригодными, так как не могли вместить огромность того, что он хотел сказать. Начинался телепатический сеанс передачи мыслей на расстоянии.

- Можно показать древнюю цитадель и - древнюю цитадель. Можно показать мавзолей десятого столетия и - мавзолей десятого столетия. Можно показать улицу Молодых Специалистов и - улицу Молодых Специалистов. Можно показать шелкомотальную фабрику и - что?

Некоторое время слушатели находились во власти психологического оцепенения, и вопрос повисал в воздухе. Из состояния протрации выходили постепенно, - лектору приходилось ждать.

- Шелкомотальную фабрику, - отвечал, наконец, кто-либо из подколодных рептилий подогадливей.

- Точно, - фиксировал Юка правильный ответ. - Значит, задача, будем говорить, ясна. Люди приехали посмотреть памятники старины и парк культурного отдыха, - так?

- Та-а-ак! - хором тянул пришедший в себя змеепитомник.

- Не та-а-ак! - снова ошарашивал их заклинатель. - Адекватно объясняю, почему. А на фига им эти ансамбли, дворцы, крепостя и тому подобное? На кой они им, я вас спрашиваю? Неужели же они к нам ехали за столько тысяч верст покурить у минарета? Вы скажете, культурой интересуются, - верно?

- Верно, - отзывались в террариуме двое-трое неядовитых.

- Ой ли? Ошибаетесь, друзья мои. Вот она где, ошибка наша общая кроется! Людей смотреть, вот что они преследуют. А люди, они ведь тоже двухсторонние, не так ли? С одной стороны лицо, с другой то самое, где ноги растут. Как пластинка: на одной стороне поиграл, переверни на другую и дальше играй. - Наступал перерыв, совершенно необходимый при освоении всякой научной теории и ее законов, тем более, что на зачетах Юка поблажек не давал и многим приходилось пересдавать предмет по несколько раз, подобно "Сопромату" в технических вузах. - И наша с вами задача, - продолжал он лекционный курс, - не препятствовать, повторяю, не препятствовать наша с вами задача, а содействовать. Но как? А так, как нам надо. Они это, конечно, учитывают, что мы им совсем не то показываем, а наоборот, и идут на все. Этому ручку, тому книжку, третьему еще что-нибудь, и так далее. Умно? Жду ответ.

Среди гадюк воцарялось шевеление и перешептывание, - никто не хотел сознаваться, что принимает от иностранцев сувениры и готов им взаимно услужить. Не дождавшись ответа и профессионально качнувшись с пяток на носки, факир сам отвечал на поставленный вопрос: - Да, умно! Потому что у себя привыкли таким же способом действовать. Дадут что-либо по мелочи раз, другой и - пропал человек, как швед под Полтавой. Шантаж и подкуп! Измена и провокация! Вот о чем адекватно мечтают господа с Уолл-стрита. Единственного они понять не в силах, что мы советские люди и нас не купить ни за какие миллионы... - Он достал "Филипп Моррис", закурил и, глубоко затянувшись, продолжал: - Ну что ж, пойдем им навстречу, покажем народ, создадим, как говорят, возможность контактов. Мы не прочь. Благо, у нас есть, что показать: народные умельцы, мастера искусств, борцы за мир, ударники труда, маяки производства, гвардейцы полей и многие другие в любом количестве. Как это делать, вы теперь знаете, но повторить не мешает. Для примера и разнообразия можно показать знатного чабана и?

- Знатного чабана! - нестройно шипели змеи.

- Члена клуба ветеранов революционной, боевой и трудовой славы и?

- Члена клуба ветеранов революционной, боевой и трудовой славы! - дружно скандировала аудитория. Юка только улыбался да руками разводил: до чего же приятно курить молодой растущий коллектив, который доведет до ума все, что ему скажут. Но не всем так было приятно, как Юрию Константиновичу, и переводчики часто жаловались, что после занятий по бдительности у них появлялись признаки морской болезни: головокружение, тошнота, нарушение координации движений с потерей равновесия, аллергическая сыпь и отвращение к еде, выпивке и сигаретам. Когда о том доводили до сведения подполковника, он удовлетворенно кивал и отвечал, что так и должно быть, - наука умеет много гитик.

Занятия подходили к концу, и Юка отдиктовывал темы для зачетных рефератов, как вдруг дверь приоткрылась, в образовавшуюся щель просунулся на полкорпуса старший гид Киселёв, повертел туда-сюда головой в поисках кого-то и молча исчез. "Пять минут перерыв", - сказал Юка и выскочил вслед. Он догнал Володю, увлек его к окну в конце коридора и сообщил, что в увольнении ему отказано до завершения туристического сезона, а это значит, до Нового года. Эдуард Фокич собственной персоной связывался с

обкомом и обижался на перспенов из парткомиссии за то, что они не волокут ни уха ни рыла и выносят решения во вред делу, увольняя нужных ему людей в разгар работы, - короче говоря, Махмуд Рахимович отдал ему "на усмотрение".

- И вся любовь, - засмеялся Ахтак. - А ты, дурочка, боялась, надевай штаны. Да они за месяц все перезабудут, я их знаю, как облупленных, а за полгода и подавно. Сам только не нагадывай козе смерть: не возникай, глаза не мозоль, на язык лишний раз не попадайся. Одним словом, поздравляю.

Юка заблуждался и верил в невероятное. Ему понадобится еще несколько лет, прежде чем он созреет до кондиций и повторит слово в слово то самое, что уже многократ было сказано другими: - "Дурак, ну зачем я вступал в эту партию?" Вопрос, конечно, безответный, но всего важнее в нем не ответ, а самооценка: если человек в конце концов понимает, что он дурак, и не стыдится признать собственную глупость, с ним происходит чудо преображения, и он перестает быть таковым раз и навсегда. Проще всего это чудо объясняет курс элементарной математики, когда минус помноженный на минус, неизбежно становится плюсом.

## **IX. О доблести, о подвигах, о славе...**

**О** славе кто только не мечтал, а как ее залучить, сведений достоверных ни у кого нету; то ли предмет невещественный, собственных очертаний не имеет, то ли без характерных признаков, не угадаешь, на кого она завтра покажет, кому в будущем году подмигнет, а уж насчет личной инициативы в смысле догнать да овладеть, - лучше не надо, один конфуз да и только. Людям, конечно, не докажешь, и всяк относится к ней по-своему, хотя в наше время определенный шаблон уже есть: вначале человек на славу обязан потрудиться, затем слава на него до гробовой доски вкальвается, хотя и в таком варианте конечный результат отдан в пользу сомнений, - иной всю жизнь надрывается и ничего, кроме грыжи, не имеет, а к другому она сама, будто девка гулявая, без спросу приходит.

Спокойней всех к ней относился Сергей Николаевич Юрэнев, - не предрекал, не надеялся, не домогался, не замечал, следуя точь-в-точь сонету Джона Китса:

...Поэт безвестный, заплати сполна  
Презреньем за ее пренебреженье.

Оставь ее, и, может быть, работой  
Она пойдет покорно за тобой.\*

Так и получилось; она действительно не покидала Сергея Николаевича ни при жизни, ни по смерти и даже прирастала пропорционально тому, насколько местные власти тщились ее умалить.

Жили, разумеется, в городе и помимо Сергея Николаевича люди прославленные, сподобившиеся признания без поддержки газет, радио и телевидения, потому что истинная слава в тогдашних условиях игнорировала средства массовой информации за словоблудие вкупе с оголтелой ложью и нимало с ними не считалась. Чем-то вроде того был дядя Ваня Бей-Его-По-Ногам. Так его называли за то, что не умел общаться “по-матери” и пользовался невинной присказкой там, где надо было загнать в три погибели, хотя рабочее место у него считалось ругательней не придумаешь: пивом в будочке торговал. Отдавая ему почести, нелишне заметить, что пиво у него было исключительно бочковое и лучшее в городе, а сам он слыл единственным в торговой сети продавцом, кто довольствовался прибылью только с пены за счет недолива, но никогда не разбавлял напиток водой. Его старорежимную купеческую честность клиенты высоко ценили, и у дяди Вани их топталось, как скота на тырле в водопойный час. К странностям его симпатичного облика следует отнести тягу к изобретательству, так как попутно с продажей хмельного напитка он еще выдумывал и электроопохмелятор, а для чего ему это занудилось, трудно решить что-либо, кроме того, что человек состоит из противоречий.

По воспоминаниям старожил, он в пивной своей будке лет сорок проторчал, и деньжата у него водились немалые, но прежде чем помереть, он их отказал в пользу государства, где-то около двухсот тысяч рублей, при условиях, чтоб, значит, войны не было, - это в первую голову, и памятник чтоб не забыли рукотворный поставить, а то от своих хрен дождешься, - это на второе. Насчет мира во всем мире ничего у дяди Вани не вышло, - вскоре после того афган начался, и правительству каждый военный день обходился по два миллиона целковых, так что плакали его денежки, а памятник-таки сварганили в виде плиты с надписью: “Сувертеко Иван Михеевич, патриот, гражданин, член профсоюза”, а дальше цифрами, а еще дальше белой краской от руки “хер голландский”. Короче, родственникам с дядиваниной книжки ломаного гроша не перепало.

---

\* Перевод С.Я. Маршака. - Прим. авт.

Обездоленные наследники прокляли покойного и подали на него в суд, что он, будто бы, умом рехнулся, последние годы с колен молился на портрет Брежнева и нес всякую фигню на манер: - "Святой Лёнчик, помилуй мя, как ты и сам берешь, и другим даешь, а я тоже не лысый". Тяжбу наследников с государством разбирали органы правосудия, и государственному защитнику не составило труда доказать, что дядя Ваня Бей-Его-По-Ногам до последнего издыхания пребывал не только в здравом уме и трезвой памяти, но и в состоянии высокой сознательности, отдавая себе полный отчет, в чьих руках находится разрядка напряженности и мирное небо над головой. Так прославился дядя Ваня. Оно-то, ясно дело, хоть кто не прочь мирской славы с вечной памятью сподобиться, да где две сотни тысяч наличными раздобыть. Дорого нынче слава на рынке, не подступишься; собственную фамилию на ржавой барже написать, - гони деньгу крупной купюрой, а что посолидней, и того дороже. И вдруг заявляется Саха-прокурор и убедительно доказывает всем и каждому, что слава - плёвое дело и под силу всякому, была бы охота.

Неказистый, неприметный и сильно пьющий, кличку свою он получил за доскональное знание законов о труде и зарплате, что приносило ему солидный кусок без усилий и переутомлений. Законов у нас изобилие и - правильно, потому что, чем их больше, тем проще трудящимся голову морочить: недоплатить, недодать, взыскать, удержать, оштрафовать и на будущее пригрозить, а если человек живет от маленькой получки до еще меньшего аванса, законы он знать обязан, как свой карман. Работал Саха на электростанции в бригаде ремонтников и еще на десяти работах по совместительству, куда наведывался дважды в месяц, чтобы расписаться за сотню, а на руки получить лишь тридцатник. В общем и целом, псевдоним у Сахи не просто выражал черту натуры, но и трудовое самообразование с основополагающим законом социализма во главе: кто умеет работать - работает, кто не умеет - руководит. Ему, конечно, завидовали и считали богатеньким, хотя, как всякий алкоголик, он не всегда бывал при деньгах, а случалось, и в долг пил.

После майских праздников и за неделю до аванса бригада решила, что дальше так жить нельзя. От безденежья и длительного воздержания у всех трещала башка, никто не соображал, что от него требуется по наряду, и капремонт водогрейного котла напоминал строительство Вавилонской башни в период возникновения иностранных языков. Тогда

Саха бросил обществу вызов и заявил, что за литр водки съедет с городского лыжного трамплина на собственной заднице. Живо-два сладили продать на сторону полтора кубометра строевой древесины, предназначенной для возведения лесов и помостей, и послали бегом в магазин за водкой, кто помоложе. В глазах у людей появилась мысль и наладилось взаимопонимание. Перед лицом неслыханного по дерзости поступка жизнь обрела свежий интерес и привкус долгожданного разговения после нудного затянувшегося поста. Поправ орудия производства задолго до обеденного перерыва, коллектив отправился к зимнему спортивному комплексу.

Зимы в тех краях почти не бывает, по крайней мере, она не такая, как в центральной черноземной полосе. С декабря по март льют дожди, и кратковременный перерыв наступает лишь при январских заморозках, когда глинистая грязь подсыхает и ненадолго выпадает снег, а порой бывает и так, что ртутный столбик падает на семь-восемь делений ниже нуля и начинается плач на ветхозаветных реках: гибнут субтропические породы фруктовых деревьев, ценнейшие сорта столового винограда, тонкорунные овцы гиссарской породы, а то и люди без привычки тепло одеваться. Понятное дело, что зимний спорт в том разнообразии, в каком он представлен на олимпийских играх, в здешнем климате популярностью не пользуется, но лыжный трамплин был. Как наглядность от отвечал требованиям и хорошо вписывался в городской силуэт, верно показывая направление в космос и напрашиваясь на сравнение с минаретом. Никто с него отродясь не прыгал, и он был не более, чем символ в том ряду, где уже подобались воинский мемориал, читабельная с высоты ходячего облака архитектура и точное повторение Большого Театра в отдаленном кишлаке - прекрасное здание для ремонта колхозной сельхозтехники. Относясь к помянутым постройкам, как к признакам времени, следует признать, что трамплин являлся наилучшим сооружением оттого, что был одухотворен великим подвигом Сахи-прокурора.

На виду у бригады Саха взобрался на верхнюю площадку, и все, кто с ним пришел, стали очевидцами, как он заскользил по синтетической щетке цвета грязного городского снега, едва ли уступая в скорости лыжникам. От быстрой езды штаны под ним схватывались голубоватым дымком, кудряво вьющимся за спиной смельчака при ясной тихой погоде. К двадцатиметровой отметине его швырнуло, как камень из пращи; там он шмякнулся оземь и покатился под

раскат. Сломав ребро и руку, он своим ходом отправился в травматологию, но не раньше, чем поменял прогоревшие штаны на целые, и не прежде, чем водка была честно и компанейски распита. В стационаре он провалялся месяца полтора, окруженный заботой и всеобщим уважением, близким к идолопоклонству, и полным набором льгот. Сестрички исподтишка пользовали его спиртом, врачи поправляли ему здоровье на номенклатурном уровне и бюллетень оплатили полностью, отнеся тяжелый случай к производственным травмам. Местком и администрация, разумеется, были в курсе, как дело обстояло, но ни у кого не поднялась рука Сахе во вред, - слишком громкой стала известность героя и в городе, и за его заставами.

Трамплин же, благодаря Сахе, по именитости сравнялся с Инсбрукским. Его включили в экскурсионный маршрут по теме "Советский народ - ведущая олимпийская нация" и стали подавать как фирменное блюдо специально для иностранцев, которые, одурев от пропаганды, с наслаждением расслаблялись, слушая дивный рассказ Володи Киселёва и записывая на память единственный сахин афоризм: "Самое страшное, ребята, это, когда оторвешься и держаться не за что". От настоящей обвальнoй славы Сахе деваться было абсолютно некуда. У славы, если вы заметили, много общего с пустой консервной банкой на собачьем хвосте и, чем пуще желание от нее избавиться, тем больше треску и авторитета. От авторитета к славе через знаменитость и любовь народную не так уж далеко, а от славы к бессмертию, как из коридора в кухню, рукой подать. Саха добился того и другого: и славу за хвост поймал, и мировой рекорд установил по прыжкам в грядущее на костылях.

Сказать по правде, если бы не издержки внешности, это был бы второй Алкивиад, но его кургузая фигура и рыхлая проспиртованная физиономия не были отмечены печатью страданий за народ и раздумий о судьбах отечества, ввиду чего не годились для отливки не то, что скульптуры, но даже бюста и беспардонно охаивались представителями интеллигенции, отрицавшими демократический принцип "с лица не воду пить". К тому же он не баловал низкопоклонников и заискивателей барским презрением и недоступностью, будучи с ними запросто по-петушкам и с первых слов напрашиваясь на выпивку, чем крепко вредил собственному реноме. Но главное в том, что к вящей славе Саха решительно не был готов и ни на йоту не подозревал, что таковая имеет место быть в сощдействительности.

Подлинно монументальной славой пользовался кандидат

философских наук Джураев после того, как трижды прочитал полное собрание сочинений Владимира Ильича и не решился рассудка. Это было так огромно, что никто не попытался исследовать и объяснить, как он посмел, во имя чего отважился и кто его подвигнул на то, чему до сих пор и названия нет. В Центральном Комитете остопупели от обалдения: неподъемный, непосильный, неподдающийся осмыслению труд, равного которому история еще не знала, был взят на-приступ отдельной партийной личностью. За это ему присвоили звание доктора наук, - и поделом, поскольку даже в элитарных кругах партактива никого не нашлось, кто мог бы похвастаться хотя бы разовым прочтением всех работ гениального вождя от доски до доски, а тут, шутка сказать, - трижды!

Имя Отца-Основателя в республике знали стар энд млад, но произносили с небольшим искажением: Лелин. Ничего особенного, просто им так было удобней, - это в обычае всякого народа, облегчающего на свой лад употребление чужеродных слов: конистуция, буйро (бюро), Лелин, Сибирдылоп (Свердлов) и пр. Неудивительно, что Джураева после тщательного медицинского обследования стали величать верным лелинцем и никто не оспаривал его прав.

Но при всем величии подвига, подобного которому до Джураева не совершал ни один здравомыслящий человек, слабость его позиции заключалась в том, что многотомную лелиниану плохо знали трудящиеся массы и по врожденному своему невежеству не считали ни Лелина писателем, ни лелинца читателем. Джураев не пал духом и с лихвой компенсировался в научных и культурных слоях, где на него взирали разиня рот, полагая, что имеют дело с чудом света номер один и с явлением природы феноменального значения. Он находился в расцвете творческих способностей и в начале пятого десятка лет. В институте, где он заведовал кафедрой, и в партийно-советских учреждениях не без оснований поговаривали, что с него вполне станет еще пару раз перечитать любимого автора и занять должность ректора во всесоюзном университете марксизма-лелинизма при ЦК, после чего ему не то, что Сулов, а сам черт не брат.

В людных местах его нетрудно было распознать по ауре светло-золотистого оттенка и по нимбу, с каким он никогда не расставался, нося его слегка набекрень. Как все великие умы, он был рассеян и забывчив: не зашнуривал обувь, не застегивал мотню, при всяком разговоре сбивался на "Материализм и эмпириокритицизм", путал брифинг с брек-

фестом, оргазм с организмом, полиглота с политологом, держал учебную литературу в холодильнике и не мог понять, в чем польза часов и барометра, если они ни погоды не делают, ни время не стопорят. Взрослые показывали его детям и говорили, что он самый умный, что голова у него застрахована на сто миллионов и за ним постоянно наблюдают врачи, а как умрет, его пустят на сувениры, потому что такого, как он, во всем мире не было и долго еще не будет.

А вот из секретаря горкома Аминова делать сувениры никому бы в голову не пришло, - не тот человек, свое счастье собственными руками ковал, за славой не гонялся, сперва власти достиг, а слава сама к нему в кабинет препожаловала и напросилась поиметь ее первую. И что бы он ни творил, все сходило во славу, и руководимый аппарат ему на славу трудился, и члены семьи немало тому способствовали. Сынок у него, было дело, малолетку одну изнасиловал, родители в суд подали, прокурор, не зная, как быть, в горком по телефону за справкой: - "Что делать, Аминов-ака? Подсудная статья показывает", - а тот отвечает: - "А за что судить? Это не он виноват, это его фуй виноват", - и никакого суда, одна слава. Его долго потом цитировали, как поправку к уголовному кодексу, а уж смеху было, фантазий всяких - долго рассказывать. С того и начались его медные трубы.

Сам был скромный и огласку не уважал. Другой, того гляди, и рангом не вышел, а прёт напропалую: хоть на трибуну, хоть в президиум, хоть куда, а этот бочком, тишком по-лелински, только-то и на уме, - не обеспокоить бы кого, чтоб, значит, не замечали, не здоровались и вслед не глядели. А как не заметишь, когда его лично Махмуд Рахимович поперёд себя замечает, - ведь мало того, что секретарь горкома, еще и кандидат сельхознаук, дважды Герой Соцтруда, депутат Верховного Совета, в глухом позабытом кишлаке памятник ему за то, что нашел, где родиться. Конечно, замечали. И не в отрыве от действительности, но в свете событий ему сопутствующих. Особенно в озарении пожаров, а они заполыхали сразу после его вхождения во власть.

Жизнь сделалась интересной и разнообразной, а хороший пожар, как зрелище, способен очаровать кого угодно от Нерона до Крылова, знавших толк в феерических развлечениях, тем паче, что с каждым годом подобного рода феерий становилось больше и больше, причем о некоторых люди знали заранее и приглашали знакомых на красного петуха, как в ресторан поужинать или в кино с одноименным

названием, заблаговременно оповещая, что тогда-то и там-то будет гореть то-то и то-то.

Мы мало придаем смысла явлениям и не замечаем, как в жизни то и дело происходят события, о которых просто-народе знает заранее, тогда как большое начальство, что в ус не дует, что палец о палец не бьет. Мне особенно памятен случай, когда перед самой войной я отдыхал в пионерлагере под Рыльском, и вдруг за полсрока в лагерь гурьбой стали съезжаться родители и разбирать нас по домам под каким-нибудь благовидным предлогом. Нас оставалось совсем мало, когда за мной тоже отец приехал и в тот же день увез, так что к выходному мы успели домой, а в воскресенье войну объявили по радио. Я это запомнил и лет через двадцать спросил: - "Папа, - говорю, - как так, что вы тогда вовремя приехали? Будто знали, что война", - а он отвечает: - "Конечно, знал. Многие знали, что вот-вот начнется. Ну, верили - не верили, кто как, а знать знали, один товарищ Сталин не знал". Оно, конечно, пожар не война, о нем проще наперед узнать.

Быстро и красиво сгорел городской универмаг. Сперва его закрыли на ревизию и приступили к проверке, а он во зьми да сгори во время обеденного перерыва вместе с проверочными актами, ревизорскими портфелями и товарами, какие там находились. О том пожаре никто загодя ничего не знал, и народ стал собираться, когда уже горело. Большой был универмаг, а за два часа выгорел до черных стен. Само собой, комиссия наладили и долго носом землю рыли, пока не обнаружили, что всему виной короткое замыкание.

После универмага текстильный комбинат сгорел тоже без уведомления, среди бела дня, во время обеденного перерыва и, что в особенности любопытно, ровно за день до пуска. Уже и ткачих привезли ивановских, рабгородок построили, годовой план утвердили, соцобязательства приняли, чтоб, значит, земной шар материей по экватору семь раз спеленать как минимум, и вдруг - на тебе: короткое замыкание и сливай воду, а счет убыткам на миллионы пошел. По странному совпадению так же за день до пуска в газете была опубликована статья, предвещающая большое событие в ключе благословения и напутствия в добрый час, а называлась она "Работать с огоньком" и представляла собой чистой воды сглаз и роковую случайность, хотя у корреспондента долго допытывались, откуда ему было известно о пожаре, насилие отпустили. Но не все пожары днем мир Божий отапливали, небо грели; хлопковые бурты, к примеру, загорались не раньше полуночи все по той же причине ко-

роткого замыкания. Такие фейерверки устраивали по сбору урожая поздней осенью, и кое-кто предсказывал их соседу на ухо день в день, а если точнее, то ночь в ночь.

А как горит хлопок-сырец, позвольте вам сказать, это ж красота невыразимая, просто так не опишешь, видеть надо и место заблаговременно подыскать с надветренной стороны, чтоб запах горящего тряпья в горле не першил и впечатлений не портил. Гора белого огня, кругом все, как на ладони, книжку впору читать, да нет пока столь же занятной книжки, как это огнище, тут важно не проглядеть бы чего, чтоб на всю жизнь память. Пламени большого нет, черного дыма тоже, только семена хлопковые в огне трещат звонко да рассыпчато, а от них тучи искр, ровно золотые пчелы за медом, на ночь глядя, густым роем взвиваются; то там, то сям протуберанцы выпирают, неприлично похожие на елду средних пропорций; публика живо обменивается сравнениями и замечаниями, - какая роскошь, какой блеск, как великолепно горит народное добро, белое золото, кто бы подумал! Огромный бурт на глазах становится все меньше, превращаясь постепенно в скирду, в стог, в омет, в копну и, наконец, в охапку шевелящегося белесого пепла, к которому поутру придут руководящие товарищи и составят акт о списании, где количество сгоревшего хлопка будет завышено втрое-вчетверо, сортность показана самая высокая, а ущерб близко к стоимости танка, самолета, ракеты...

Осень - хлопотное время, и у секретаря Аминова забот полон рот, - республика большая и все на нем: где будет гореть? что будет гореть? как будет гореть? да чтоб машины пожарные прибыли не раньше положенного и в цистернах чтоб сухо было, шланги топором прорубить в нужных местах, пару пожарных цистерн соляром заправить на случай ускорения и все до деталей продумать: кого впоследствии за халатность уволить, кому выговор объявить, в каком объеме персонально вознаграждение за вредительство начислить, - у-у! это был совет в Филях, штаб боевых операций по взятию Берлина, и во главе стоял не какой-то зарвавшийся карьерист, но деятель масштабно мыслящий, проницательный, дальнозоркий, он-то уж наверняка знал, что в текущем году к рукам прибрать, что на будущий год приберечь. Практика показывает, что все деньги за один раз ни заработать, ни украсть никому не удавалось, и в научно организованном разбое, как во всяком деле, есть свои сроки, планы, стратегия, тактика, коррективы, проблемы, порядок и единоначалие, когда парадом командует не секретарь ЦК, а зауряд-секретарь горкома партии, каких много.

Условия были в высшей степени сложными, что весьма затрудняло процесс раздобычи черной наличности не только по причине всеобщей нищеты и отсутствия заведомо богатых людей, но и ввиду едкой зависти населения к тем, кто правдами-неправдами сумел разжиться дачей или машиной. При столь плачевных обстоятельствах красть, казалось бы, не у кого, если бы не государство. Это было богатейшее паразитарное государство, присвоившее все буквально по Пушкину: и труд, и собственность, и время. Но как ограбишь такую махину, огражденную армией, милицией, шпынями, сексотами и сводом законов, карающих за хищение госсобственности куда строже, нежели за квартирную кражу? Как было подступиться со стороны к этому бронированному мастодонту? Да никак. Разве что изнутри, притом на исключительно высоком партийном и государственном уровне. Это привело к смычке преступности с руководящей и направляющей силой советского общества, когда госдеятели брали взятки шахматами из золота, платины, слоновой кости и эбенового дерева, а выдающиеся уголовники отмечались наивысшими правительственными наградами и почетными званиями.

Структура Аминова представляла закрытую горизонтальную систему, куда не принимали ни беспартийных, ни рядовых. Принципиально и тщательно разработанная практика отбора придавала организации устойчивость биллиардного шара на идеально ровной поверхности и формировала некое сословие, свободное от подозрений, с правом вседозволенности. Важно понять, почему Аминов не домогался высших должностей и не воцарился к власти, предпочитая тень свету, вторые или третьи ряды на трибунах и спины больших людей, падких до первенства. Народ, как сущность инертная и страдательная, любил первых людей не за страх, а за совесть, что значит, издалека, изредка и понемногу; Аминов же был любим не за совесть, а за страх, и это было куда надежней, потому как он запросто мог закатать в асфальт новой автострады любого, кто имел на него зуб.

Дивное было время, хоть и не без нареканий. Украсть, имея доступ, не составляло труда, а выдать краденое за бабушкино наследство - дело сомнительное. Пожар был тем хорош, что превращал всякий дебет-кредит в кучу золы и весьма способствовал первоначальному накоплению капитала. Это сейчас отмыть любые деньги, как чихнуть, не извиняясь, а в период застоя объяснение причин принималось на веру лишь при наличии справки о коротком замыкании, и Аминову приходилось с этим считаться.

Его расстреляли по суду в самом начале перестройки, - сейчас многие о нем жалеют. Был бы, того гляди, заправский предприниматель, приватизировал бы по дешевке сгоревший текстильный комбинат, наладил бы производство, выпускал бы продукцию и уж, разумеется, не затем, чтобы ею земной шар по экватору обматывать, в правительство вошел, а при его способностях и народ бы возглавил, да что толку сожалеть, когда человека на свете нет. У нас всегда так: сперва кокнут, а после за голову хватаются: - "Вай-дод, какого мужика загубили!" Был он не так, чтоб уж так, однако ж принципы имел и один из них в нынешней России нашел самое широкое применение: "Пить - так водку, есть - так красотку, воровать - так миллион", но с поправкой на инфляцию вместо миллиона теперь желают триллион. В остальном же все в его пользу: что демократ, что прогрессист, ничего мимо себя не пропускал, но лишний, - пришел раньше времени не по своей воле, ушел досрочно не своей охотой и стоять ему отныне в одном ряду со всеми лишними, преждевременно родившимися, в литературном порядке: Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров, Рудин, Аминов, - так проходит слава земная...

Слава гида-переводчика Киселёва по длительности укладывалась в сроки скоротечной чахотки, но на выдержку была ослепительно яркой, азартно заманчивой и особенно завидной. Поставить рядом с ним кого угодно: Джураева ли, Саху-прокурора или дядю Ваню Бей-Его-По-Ногам, а то взять даже самого Аминова, - нет, вряд ли довели бы они публику до столь зудливого почесывания, как наш матерый международный прелюбодей. Способствовали этому, прежде всего, местные власти, допустив огласку в прессе, чего, разумеется, делать не следовало, - это она подогрела гормональную активность у взрослого населения и необузданный половой интерес у молодежи, породив множество фантастических идей, приписанных задним числом Киселёву; во-вторых, лично Киселёв, кому титулы подонка, отщепенца и сексуального маньяка обеспечили такое сочувствие сограждан, каким никто из прежде помянутых прославленных лиц в городе не пользовался и, честно говоря, оспаривать его славу не рискнул бы. Даже речи не возникало, кто есть кто, а что Киселёв крупней и эпохальней своих конкурентов, на том все сходились. И, как видно, не без оснований.

Ну, что мы знали о себе и об американцах прежде, чем все этостряслось? Что мы особый народ и не такие, как они, но несравнимо лучше, а у них все иначе: что у нас вдоль, то у них поперек и понятия о жизни разные; у нас жи-

вой организм, а у них электрическая машинка, - вибратор называется; у нас что ни любовь, то единство партии с народом, а у них полная несовместимость и с ресурсами неладья, - они не знают даже, что такое счастье материнства. Потомство худо-бедно получается, но какое? - оторви да брось. Ясное дело, на что они рассчитывают: нашим семенным фондом собственную евгенику поправить, только напрасно надеются. В "Правде" случай описан был: поженились двое, наш и американка, через предположенное время мальчик народился, ребенок, как ребенок, что вес, что рост, что гульфик, все в пределах нормы, только вместо пупочка металлическая гайка, а когда ее свинтили, у новорожденного жопка отвалилась, - вот так! И еще втихаря замышляют, чтоб везде было, как у них, и для этого изобрели у себя в лабораториях вирус СПИДа и запустили в общество, - о том "Правда" тоже рассказывала. Да они там все до одного разные; к любому спидометр приложи - зашкаливает.

Для того и существовал у нас закон, чтобы наша молодежь спаривалась исключительно в географических начертаниях госграниц одолевшего социализма, а брак с иностранцами и половой интим подсудное уголовное дело. Киселёв чем конкретно взял? Тем, что, рискуя здоровьем, работой и жизнью, на собственном опыте убедился и остальным убедительно доказал, что все это ложь, мандёж, провокация; ничего у американцев поперек нет; все, как у нас, вдоль, и контакты любые, - хоть обнимайся, хоть целуйся, хоть женись; и совместимость обыкновенная, и характеры на выбор один к одному, и вообще никакого между нашими народами различия, а что у бабушки киснет, то у дедушки виснет, - вот и вся правда, какая есть. Нашим людям так все это глянулось, так на душе полегчало, так поверить захотелось, что взяли и поверили, и зауважали Володю, как первопроходца, а начальство на него насыпалось, - полез, мол, не в свои внутренние дела, международную политику поломал и за это надо его обязательно со свету сжить.

Да мало ли что начальству вздумается, а у подначальных свое отношение к событиям. В чайханах и в ресторанах Киселёва стали обслуживать моментально и в кредит; официантки встречали и провожали его взглядом "люблю милого за походку"; Гоги Кукуберия громогласно провозгласил из-за буфетной стойки тост в его честь: - "Генацвали, ты мужчина мужчин!" О переводчицах и заводиться нечего; у них только-то и было забот, что обсудить, найдется ли в городе хоть один бабник, который дерзнул бы повторить подвиг героя, и сами же отвечали: - "Да ни в жизнь! Куда им до

нашего Вовки, они все только на словах..." Что касается партийных деятелей, которые совсем недавно едва удоставляли его взглядом, теперь они первыми подавали народному любимцу руку и не упускали случая спросить: - "Ну, как оно?" Что такое "оно", любому-здешнему легко было угадать, так как деятели откровенно облизывались, влажно причмокивали и шумно подбирали слюни.

А что трезвону поднялось! - гудел город, чисто улей при майском липовом цвете. Об американке разузнали все до мелочей, что она и дочь миллионера, и сама миллионерша; для Америки-де это обычная вещь, у них на одного бомжа по два миллионера приходится, в общем, денег у нее в одном банке не помещаются и тратить не на что, потому как все есть, короче, повезло Володьке, как никому. Остальное решено, договорено, расписано по часам: он днями оформляет развод и вылетает в Соединенные Штаты (билет заказан, паспорт выправляют), срочным порядком женится (наши-то жлобы даже на свадьбу поскупились, неделю всего дали без никаких медовых путешествий), входит в права владения имуществом (супермаркеты, гостиницы, авиалинии, стадионы, заводы, полезные ископаемые), распродает собственность на аукционе (срок - месяц) и по примеру дяди Вани перечисляет валюту на текущий счет Политбюро для мирных надобностей, а они ему за то - медаль, выпел победителя в социалистическом соревновании и почетную грамоту под оркестр. Справедливости ради следует отметить, что при разборе взаиморасчетов Киселёва с партией и правительством деликатно выражалось сомнение, вернется ли жених из Америки вообще, и разрешалось надвое: кто-нибудь один горой стоял за Киселёва, - вернется, мол, никуда не денется, чего ему там делать и так далее, а девяносто девять других говорили: - "Дурак он, что ли?" - и заливались радостным смехом.

В интеллигентской прослойке, в основном, среди либерально настроенных умов, вопрос вставал еще более рúба.\* Наших интеллигентов узнают везде и повсюду по паре признаков: они традиционно боятся собственной тени и в то же время страшно любят побалагурить о чем-либо запретном. Подобную разноречивость природы, когда и хочется, и колетса, и местком не разрешает, можно понять, лишь блуждая наудачу в дремучем лесу: от ужаса у вас по спине мурашки ползают, и вы ради собственного успокоения и бодрости начинаете громко петь, обнаруживая у себя тон-

---

\* Ставить вопрос на попа, ребром или руба (в том положении, в каком рубят дровяные кругляки). - Автор.

кий слух и приятный голос. Вот еще один ответ на вопрос, отчего мы, русские, так многообразно и неповторимо талантливы и откуда у нас только берется всенародная одаренность к музыке, к слову, к наукам, к искусствам, как будто не страх нами животный движет, а сама Минерва путь истины указывает. Да вы сами-то поживите лет пятьсот в крепостной зависимости плюс без малого столетие при Советской власти, так он и у вас проклюнется, всеобщий талант как национальная особенность... Перепуганные своими же мыслями русские интеллигенты и подавно молчать не в состоянии, уж на что Лев Толстой, и тот писал: - "Не могу молчать", - в смысле, дайте высказаться, а то помру. Тут Киселёв пришелся аккурат, что ко времени, что к месту, а уж ребусов и шарад он всем задал, - говорить и говорить. В обыденном факте бытовых случайностей передовые мыслители усматривали не какое-то пресное, всем обрыдшее сосуществование, а нечто перспективное, некий просвет того будущего, о каком они на кухнях ночи напролет базарили и по служебным коридорам, как масоны, перемаргивались.

В считанные дни он сделался центральной персоной в городе до такой степени, что сотрудники "Интуриста" советовали ему не отвечать на приветствия и отворять двери ногой, но это было не в его привычках, и он ни разу не злоупотребил выгодами своего положения. Да и вряд ли нужно было это делать; двери перед ним открывались сами безо всяких паролей. Он был у всех на слуху и на устах, а кое-кто уже строил на нем расчеты и взыскивал процент. Артистку Киселёву-Кардан представили к правительственной награде по случаю векового лелинского юбилея, и в театре знали, что удостоена она не за выдающиеся сценические успехи, но ввиду небывалой пресловутости собственного мужа. Она тоже заметно переменялась: реже устраивала скандалы, сквернословила только в шутку и охотно делилась последними новостями из театральной жизни, без которой дышать не могла.

- В кордебалете, - рассказывала жена, сидя на стульчаке и открыв дверь для лучшей слышимости, - с ума посходили: дым колесом, свет клином, об одном тебе разговору. Интересуются, за что такая немилость, совсем заходить перестал. С тобой на фотокарточку мечтают сняться. "Кружка медная, - говорю, - что ж я вам его в сумочке принесу? Да и не станет он с вами; его теперь иностранки ангажируют по дежурной записи: сегодня с этой, завтра с третьей. Прима тоже ослабилась. В общей сложности, поцелуй тебе с

улыбкой и масса личных пожеланий. Говорю: - “Напрасно вы это. У Киселёва нынче французский сезон, в очередь с дамами из Парижа лобзается, а своих кусает”. Веришь, вся краской зашла, будто рак вареный. У меня со страху матка опустилась: - “Кружка медная, - думаю, - еще чаем в лицо плеснет”...

Приму в театре заглазно называли султаншей. Володя был с ней знаком и при встречах раскланивался. Много лет она играла Офелию с непревзойденным комическим успехом и считалась в этой роли незаменимой, так как дублеров органически не переваривала, а еще оттого, что доводилась главному режиссеру и по совместительству директору законной женой. Внешне она выглядела старше своего возраста, и неспроста, потому что время от времени подновляла у себя в паспорте год рождения, так что, если на вид ей смело давали все шестьдесят и даже с гаком, по документу ей было всего тридцать с чем-то, - ни дать ни взять, балзаковская женщина в самом соку. С давних пор она была народной и заслуженной, но покидать сцену не собиралась и менять амплу - тоже, рассчитывая играть целомудрие до окончательного упразднения театра за его ненадобностью и убыточностью. Когда муж отъезжал в отпуск или в командировку, султанша его замещала и считалась первым лицом в театре. А поскольку муж мотался по командировкам не от нечего делать, но взыскуя славы земной для себя и своей половины, коллективом руководила жена и превосходно справлялась.

Если уж глава наша посвящена славе, кстати будет заметить, что муж был не только главный режиссер и директор, но и драматург, написавший эпохальную пьесу о счастье народа, руководимого и ведомого партией, и не просто написал, но и в театре поставил, который он по праву считал своей недвижимостью. Однако зритель на пьесу упрямо не шел. По театральному же уставу для того, чтобы спектакль состоялся, кассе надо было продать десять билетов плюс один, но даже столько не собиралось. Тогда режиссер договорился с колхозами, посулив председателям отменную мзду, и они стали возить в театр колхозников автобусами обязательно с ночевой в партере, в ложах и на галерке, а так как область по площади не уступала Франции, то и народу набивалось больше, чем нужно: и в проходах на полу сидели, и на чужих коленях, и кто где. Зато и средств по перечислению поступало больше, чем достаточно.

Проще сказать, приезжий люд в театр валил валом, и пьеса мало-помалу вытеснила из репертуара классическое

наследие. За сезон сельские дехкане почти поголовно приобщились к искусству, а многие по два раза, после чего пьесу выдвинули на соискание, а ее автора дружно приняли в Союз Писателей и воспели в периодической печати как “первую ласточку театрального возрождения”. Актеры между собой так директора с того дня и называли, - “калдыргач”, что по-узбекски значит “ласточка”, хотя он был, как две капли воды, похож на сову. Странно, что Нобелевский комитет не то легкомысленно отнесся к событию, не придав ему должного значения, не то вообще не заметил.

И надо же случиться, что как раз тогда республиканское книжное издательство выпускало многотомную национальную энциклопедию, а режиссер, помимо всего о нем сказанного, был, как и султанша, народно-заслуженным артистом и домогался бессмертия по мере связей и средств. Само собой, он не мог упустить случай войти в исторические анналы, тем более, имея при себе все права. Но что значит на Востоке право, не подкрепленное наличностью? Салам алейкум и отвали, моя черешня, - только и всего. Если даже объяснение в любви представляло собой устную гарантию материальной достаточности жениха: - “Клянусь клятвой влюбленного, имеющего капитал...”, - то в других случаях такой подход выглядел, как нельзя более органично и естественно. Иными словами, приходилось часто брать командировки и наведываться в столицу; в противном варианте задробят, затрут, ни с чем не посчитаются.

Каждой командировкой он бил двух зайцев: не оставлял соперникам шанса просочиться в энциклопедию за его счет, а их стояло на очереди в вечность по буквам алфавита больше, нежели пассажиров к кассам Казанского вокзала в разгар лета, причем особливо из науки и литературы, да все наглые, все с деньгами, совсем люди совесть потеряли, - это раз. К тому же он побаивался козней. Когда в газетах публиковалась рецензия на его пьесу, название умышленно исказили и вместо “Такдыр” напечатали “Тандыр”, так что вместо “Судьбы” получился “Казан для готовки плова”. Ну, газета все равно, что бабочка-однодневка, шут с ней, посмеются и забудут, а в энциклопедии он подобных над собой насмешек не мог позволить и еженедельно летал самолетом в центр. В типографии аккуратно набирали его букву и обещали за предоплату показать гранки, даже продать, если очень нужно. В одну из режиссерских отлучек между султаншей и Киселёвым произошло недоразумение, и он ее укусил.

Дело было так: актеры по обыкновению устроили ужин с

выпивкой. Прямо на сцене с поднятым занавесом под парадным лозунгом “Искусство требует жертв” поставили столы, до предела их нагрузив, чем положено. Если бы в тот вечер кто-нибудь глянул из зрительного зала на подмостки, он принял бы трапезу за сценическое действие по случаю свадьбы, Нового Года, еще какого торжества, - чего-чего, а праздников в стране хватало. Султанша находилась в приподнятом настроении, всячески приручая Киселёва и обхаживая. “Милый мальчик, - говорила она голосом неискушенной пастушки. - Что это вы всех стороните, как целочка, скромничаете, грустите? Будьте смелей, настойчивей. Смелость, знаете ли, города берет. Женщин, о-ля-ля! тоже берут на-шпагу. Мы, женщины, любим решительных. О том же и Чехов прекрасно выразился: “Город был взят, и желания победителей исполнились”, - ах!” Со свойственным ее возрасту опытом она хотела приголубить Киселёва, а тот, извернувшись, грызнул ей выше локтя и отплюнулся, - ему почудилось, будто мясо отходит от костей. Прима плакала и ругалась, а ей накладывали на укус коньячный компресс и советовали с завтрашнего дня ходить на уколы от бешенства. О дружбе на дому и разговора не могло быть. Ему просто указали на выход, и он навсегда покинул храм провинциальной Мельпомены.

Актеров он знал наперечет, но не по именам, а по ролям русского репертуара, сыгранным, как на его памяти, так и до того. Получался сумасшедший фарс, который актеры разыгрывали безо всяких подготовок и где не было ни начала, ни конца, ни сценария, ни смысла; пьеса длилась годами и никто не мог сказать, когда и чем это кончится хотя бы по логике вещей, потому что логика тоже отсутствовала.

Марица плюнула Фрунзе в рожу и ушла к Егору Булычеву. Чацкий во время гастролей попал в вырезвитель и был острижен под нулевку. Гамлет подзалетел на групповом изнасиловании и счастливо отделался парой лет условно. У Расплюева кто-то украл аванс, поговаривали о нечистой на руку оптимистической комиссарше. Сильва в пик новогоднего застолья до крови исцарапала физиономию цыганскому барону, и тот с неделю ходил по городу загримированный. Гурмыжская со знаменем “Вся власть Советамъ” гоняла молоденьких стажеров по сцене на почве ревности и лупила их древком. Сирано де Бержерак скончался от белой горячки. Больше всех жаль было старика Галилея, - он где-то подцепил триппер, и курс давался ему с большими слезами. Этот же недуг в разное время претерпели Плюшкин, веселая вдова и маршал Тухачевский. Социалистический

реализм превратился в “сюр”, а социалистическая действительность в зеркальное отражение “сюра”. Правда, это можно было предвидеть, когда идеология только-только намеревалась “сделать жизнь советских людей достойной нового красного театра”, а люди смеялись и не верили, зато теперь плачут, но верят.

Автора безумно-абсурдной трагикомедии так и звали: Жизнь. Этот сукин сын без спросу вторгнулся на сцену и суфлировал. Его директивное участие лучше всего показали “Моцарт и Сальери” в пушкинские дни, - это был подлинный шедевр нового искусства. Оба актера ненавидели друг друга до покушения на жизнь. Главреж намеренно остановил творческий поиск на закадычных врагах, считая, что именно так, а не иначе, они донесут жизненную правду образцов и до зрителя в зале, и до Мейерхольтца на том свете.

Стоял май месяц, было совсем тепло, и спектакли шли в летнем театре. По ходу действия антагонисты вяло переговаривались стихами и вместо секта\* пробавлялись жигулевским пивком. То ли душно было, то ли гений звуков пить захотел прежде времени - трудно решить, но, едва усевшись за клавишину, он сказал то, чего не было в тексте: - “Наливай, чего тянешь”, - и в первых рядах слышали, а остальные ряды, как всегда, пустовали. Фонограмму пустили невпопад, и пока Моцарт в полной тишине тарабанил руками, Сальери разлил напиток по фужерам. Но вместо безобидного бутафорского яда, каким должно было послужить то же самое пиво, только из другой посуды, Моцарт получил полфужера быстродействующей слабительной дряни.

Великий маэстро имел скверную привычку пить залпом до дна, не разбирая на вкус. Он хватил весь фужер разом и не почувствовал, как проскочило, после чего продолжал читать лекцию по гармонии еще минут сколько. Сальери слушал, со смаком потягивал пиво, укоризненно качал головой и приговаривал: - “Ах, Моцарт, Моцарт! Ах, Моцарт, Моцарт!” Все шло прилично, как в басне, где повар выступает с монологами, а кот ест курицу. Неожиданно Вольфганг Амадей побледнел, прервал на полуслове речетатив о гениях и злодеях, пробкой вылетел из-за клавишина, который продолжал играть сам по себе, ударил коллегу париком по лицу и с возгласом - “Ты чего мне, сука, нóлил? Ну, бляхмуха, попомнишь ты у меня день субботний!” - убежал помирать за кулисы. Несмотря на то, что пьесу не доиграли, она оставила у публики впечатление новейшей интерпрета-

---

\* *der Sekt* (нем.) - шампанское. - Автор.

ции классического наследия, и никому не было дела до автора сороковой соль-минорной, обреченного на длительное сидение в одном из тех мест, какие нам давно пора строить из чистого золота, как было обещано коммунистами задолго до революции и на первых порах после нее.

Киселёву некогда было расстраиваться из-за примы; работы было много, и он здорово уставал. Он так похудел за лето, что брюки чудом держались, зацепившись за мосластый таз, и грозили свалиться на каждом шагу. Весь город знал его в лицо и не оставлял в покое. Совершенно незнакомые люди вынуждали его улыбкой на улыбку и приветом на привет, - это раздражало и утомляло еще больше. Продавцы в магазинах отсчитывали ему сдачу до копейки. В учреждениях его называли не иначе, как "родной". Таксисты считали зазорным ехать мимо порожняком; они притормаживали вопреки запретному знаку, и шофер говорил: - "Садись и скажи, куда". Однажды он попал в качестве почетного гостя на свадьбу и ощутил, как гнетет слава человека с непривычки.

Если называть приметы и признаки в порядке очередности, все выглядело обыкновенно и скучновато. Незванным гостем через форточку в окне влетела Известность. Вслед за ней постучался в дверь Авторитет в том обличье, в каком ему у нас быть надлежит, то есть, солидный и непрерываемый. Не успела баба подолом тряхнуть, а уж Знаменитость была тут как тут. Веселая болтливая Популярность ворвалась шумно и без церемоний. Последними пришли рука об руку немеркнущая Слава и всенародная Любовь. Прощай, значит, тихое, безвестное житье. Прощайте все близкие и далекие.

Последний нынешний денечек

Гуляю с вами я, друзья,

потому как истинно прославленная личность, будучи в зените, так сказать, собственного апогея, новыми друзьями не обрастает, а старым говорит примерно следующее: - "А ну вас в болото, - никакой от вас корысти. Тоже родня, - нашему тыну двоюродный плетень". Так и надо. Друзья при подобном раскладе до того бесполезные люди, что - тьфу на них, да и то много чести.

Остается сказать, что будь Володя разбитным оборотистым малым, он, по крайней мере, взыскал бы с популярности алименты, ибо шансы у него кой-какие имелись, особенно по части общественно-политической деятельности. Но ему всегда недоставало деловой струнки и никакие турысы на колесах не могли его соблазнить на несвойственный ему

поступок. А зря. Близилась выборы в высший орган государственной власти, и в городских туалетах появились надписи, призывающие избирателей голосовать за Киселёва. Его согласия никто, разумеется, не спрашивал, да и программы у него не было, а впрочем, какая программа, когда он и без нее прекрасно знал, что делать. Будучи избран, он первым счетом без малейших сомнений явился бы в Политбюро и сказал: - "Ну, засиделись вы, ребята, как погляжу на вас. А ну, вынай ноги из общего валенка да на пенсию справа по одному, - жива-а!" Чем не программа? Еще какая!

К концу осени, когда поток зарубежных туристов пошел на убыль, Киселёва вызвали к управляющему, и Эдуард Фокич сообщил, что тогда-то, там-то, во столько-то соберется буйро горкома и окончательно рассмотрит его персональное дело.

## **Х. Расшибалочка ч. I-я**

**(Дневниковые записи Киселёва)**

**М**не отвели место в торце длинного стола, сами вдоль уселись, а где-то вдалеке, точно с обратной стороны бинокля, товарищ Аминов председательствует, и все до одного сидят, лишь я стою и стул со мной рядом, чтоб, значит, на случай чего, одной рукой за сердце, другой за стул. Мне-то легче: и сердце в пределах, и пришел только-только, а они с утра гужуются, да натоплено - яйца взопрели, благо, что мой вопрос вроде кофе с ликером на десерт, как порядок обязывает: принимать в партию первым делом повестки дня, а выгонять в последнюю очередь. Персональные дела они страсть как любят, особливо, когда мужик с бабой промеж себя главный вопрос решают, а им тоже дай подержаться и потому ограничительного регламента при разборе таких дел не бывает, что надо понимать, - не перечь азарту и бей лежачего, пока из-под него жидко не потечет. Интересно бы узнать, сколько они народу перевели и сколько душ пропащих на их партийной совести - миллион? два? три? Страна-то глазом не окинуть до того большая, и каждый десятый гражданин - член КПСС.

Сперва меня норовили застрашать: сознавайся, разоружайся, повинись на коленях да самокритики побольше, а они поглядят, достоин ли я снисхождения, и если нещадно буду сам на себя клепать и возводить напраслину, если беспрекословно стану им потакать-поваживать, кой-какая надежда у меня есть, но если, борони меня Бог, начну огрызаться и отгавкиваться, тогда мне окончательная хана,

так как я не только враг советской власти, но и самому себе, чего они допустить не могут, поскольку призваны меня спасти. Это одна видимость, что они против меня, на самом же деле они все “за” и готовы смилостивиться, если я устрою перед ними этакий “шахсей-вахсей” со стриптизом, потому как повинную голову меч не сечет. Они так меня убеждали, что я за малым не сознался по перечню предъявленных обвинений: будто я законченный оппортунист и ревизионист, наслушался чуждой пропаганды, сознательно превратился в подонка, рад стараться на любое предательство, если хорошо заплатят, и, сверх того, отъявленный развратник, уличенный в блядодеяниях с гражданкой капстраны, которая агент, она же меня и завербовала, а первичная парторганизация прозевала меня, приняв за своего, и если бы не горком, которому большое спасибо за то, что вовремя раскусил, что я за птица за такая, и пресек мое вредительство после того, как я всех запачкал, столько вреда принес и такой пагубы натворил, - да мне не в партии состоять, а на перекладине качаться, ногами земли не доставая...

Я слушал “делириум тременс”\* двадцати с лишним ряженных и помалкивал. Незадолго до того Сергей Николаевич настрого предупредил меня не вступать с ними в словопрения и не залупаться на-характер, потому как им только это и давай, а уж ловить они будут и на блесну, и на живца, и переметом, и всяко. А еще не заикаться насчет мемориала; первыми они на это дело не пойдут, поскольку огласка не в их интересах. Но если я начну с ними тягаться, мне каюк: увяз коготок, всей птичке пропасть, а шить политическую нахалку они еще как умеют, - тогда мне придется доказывать, что я не идиот, и делать это на полном серьезе. Я и сам догадывался, что мне несдобровать. Разминка кончилась, процесс пошел. Но прежде, чем мне вымотают кишки, выбьют бубну, доведут, допекут, дошкулят и поставят бить челом, вымаливая прощение, попытаюсь вкратце объяснить, что такое партийная тусовка на уровне городского актива. Это сход умных взрослых людей для принятия глупых несбыточных планов, сумасбродных проектов, вздорных предначертаний и зловредных постановлений по схеме “ум хорошо, два хуже”, и не было такой глупости, за какую они не проголосовали бы поголовно и утвердительно, если им приказывали сверху.

Я их пересчитал, получилось очко-нечет. Так требует устав на случай голосования, поскольку середки на половин-

---

\* *Delirium tremens*, лат. - бред, белая горячка от пьянства. - Прим. ред.

ке они не признают, а то над их важными решениями народ будет смеяться, как над футбольной ничьей, - победила, мол, дружба, которая в их расчеты не входит, и друзья из них разве что навстречу с топором. Да еще двое отсутствовали: шеф "Интуриста" Эдуард Фокич был занят переговорами с иностранным фирмачом, а режиссер, на мое счастье, из командировки не поспел ко времени, - вот кто раскатал бы меня в вальцовку и крыть нечем. Ну, что я скажу? что моя жена блядь театральная? Подловят меня на мякине, и прощай хозяйские горшки.

Для затравки напустили на меня Гутина. Его выступление напоминало гремучую ртуть: на букве "рцы" он рычал, на "хере" отхаркивался, на "глаголе" хрипел, фамилию мою держал под ударением на первом слоге, а также фыркал, шипел, подсвистывал и сморкался. Эмоционально его спич был через край насыщен, но изобразить его орфографически нельзя, как нельзя в точности написать фамилии двух польских чудаков: пана Фьюитиньковского и пана Тпрутинькевича. Поэтому, елико можаху, попытаюсь выразить непрос্তু эту речь кириллицей за неимением иных средств. Но прежде несколько слов об ораторе.

Мы были знакомы, хоть и не настолько, чтоб головой за него ручаться, но в общих чертах рекомендовать его я бы мог. Серьезный деловой товарищ, обличьем на Кирова смахивает, но в жизни всего достиг не обличьем, а смекалкой и прозорливостью, причем, самое главное, вовремя догадался в партию подать, - в сорок втором на передовой туда записывали со слов, на-чоx и без провололочек. И не прогадал, потому как через год уже обретался дома по локоть без руки, две медали на груди, партбилет под сердцем. По первах устроился сторожем на мясокомбинате и после дежурства приносил семье в холостом рукаве килограмма по три баранины или говядины. Дело стоило того, чтобы отказаться от протеза еще и потому, что пустопорожний шланг давал возможность заявить о себе энергичным взмахом, и это выглядело со стороны довольно впечатляюще хоть в частном разговоре, хоть на партсобраниях. Путь от сторожа до директора он проделал форсированно, был вписан в номенклатуру обкома и получил от горожан прозвище колбасника. Медалями не щеголял, зато каждый свой шаг по восходящей отмечал новой орденской планкой, а когда добрался до верхотуры, на его грудь в развороте за столом президиума любо было глядеть.

К концу пятидесятых годов в стране произошли некоторые послабления, и об одном из них мне поведал капитан

госбезопасности Мнир Павлович Солохин. Вскоре после смерти Сталина совгражданам разрешили групповой выезд за рубеж с целью туризма и отдыха, но чуть раньше того в органы поступил совсекретный циркуляр о том, как должно понимать столь беспрецедентный либерализм, - слишком уж велик соблазн, а вдруг какой-нибудь серьезный и задумчивый на Запад дернет, что тогда? А вот что: ты за него подписью поручился? - поручился; ответственность на себя принял? - принял; ну, так отсиди положенный срок - и все. В нашей стране человек дороже золота, - чужой головы не досчитался, свою положи для ровного счета. В общем, читали, читали и никто ничего толком не понял, так как по бумаге требовалось не пущать за границу шибко умных, больно грамотных и беспартийных, а также дураков, дебилов и всяческих раздолбаев, стукнутых из-за угла мокрым мешком, - им же и закон не писан. Остальных можно под личную ответственность.

Полковник созвал круг лиц на доверии - зама, парторга, начотделами и задал тон: - "Бой в Крыму, все в дыму, ни хрена не видно. Сбрендили они там, что ли? Много неясностей: и замуж велено, и невиновность\* сохранить. Что же получается? Умных нельзя, мудаков нельзя, а кого можно? Да несерьезно это. Где их брать, невиновных, когда слово "Девушка" по всей стране с большой буквы пишется? Туману напустили, а конкретно фуй да ни фую". "А Гутин?" - предложил кто-то на-выдержку. "Отрежь мне левое яйцо, - засмеялся другой, подумав самую малость. - Гутин железно не подкачает. И с анкетой порядок: сын батрачки и двух рабочих. Я бы на него поставил". "Минимум риска, - отозвался третий и возвел тезис в систему. - Дурак-то он дурак и образование пять классов по два года в каждом, короче, десятилетка. К тому же калека, - это тоже надо учитывать. Вывод: одно к одному и все в нашу пользу. Кому он нужен? Кто на него клюнет? Да он и сам себе на уме. Чего ему там делать? От добра добра искать? Кто ему предоставит возможность вагонами красть и на мышей списывать? По-моему, верняк-дело". "Добро, - согласился полковник. - Так тому и быть, чтоб не перетакивать: можно-то можно, только осторожно. Под личную ответственность каждого, предупреждаю".

И поехал Гутин в круиз да еще Малашку свою гунявую прихватил сопли горстями по Европе раскидывать, а вернувшись, выступил перед коллективом и понарасказывал о капстранах сорок бочек арестантов: и то у них не так, и это,

---

\* Полковник профессионально зарпортовался, приняв невиновность за невинность. - Автор.

к тому же безработица кругом, трудиться некому, только слоны слоняты да в ресторанах штаны просиживать, одни бандиты с проститутками по нужде работают и дорого все: палец перевязать - гони сто долларов, кормежка на пару зубов, чтоб не зажирел, словом, больше он туда ни за какие барыши, пусть кого другого посылают. Но партия говорит "надо", коммунист отвечает "есть", пришлось-таки ехать и раз, и два, и так далее, потому что сделался он абсолютно выездным и во многих странах побывал то с группами, то с делегациями, то в отпуск, то подлечиться, в общем, ездить ездил, но мнения своего о капитализме не переменял, - что значит патриот! У него и речь была патриотическая, добротная, густопсовая.

- Товарищи коммунисты! Не буду вас много задерживать, скажу по-народному: не нужен мне берег турецкий и без Африки живы будем, не помрем. Эхто чижолая обязанность, товарищи, разбирать персональных дел, наказывать коммуниста, тем боле, сключать. От эхтого я повсегда страдаю сам, сочувствую страдающим, даже болею постельным режимом, не могу покоя найти, совесть заедает, что страдающий критикованный товарищ мог-быть обиделся и плохо на меня подумал. Но сегодня, товарищи, на моей улице взошел вешний праздник, сегодня я буду спать без задних ног и разноцветные сны наблюдать, сердцем не мучиться, с веселым настроением заявлюсь на работу к приступлению своих руководящих обязанностей. А вы у меня спросите: почему ты, товарищ Гутин, заявляешься в коллектив с таким настроением, в чем дело? Дело в том, товарищи члены буйро, что я ноне увидал, кто есть настоящий враг народа, на каких у меня нет жалости и не будет. Вы, конечно, можете благодарность ему объявить, дело ваше, а я предателей фициально не уважаю и призываю ослобонить его из рядов, как мне стыдно дышать с такими. Я вот думаю со слезьми на глазах, что же нам скажут погибнувшие фронтовики, которые беспощадно погибали? За что? Чтоб такие, я извиняюсь, абортунисты продавали на все стороны советскую власть? Да добро бы кому, но чтоб иностранным прости-Господи? Не будет эхтого. Не-бу-дет! Так и попомни, Киселев, не будет твоего дела. Думаешь, ежли повезло за натовскую перемышку подержаться, так теперь всю жизнь такая пойдет Евпатория? Ошибаешься. Недаром говорят, - одну ночь с ей провозился, а чего утресь получилось, сами знаем. Эхтого надо было догадываться. Преступникам на сто верст не место в партии, а место на великих стройках железные дороги прокладывать.

Скажи нам, Киселев, чего ты не имел? Какого тебе не хватало? Квартира, работа, семья. Тебя, предателя, партия вырастила, как цветок: одела, обула, ихнему языку обучила, а ты ей в патефон насрал заместо спасибо. Где б ты эхтого достигнул? Нигде. На кого ты законную жену променял? На агента иностранной разведки. Ей платье на голове завязать да прокатить по Америке, а ты... дурак, где твои были глаза. И что интересно, бывший партеец Киселев, как эхтой шалаве встретил пистона, так сразу и на развод подал. Понятное дело, какой разговор с завербованным? Как же так, товарищи, что всякая тварь отирается с нами в одних рядах? Кто ему дал право нарушать закон и святое имя? Вот гляжу я на него и наскрозь вижу, что гад и изменник родины. Кто ему только рикиминдацию дал? Да ему не рикиминдацию, а такой от ворот поворот, чтоб пятки скипидаром чesались.

После Гутина слово дали кандидату наук из политехнического института, забыл, как его, короче, физик. Этого я лишь-лишь в лицо знал да по разговорам, - читает, мол, студентам "Теорию машин и механизмов" и без полусотни в зачетке сдавать к нему не ходи, хотя мне он не нравился не за то, что сволочь, а за то, что физик; не терплю физиков, самые неинтересные люди, по-моему. Нам когда читали курс английской литературы, называли одного поэта, который о луне мадригалы слагал, пока физики ему не растолковали, что она собой в действительности представляет, после чего тот бросил луну и ударился в сантехнику.

Мне также не понравилось, что он называл меня молодым чеком. "Молодой чек, - говорит. - С весны наслышан о ваших подвигах и долго не верил, что вы пошли на ЭТО. Но слухи стали подтвержденными преступными фактами, а за преступлением что? Наказание, таскать, да! Вы удивлены? Ну, еще бы! Так недооценить партию, - я солидарно удивлен. Решили, что все шито-крыто, как в студенческой песне: "Я люблю, но об ЭТОМ никто не узнает". Узнали, молодой чек, узнали. Не следовало вам забывать, что изо всех наших чувств важнейшим, таскать, является бдительность, а вы, утратив ее, поступили, как беспартийный малограмотный колхозник. Нехорошо, молодой чек, нехорошо".

У институтских преподавателей есть наработанный навык закреплять схематическую выкладку практическим примером. Событие физик привел давнишнее, что называется, "с бородой", но интересное, и касалось оно еще одного физика. Тот вел курс "Теоретической механики" в том же политехническом, тоже был кандидат, а дочь училась в сто-

личном институте. Если взглянуть на это дело спустя рукава, так пусть бы и училась на здоровье, но при чувстве бдительности следует категорически отметить, что в одно время с ней в той же Москве, только в другом институте, обучался студент из ФРГ, чтоб ему пусто было. Тут уже потянуло запретным международным интимом, и физик заметно оживился. “В общем, тэриши, - сказал он, не теряя пшютовского тона, - спутались они, расслабились и допустили антисоветскую близость, а ЭТА особа легкого поведения, которая, к нашему общему стыду, комсомолка, вместо того, чтобы думать о стране, о борьбе за мир, ну, в крайнем, таскать, случае о предстоящей сессии, думала, извините за выражение, о фуях и пряниках, а больше ни о чем”.

Ко времени моей экзекуции непарламентские выражения широко-вольготно употреблялись на партийно-советских заседаниях без каких-либо оговорок или извинений, привнося в атмосферу косности демократическую струю казармы и забегаловки, не столь отменяя нравственность законодательно, сколь низводя ее к тому уровню, на каком стыдиться или смущаться уже не приходилось. Поэтому я продолжаю повествование косвенной речью, где у меня больше выбора и свободы. А у студенческой парочки пошла полоса сплошных неприятностей. Конечно, до поры до времени оба блюли тайну, но когда скрывать стало нечего, подали в ЗАГС, - все так и ахнули. Кинулись поправлять ЭТО, а как его поправишь на пятом месяце? Комсомол спал, партбюро институтское сплетнями занималось, воспитательная работа была в забросе, их за то здорово перешерстили, кому “орел”, кому “решка”, - после драки махать кулаками всяк мастер. Немцу для профилактики несколько “темных” организовали, чтоб уматывал в реваншистский фатерланд, студентке анонимно обещали при распределении закатать в тартарары, если хахаля своего не бросит, но на большее не рискнули, потому как посольство было в курсе и шумок поднялся нежелательный, короче, перестали ЭТИМ заниматься, но имея досуг, обратили пристальное внимание на родителя. Он, к слову заметить, беспартийный был, но партии до всего дело, а беспартийные такие же люди, о них тоже надо заботу поиметь. Вызвали его в партбюро и по-добру поговорили: - “Как же вы, - спрашивают, - молодежь будете воспитывать, если родную дочь не сумели воспитать?” Он все сразу понял, не стал возражать и уволился по собственному желанию, а как у нас безработицы нет, то устроился в котельной и трудился, пока на пенсию не вышел.

По аналогии с приведенным примером до меня дошло, что мое исключение из партии, как и увольнение с работы, давным-давно решенный вопрос, - к такому повороту событий у меня было время привыкнуть, но физик дал понять, что это еще не все. "Чем на нас обижаться, - говорит, - вам, молодой чек, лучше бы признать, что гражданка Соединенных Штатов не по своему желанию, таскать, с вами бурную ночь провела, а потому что вы ее заставили. А ЭТО у вас надо спросить, как. Чего вам стоило поприветствовать ее да поддержать без кислорода, а остальное, таскать, дело техники. Нам ведь важно что? Прав-да! Если чек чистосердечно идет нам навстречу и признает, что он неправ, партия ЭТО учитывает и гуманно облегчает, таскать, участь бывшего своего члена. Но если он упирается против большинства, тогда у партии, таскать, другие оргвыводы. Вот вы упираетесь, а я бы вам не советовал. Вы просто не знаете, что у нас свидетели есть, да, да, да, которые и видели, таскать, и слышали, и на ус мотали, как она сопротивлялась, не хотела, на помощь звала, пока вы ей рот не зажали, - а вы говорите! Свидетели у вас есть? Конечно, конечно, откуда ж им взяться? Значит, нету. А ведь отвечать-то вам, молодой чек. Но как же вы оправдываетесь в отсутствии свидетелей без нашей помощи. Прежде не думали, подумайте, таскать, пока время терпит".

Это была серьезная опасность, но раньше, чем испугаться, я ощутил сильный внутренний дискомфорт. Массовых расстрелов уже не было, но от суммы и от тюрьмы у нас, как всегда, никто не гарантирован, и я знал, что мои партийные истцы вольны сделать со мной, что захотят. О процессах по диссидентам тогда мало кому чего было известно, зато я был в курсе, как сварганили "дело" Ёрки Моторина года за три до того. Явились с обыском на предмет "там-сямиздата", переворошили квартиру, ничего не нашли, приобщили к акту кухонный ножик, и пошел парень отбывать срок по статье за незаконное хранение холодного оружия. Найдя в обоих случаях много сходного и осознав, что мне светит статья за изнасилование, я в прямом смысле едва не напустил в штаны и срочно попросился в туалет. Я оробел, сдрейфил, перепугался, но мне очень не хотелось наблюдать "Всюду жизнь" из вагонзакла или из зоны. Лев Николаевич, пища "Воскресенье", сожалел, что ему не улыбнулось в тюрьме посидеть для разнообразия жизни, но тогда и тюрьмы были почище, и народу в них не в три смены спать, а кормили сытней, - попробовал бы он в лагере усиленного режима социалистический опыт перенимать, так неизвест-

но, чем бы оно кончилось, “Воскресенье, день весенний, нельзя в поле работать”.

Вернувшись к столу, я увидел перед собой совсем другие физиономии: они потеряли ожесточенность и посмеивались. Вероятно, я их расположил к себе тем, что натурально мог обосраться и провонять шикарный кабинет “тэрища” Аминова. Во избежание подобного конфуза они сменили пластинку и заявили профсоюзную даму Халабуду, - ее-то я знал получше, чем физика, так как по их линии тоже приезжали иностранные группы и их приходилось обслуживать, поскольку штатными гидами облсовпроф не располагал.

Но прежде всего дальнейшего должен вам признаться в любви к белорусскому языку; не к испанскому, не к итальянскому, не к фарси и не к японскому, а именно к белорусскому. Мне трудно найти среди славянских языков и наречий столь экологически чистый говор, как у белорусов. Это скорее явление природы, чем язык, потому что больше напоминает собой разговор реки с берегом, ветра с лесом или птиц с утренней зарей, и оттого не берусь сказать, чем он изобильней: звоном ли золотой и серебряной казны или соловьиными оттяжками и отточиями. Мне этот язык по милу люб не только на слух, но и на вкус, когда я, резвясь, перелагаю родную поэзию на белорусский златозвон.

Как часто мог он лицемерить,  
Таиць надежду, ревноваць,  
Разуверяць, заставиць вериць,  
Казацься мрачным, изнываць...

или:

Уйдзи, Пцибурдуков, цебя я презираю...

а то и проще того:

Город Вицебск.

Не могу сказать в точности, за что он мне так по душе. Конечно, наши симпатии личны и относительны. Ну, что мы знаем о польском президенте Пилсудском и о “пилсудчиках”, к слову спросить? То, что нам советская власть позволяла, а уж она ненавидела этого человека до зубовного скрежета, и я, естественно, в тот же след. Но однажды мне довелось узнать, что пан президент на досуге предпочитал родному ползучему шипению звонко подкованную белорусскую речь, и Пилсудский стал мне симпатичен, как человек, с которым у меня общие взгляды на филологию, а возможно, и на вселенную.

Подобное тому не редкость. Какая-нибудь мелочь, ну, сущий пустяк, до того трогает наши чувства, что они стано-

вятся сами себе враждебны. Сызмалу меня воспитывали на любви к революциям и на оголтелой непримиримости к монархиям. По причинам программной заданности я, разумеется, обожал Робеспьера и терпеть не мог Людовика Шестнадцатого. И вот что я о нем случайно вычитал, - нет, никогда телевизор не заменит книгу, по крайней мере, для меня, - и какая со мной странная штука приключилась. Короля уже ложили под нож гильотины, и он вдруг попросил палача повременить, а чиновника - узнать, нет ли каких новостей о Лаперузе. Чиновник сошел с эшафота, перемолвился с членами Конвента, вернулся и сообщил, что об адмирале ничего не слышать. Король скорбно вздохнул и бестрепетно вложил голову в деревянный ошейник. Я запомнил его последние слова и долго над ними думал. Казалось бы, какая ему разница, какое дело до кого б то ни было в последнюю минуту жизни, а вот поди ж ты! Не все, стало быть, со смертью кончается, кое-что и остается. Тут не только сочувствие-соучастие, но и смена ориентиров; Лаперуз мой любимый мореплаватель, а Людовик Шестнадцатый имел самое прямое отношение к последней его экспедиции.

Находясь как-то в Петропавловске-Камчатском, я наудалую набрел на довольно большой кусок скалы, мертво схваченной якорем и вперехлест объятая цепью, а по скале краской и неровными буквами: "Памяти Лаперуза". Это был самый живой памятник, какой я только встречал; остальные по сравнению с ним отдавали мертвечиной и воскрешали в памяти пушкинские строчки, - "не стая воронов слеталась на груду тлеющих костей". Я так обрадовался, что повел себя несколько экстравагантно и был отмечен людьми, там находившимися, которые посмотрели на меня недоуменным взглядом. Конечно, откуда им было знать, что нас трое: адмирал, король и несостоявшийся якобинец.

Надеюсь, я объяснился основательно и вы меня поймете, что стоило мадам Халабуде сказать: - "Позвольте мне", - как у меня ёкнуло сердце, захотелось развалиться в кресле, выпростав ноги во всю длину, закрыть глаза и слушать мечтательно, с упоением, не перебивая...

- Знаеце, Киселёв. Я вот пытаюсь вас понять как женщина мужчину, и - убейце меня! - не могу. Что вас в ней прельщило? Интересовалась, - может, кинозвезда или королева красоты какая. "Что вы! - говорят. - Курица ошипанная и больше никто. У нас таких даже официантками не принимают, разве уборщицами". Мы никто и вериць не хоцели, как узнали. "Да нет, - говорим, - не может этого быць, это какой же вкус надо имець, чтобы решицься на такое радзи че-

го, не знаю". Уж было бы что стоющее, - я правильно говорю, товарищи? - было бы, я говорю, что стоющее, Лола, будзем говориць, Бриджида или Дзина Дурбин, в общем, неважно кто, но чтоб на нее посмотрець было приятно, - ну, тогда еще допусцим. Не мог человек бороться с собой. Поцерял самоконтроль. И страсть овладзела им. Признайцець, Киселёв, на откровенносьць: вы страстный?

Этого мне еще не хватало. Никогда не интересовался да и меня сроду никто о том не спрашивал, принимали, как есть, а эти на меня уставились и ждут картинку. Время уходит на паузы. Мертвая тишина. Я собрался с мыслями и нарушил ее нормальным ответом: - "Когда как". Они взорвались хохотом и стали выглядеть, как запорожцы, пишущие письмо турецкому султану, а пересмеявшись и вытерев глаза, впервые посмотрели на меня дружелюбно и доброжелательно. Я не собирался ни смешить их, ни подыгрывать, но вышло так, что я набирал очки невзначай по восточному принципу: "Мудрый побеждает неохотно". Присутствуй здесь Сергей Николаевич, он бы наверняка отметил, что я веду себя очень грамотно, тогда как я здесь ни при чем, все складывалось само собой да милостью Провидения.

- Так я и думала, - возобновила разговор мадам Халабуда. - Безусловно, ни о какой страсти и речи не может быць. Просто вам понравилось, что она иностранка, ездзит, куда захочет, хорошо получает, работает в строицельной организации... А вы не задумывались, Киселёв, что вас обманывают? Что она совсем даже не там работает? Нам вот стало известно, что ваша подруга абсолютно в другом месте трудзицся. Да, да, да, не удзвивляйцець. Нам, к вашему сведзению, много известно. Мы ведзь тоже немного разбираемься и кой-чего понимаем. Но не буду вас интриговаць и сообщу настоящее место ее работы, чтоб вы знали в другой раз, с кем связывацься. Пен-та-гон! Да, да, да! Тот самый, откуда дзиверсанты всех масцей. И вы, Киселёв, ей очень помогли. Она вас еще не благодарила? Как же так? Получила за вас куш и не подзелилась? Ну и ну! Так вам и надо по закону джунглей. А вы ей доверились. Эх, вы! Да какое же вы имели право?

- Никакого, - подал голос незнакомый член буйро, которого я про себя назвал "бежевым в полоску".

- Какое имели право, - повторилась мадам, прибегнув к усугубленной риторической фигуре, - вы, коммунист, вериць этой, как ее правильно охарактеризовал товарищ Гуцин, заокеанской потаскухе? Гдзе была ваша бдзицельносьць? Гдзе парцийная ответственносьць? Гдзе? В заднем

кармане брюк? Нет, товарищ Киселёв, партии с вами не по пуци. Мы тоже не какие-нибудь сидзим дзеревья бесчувственные, тоже людзи, тоже мужчины и женщины, у нас тоже бывает всякое. Но мы преждзе всего коммунисты, и это главное. Если бы мы шли на поводу личных симпатий или естественных потребностей, наша партия, великая лелинская партия, давно бы перестала существовать. Потому нам так дзико все это. Я хоцела бы, товарищи, от имени всех и каждого задаць Киселёву еще одзин вопрос. О чем вы думали, отвецьце, пожалуйста, когда вступали в связь с этой развратницей из-за океана? Вам любви захоцелось, да?

Лучше бы мне промолчать, но я забыл, что слово серебро, а молчание золото и ответил двумя вопросами на один: кто ее не хочет? и что в ней плохого? Последовал шквал возмущения. Кто-то застучал кулаками по столу. Бежевый в полоску закричал: - "Чего он тут проповедует?" Головогрудый в голос ответил: - "Не знаешь чего? Американскую бордель!" Завженотделом Расулева упрекнула меня непонятно в чем: - "Это не ваш заслуг, а весь коллектив!" Гутин, помеваая холостым рукавом, обратил ко мне взгляд, полный бенгальских огней, и выдал что-то невразумительное. Мадам Халабуда ощерилась, как настоящая Кармен, точно спеть собиралась: - "А-а, ля казерн!" - а исполнила совсем другое: - "Вы только глянце на этого наглеца, он еще оправдывается!" Секретарь горкома Аминов беспрерывно трезвонил в настольные "Дары Валдая", домогаясь тишины и порядка. Когда гомон улегся, замредактора областной газеты Женька Таранец сказал, предосудительно ухмыльнувшись: - "Ну, мораль у вас, Владимир Георгиевич. Прямо на степенъ Оксфорда... Если бы все так рассуждали, знаете что было бы? (Джураеву) Нури Джураевич, будьте любезны, объясните ему, что такое любовь и что такое Советская власть, а то он путает две разные вещи". Просьбе вторили возгласы: "Просим! Просим!" и "Где раки зимуют!" Напрасно я с ними связался, лучше бы промолчать, - черт меня дернул.

Лелинец Джураев встал и раскланялся. Затем воздел очки, достал самодельный цитатник и стопку газетных выкроек. В отличие ото всех он говорил стоя, - сказывалась привычка к кафедре. Мне этот начетчик нравился. Чувствовалась в нем мягкость, обходительность, безобидность, хотя слушать его было в высшей степени трудно. Вначале он зачитывал цитату и тотчас оповещал: - "Кавычки. Лелин. Том. Глава. Страница. Издание. Год. Москва". На второй цитате я клюнул носом и поплыл вбок, а встряхнувшись, увидел, что члены буйро организованно кимарят, пустив под лоб

глазенапа. Набравшись смелости, я, как бедный родственник, тихонько опустился на краешек стула и как ни в чем ни бывало вскочил, едва Нури Джураевич закончил выступление словами благодарности за внимание.

Тогда же меня осенило, что если вождь угнетенного человечества в самом деле останется в веках, то будет жив лучшей своей частью, как радикальнейшее снотворное средство на сон грядущий. К вящему удивлению человек дальнего будущего четче всего просматривается с томиком Лелина в руках. Вот он устроился на ночь в постели, вот раскрыл книгу наобум-лазаря, вот книга, спустя полминуты, валится наземь, а свет автоматически и постепенно гаснет, дабы не потревожить уснувшего. Я серьезно. Когда человечество ужрется доотвала снотворных химикалий, оно оценит труды Владимира Ильича по достоинству. Никаких Америк: все пройдено, все проверено, и не так давно. При Екатерине Второй, к примеру сказать, придворный лейб-медик исправлял по совместительству должность цензора. Это был начитаннейший человек, потому что в его обязанности входила подборка литературы для прочтения императрицей перед сном августейшего здоровья ради. Две профессионально различные отрасли были в России слиты воедино после того, как матушка-государыня жестоко перестрадала бессонницей, прочтя радищевское "Путешествие". Подумать только: придворный врач был единственным на всю страну цензором. Конечно, конечно, долго так продолжаться не могло, и в дальнейшем дела пошли круче. Зато какая идея!? Лелин и Парацельс. Медицина и художественная литература. Искусство и пищеварение.

Виват, Россия!

Виват, драгая!

Виват, отчизна!

Виват, благая!\*

После выступления Джураева в кабинет принесли чай, лепешки с миндальной халвой, дыни и виноград. Был объявлен получасовой перерыв, а мне приказали погулять в коридоре. Первое действие мелодрамы закончилось со счетом два-один в мою пользу.

## **XI. Сказка про белого бычка и страсти по коридору**

**(Дневниковые записи Киселёва)**

**Я**, верно, никогда не избавлюсь от упрощенного взгляда на такие понятия, как избранность писателя и исключи-

---

\*Стихи В.К. Тредиаковского. - Прим. авт.

тельность его творчества. По-моему, работа, как работа, а постулат об одаренности сформулирован еще Цицероном, который, целясь в риторику, попадал также и в литературу: - “Чтобы красно говорить, надо всего лишь знать предмет разговора, уметь правильно построить фразу и не врать”. Третье условие постулата очень важно. Стоило Главлиту наложить свою грязную лапу на закон всемирного творчества, изъяв из него отрицательную частицу “не”, и вы знаете, чем это кончилось: из десяти тысяч членов Союза советских писателей сохранился на памяти едва ли десяток тех, кто вопреки центральным директивам дерзнул “не врать”.

Оставшиеся два условия общедоступны и легко выполнимы. Вещь пишется просто и свободно, когда она основательно продумана, и не пишется вовсе, когда автор сел за стол, чтобы сотворить нечто литературное по заказу благотельного начальства или по наитию свыше. Писательский инструментарий среди всех мыслимых ремёсел проще не может быть: карандаш и лист бумаги. Как тут не помянуть добрым словом Коста Хетагурова, у которого на процессе изъяли кинжал, сочтя таковой не частью национального костюма, а холодным оружием, после чего он обратился к суду со словами: - “А у меня еще есть!” - и показал карандаш. Техника ремесла тоже не Бог весть что: изложить сюжет, придать ему определенный толк и вызвать посторонний интерес, - обычное дело в рамках журналистики. А вот передать волнение речью, воздействовать на органы чувств и заставить человека читать текст по горизонтали всегда считалось мастерством высшего художественного порядка.

Я был очень взволнован, когда вычитал из “Хадиса” в переложении Васифи рассказ, который навсегда остался при мне. Попадись он вам на глаза, вы бы его тоже запомнили, но у вас мало шансов, так как третья книга по степени важности в мусульманском мире после Корана и Шариата в русском переводе не издавалась, и напрасно. “Хадис” - сборник истинной поэзии, несравненной красоты и большой мудрости. Не могу себе отказать в удовольствии поделиться с вами теми же чувствами, какие я тогда сам испытал.

Однажды к Пророку Мухаммеду приблизился некто и сказал: - “Пайгамбар (что значит “Пророк”), у меня бездна грехов: я зол, мстителен, развратен, несправедлив. Я обсчитываю, обманываю, краду, не возвращаю долги, курю терьяк, пью вино и развратничаю с блудницами. Я не почитаю родных, бросаю детей, предаю друзей, убиваю за плату и не верую в Аллаха. Отрешиться ото всех пороков разом у

меня не достанет сил. Назови мне, какой полегче; может быть, я с ним справлюсь". "Хорошо, - ответил Пророк, - для начала перестань врать". "Ну, это легко, - обрадовался примитивный атеист. - Я постараюсь". Однако вскоре он понял, что сказать проще, чем сделать. И еще понял, что всякая ложь от жизни заводится, и быть правдивым человеку удастся лишь в том случае, когда врать и обманывать других ему нет никакой надобности. Поскольку же все людские пороки до одного оказались производными ото лжи, ему пришлось резко переменить всю свою жизнь и собственным умом сообразить, что ложь есть мать всех пороков, а тот, кто ее преодолевает, воочию видит, как вместе с бесстыжей распутницей гибнет целый выводок ее богомерзких чад: кривда, злокозненность, коварство, вероломство, смертоубийство, подлость, зависть, стяжательство, жестокость, лицеприятность, разврат и даже лень, которую по ошибке считают матерью всех зол.

России в этом смысле везло меньше других, и за всю ее историю не нашлось правителя, что положил бы предел вопиющим неправдам в стране. Даже напротив: ложь, малопомалу прирастая, сделалась необходимой, полезной и прибыльной, а при Советах она стала нормой жизни. Партия и правительство беспардонно обманывали народ, который платил им той же монетой. Все поголовно лгали друг другу в глаза, и никто ни во что не верил: ни в совесть, ни в Бога, ни в коммунизм, особенно, в коммунизм. Да и как в него было верить, когда люди прозрели, проморгались и поняли, что их дурачили на ровном месте, провели на мякине, обвели вокруг пальца и натянули огромный нос, а они ждали и ждали, разина рта, развесив уши, ровно дети перед фотографом: сиди, знай, тихо, смотри внимательно, сейчас у дяди из коробочки вылетит птичка-невеличка, коготок востёр. Но вместо нее высунулся ядрёный загогулистый шиш и не оставил надежды, что птица счастья когда-нибудь вылетит и возвестит долгожданный коммунистический разгуляй, жизнь просторную.

Все реки мёдом потекут,  
Конечно, в берегах кисельных,  
А сверху мёда поплывут  
Большие кринки сливок цельных.

В урочный час прольют дождём  
Горячий чай и кофе рядом  
С парным, понятно, молоком,  
И будет сахар падать градом.

Для мужиков везде пойдут  
Из каши гречневой болота,  
А кочки луком порастут, -  
Закусывай, кому охота.

Вдали воздвигнется хребёт  
Из мягких масс ржаного хлеба,  
А сверху хлеб тот, словно лёд,  
Покроет масло вплоть до неба.

С хребта прелестный будет вид, -  
Глазам представятся два моря:  
В одном сивуха забурлит  
Уж, разумеется, не с горя,

В другом отличный кислый квас, -  
Ликуйте Васьки, Ваньки, Федьки, -  
У скал запенится, крутятся,  
А скалы будут все из редьки.

Для баб, а пуще в тех видах,  
Чтоб не орали ребятишки,  
Везде появятся в борах  
Грибы из вяземской коврижки.

Кругом такая благодать,  
Как будто после доброй порки,  
И самый воздух, так сказать,  
Пронзится запахом махорки...\*

Мне больше по нраву правда. Она бескорыстна, непорочна, добротна, надёжна, долговечна, можно даже сказать, что она так же бессмертна, как сам Господь Бог, а ложь скоротечна, краткосрочна, подла, своекорыстна, неприлична и противна здравому рассмотрению. При всем том не было в Союзе человека, в чью жизнь она бы не вторглась без спросу и не испоганила бы ее, сделавшись своего рода самоценностью, собственностью, недвижимостью, тайной за семью печатями, от сохранности которой зависит все: мнимое благополучие, скудный достаток, подобие налаженного бытия и существование близких. Собственно говоря, я не встречал в своей жизни простаков, кому было бы неизвестно, что правда в нашей стране чревата, рискованна и смертельно опасна.

Дело в том, что у меня, как и у Сергея Николаевича, бы-

---

\* Стихи Скитальца. - Авт.

ла своя тайна или, понятней сказать, скрытая правда, а если уж мысль изреченная есть ложь, то утаенная тем паче. Нет, нет, никакой уголовщины ни по жизни, ни по закону, ни в автобиографии, ни в листке по учету кадров, - там я, как стеклышко, что свой, что передовик, что образец, что кругом шестнадцать за вычетом сущего пустяка: со дня совершеннолетия во всех бумагах я показывал, что на оккупированной территории ни сном, ни духом не проживал, тогда как на самом деле прожил без малого два года. Оно, вроде бы, и беда невелика: война началась - мне десять лет стукнуло, война кончилась - я стал на четыре года старше, - какой с меня, подростка, спрос?

Отец мой был ёрзок на руку и скор на слово, потому что думал более здраво. Я как раз готовился поступать в кадетское училище, именуемое тогда спецшколой военно-воздушных сил, и у меня уже был паспорт, стало быть, время затрещин, подзатыльников и ремней минуло, но родительского напутствия избежать не удалось. "Дурак, - сказал отец, дивясь моему легкомыслию. - Ну, до чего же ты глуп! Ты где живешь? Ты в России живешь, среди беззакония, напраслины и неправды. Всегда так было. У нас весь народ состоит не из национальностей, а из обиженных и без вины виноватых, - понял? Ты эти два года под немцем забудь и выкинь из головы, а то наплачешься, так и знай. У тебя впереди непочатая череда комиссий, допросов, собеседований, автобиографий, анкет, - смотри, не проговорись, стой на своем: в оккупации не был, эвакуировался с семьей в город Борисоглебск, и весь разговор до копейки".

По отроческому своему упрямству я стал отговариваться: чего ради? кому я нужен? что за вздор? и тогда отец спросил, знаю ли я Ломоносова. "Смешной вопрос, а кто его не знает?" - я так и ответил. "А как он в школу поступал при академии, - помнишь?" Мне невдомёк было сообразить, куда отец клонит, и ему пришлось выложить все карты: - "Его-то и приняли, оттого что поверили, а уж он им говорил, - семь вёрст до небес и всё лесом: и сыном священника сказался, и справку липовую для пущей важности предоставил, и про матушку-государыню стишок зачитал, намедни придуманный, какая она расхорошая... В общем, наврал три короба и ни разу не покраснел, - учись! А скажи он правду, что сын помора, простолоуд, в черном теле обретался, с хлеба на квас перемогался, - да не было бы ни великого ученого, ни великих открытий, ни великой страны. Время придет, в партию подавай; без нее твоя дорога, как от печки до порога. Чего куксишься? Не воровать же я тебя

посылаю, дело говорю". Кончилось тем, что я не только внял советам родного отца, но вполне оправдал его, как по совести, так и по нужде, о которой говорится, что нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет, - правильная русская прибаутка. Что касается вины, - как-никак ложь всегда грехом считалась, - то я ее возложил на Михайлу Васильевича; он человек авторитетный, знаменитый, лучшего заступника после Спасителя мне и по-сейчас не сыскать.

А время не стояло, годы шли, церковь была под запретом, прадеды и деды умирали без исповеди и причастия, принося на одре грехи свои перед сыновьями, внуками и прочим родством. Так я узнал о себе много нового: что отец моей бабушки и ее старший брат были станичными атаманами; что деда моего за достаток и хозяйственность подвергли раскулачиванию и лишению гражданских прав; что родной мой дядя, мамин старший брат был вольноопределяющимся в Добровольческой армии Деникина и отбыл в благой час из Одессы за границу; что мой двоюродный дядя с папиной стороны служил есаулом у Корнилова и скрылся в том же направлении, только через Новороссийск; что ранее помянутый дедушка прошел гражданскую в армии Сорокина, о чем вспоминал неохотно, так как за это тоже брали.

Но главная моя вина в том, что я разочаровался во Владимире Ильиче и перестал думать, что при нем все было бы по-другому, - случай помог, а точнее сказать, воспоминания Надежды Константиновны. Там рассказывалось, как вождь, находясь в ссылке и имея круглосуточный досуг плюс приличное содержание от царского правительства, поехал однажды в лодке на охоту. Стоял разгар половодья, пойменные луга и леса были залиты, и зверье спасалось от паводка кто как мог. Зайцы, к примеру, собирались на островки в ожидании спада воды, - там-то и прихватил их гений пролетарской революции. Подобные явления природы в России не диво, и Некрасов чудно о том рассказывает в стихотворении "Дед Мазай и зайцы". Только Мазай переправил их на сушу и отпустил, а товарищ Лелин привез домой полную лодку зайцев, и у всех были размозжены головы. Надежда Константиновна проговаривается, что отродясь не видела столько битых зайцев за один раз. Нетрудно домыслить, что делал Отец Партии и Государства: он брал зайца за ноги и разбивал ему голову об уключину. Это неправда, что он был добрым, простым, доступным и "с сопливой детворой любил кататься на салазках", каким его знают люди с подачи совагитпропа. Это был жестокий, злопамятный, мститель-

ный и властолюбивый тип, которому после заячьих гека- томб я отказал в уважении. Если я не уважаю Хемингуэя за склонность к убийствам под видом охоты, как могу иначе относиться ко всеобщему кумиру, для которого все едино: что зайцы, что люди. Мне сызмалу запал в душу детский стишок, где добро в образе зайца побеждает зло в человеческом облике:

...Охотнички едут,  
Скачут в чистом поле  
Далеко, далеко...  
Вы, охотнички, скачите,  
Меня, зайку, не ищите,  
Я не ваш, я ушел.

Прощайте, товарищ Лелин.

Меня забирает ужас при мысли: а что было бы, знай партия мое происхождение, о каком я сам полжизни не подозревал. Можно догадываться, что ничего из ряда вон, - расстрелы и убийства в рассрочку без пролития крови были нормальным делом; меня наверняка лишили бы возраста, как деликатно выражаются японцы, и никто не узнал бы, где могила моя, как русские в песне поют. Я по-настоящему счастлив, что могу, ничтоже сумняшеся и не подвергаясь опасности, рассказывать о событиях так, как я их видел и помню. Я пользуюсь свободой и волей как величайшими благами даже близко к старости и чувствую себя свободным от возрастных немочей, накопившейся усталости и гнёта лет, когда безбоязненно пишу об этом в дневнике. Возможно, так же ощущает себя оперившаяся птица, впервые ставшая в воздухе на крыло. Совсем еще недавно свобода была только внутри нас, и люди ловили свой кайф в свободе дармового труда, в свободе умирать за родину в качестве неизвестных солдат и в свободе лгать без зазрения совести даже не по нужде, а просто так, по привычке.

Конечно, многое из прежней жизни осталось, и мое личное счастье могло быть полней: пенсию чтобы платили вовремя и чтобы ее хватало для прожитья, чтобы перестали красть, грабить и убивать, а пуще всего лгать, - как мне стыдно, когда правительство врёт и в глаза людям смотрит. А я так надеялся, что первый же российский президент обратится к народу и скажет о коммунистической партии словами великого француза: - "Раздавите гадину!" - после чего исчадьё всякой лжи и произвола исчезнет, если не навсегда, то очень надолго. Мне, как и большинству людей, о чем мечталось? Что придет день, когда рухнет советская крепостная система, и освободившиеся русские люди арен-

дуют город Нюрнберг для показательного процесса тысячелетия, а на скамью усадят правопреемников и последышей страшной партийной клики, повинной как в истреблении собственного народа, так и в попрании всех человеческих свобод.

Преступников против человечности осудят и приговорят к поселению в комфортабельных домах типа помещичьих усадеб, исключат малейшую надобность выходить во внешний мир, снабдят продуктами питания по высшей категории, предоставят обслугу и медперсонал, наладят микроклимат и все мыслимые удобства, но при этом в жилищах не будет окон и отпадет надобность в ширмах, шторах, занавесях и тому подобных гардинах по той причине, что здания, построенные из алюминия и стекла, должны будут насквозь просматриваться, а по ночам освещаться изнутри сильными источниками света. Ко дворцам проживания бывших руководящих товарищей валом повалит население, от которого они не так давно сами прятались и правду скрывали, и с интересом станет наблюдать, как нераскаявшиеся преступники читают газеты, едят, тужатся в туалете от запора, моются в ванной, сношаются, телевизор смотрят, бранятся со слугами и между собой от безделья, напиваются до положения риз и помирают своей смертью где-то после восьмидесяти, хоть и пользы никакой не принеся, зато и зла никому не причинив. Однако президент оказался не тем человеком, за кого его приняли, и ложь не только осталась по-прежнему, но и расцвела пышным цветом как первейшее политическое средство, как экономический принцип, как юридическая казуистика и финансовые аферы. В правительстве и около появилось великое множество неприличных, непорядочных и преступно богатых людей, которым в самый раз наследовать стеклянные дворцы. Нам бы толкового умного президента, а мы выбрали болтуна и пропойцу, который изо дня в день врёт и не расписывается.

Особо хочу сказать о феномене вранья коллективного и единогласного, ибо это величайшее достижение советской системы. Здесь режим делал ставку на низменный инстинкт стадности, воспитывая не столько чувство так называемого локтя, но еще больше чувство спины и поджилки, когда легко и приятно думать, что коллектив всегда прав, что люди бывают правы лишь с коллективом и никогда порознь, что сам по себе человек ничего не стоит, ничего не значит и хер ему цена в базарный день. Так я голосовал вместе с училищем за смертный приговор Ласло Райку, - ничего другого мне и в голову не могло прийти. Но самый впечатляющий

пример повального вранья, какой мне только помнится, произошел аккуратно в середине двадцатого столетия.

В Союзе тогда проживало душ до сорока родственников Льва Николаевича Толстого от племянников и внуков до десятой воды на киселе, а в Штатах жила-была прямая наследница, родная дочь писателя и распорядительница Толстовского фонда, о которой советское родство отзывалось в высшей степени благожелательно: - "Не знаем, что с нами было бы, не поддержи нас в трудные времена Александра Львовна материально". Ясно, что в личном мнении каждого из них по отдельности партия и правительство не нуждались, поскольку оно не годилось ни для классовой борьбы, ни для мировой революции. По таковой причине единокровных и однофамильных Толстых собрали с бору по сосенке и получился дружный сплоченный ансамбль, который скоро и споро перешел из количества в качество, потому как врознь люди думают и так, и этак, а скопом - в одну струю.

Расчет оправдался, и толпа столбовых титулованных дворян отблагодарила родственницу и благодетельницу многоголосым хором: отрекаемся, проклинаяем, стыдимся, плюём, презираем, ее же и родной отец не любил и так далее вплоть до пауз с невысказанным намёком на площадную ругань, а советская пресса опубликовала коллективное свинство в виде открытого письма. Подобную мерзопакость трудно даже вообразить самому извращенному уму, но странной правила партия преступников и подонков, - это они сейчас делают вид "я не я и хата не моя", - и не дай Бог им взять власть повторно, не дай Бог. Словом, время было бессовестное, ложь ценилась и оплачивалась, газеты отдавали дерьмом и, коль скоро дети отрекались от родителей, облыжно понося их на собраниях, отречься от дедушки или дяди было тем проще. Как я себя чувствовал? Как Станчик в одноименной картине Матейки. Будете в Варшаве, загляните в Национальную галерею, отыщите названное полотно и мы, не глядя, либо махнёмся чувствами, либо останемся каждый при своих.

И вместе с тем отчаянно было бы надеяться, что правда безраздельно восторжествует, а ложь со стыда сама себя изживет. Суть в том, что они неразлучны, как жизнь и смерть, стало быть, так пусть и остаются, лишь бы люди не начинали своих дел со лжи и не давали ей взять верх над правдой. Да и пример из "Хадиса" годится исключительно для частного употребления, поскольку он содержит точные указания, с чего начинать человеку, решившему стать на путь истины, но в нем нет ни слова об исправлении мира.

Да простит меня Бог, это был бы унылый, однообразный и скучный мир, где ни пошутить, ни развлечься, ни первого апреля, ни на Рождество, без “Конька-Горбунка” и басен о римских огурцах, без выдумки и полета, но, как любовь превыше закона, а милосердие превыше справедливости, так правда превыше всего на свете и верно о ней люди толкуют: - “Все, - говорят, - пройдет, одна правда останется”. Так-то оно так, но опять же спросите любого писателя, и он скажет вам, что вор и мошенник гораздо интересней честного порядочного человека и в схеме уравнивания земного бытия оба они, как постоянная и переменная величины, из коих извлекается разность, а она-то и есть не что иное, как конфликт, без чего литература могла существовать лишь в Советском Союзе.

Но это я теперь образумился: размышляю, рассуждаю, руками развожу, а как тогда меня в горькоме на попрание выставили, так куда чего делось, сомлел весь, мозги отсушило, рот чужим говном замазан, одна память каким-то чудом в целостности-сохранности, и на том слава Богу. Знаете, что такое буйро горькома? Это, когда каждый его член волен думать, как ему заблагорассудится, но вести себя в коллективе обязан так же, как родственники Льва Николаевича.

## **XII. Расшибалочка ч. II-я** (Дневниковые записи Киселёва)

**Ч**аепитие длилось около часа. Когда меня позвали, Жора Казачок уже выступал. Так получилось, что ему дали слово раньше, чем я занял свое место. Поэтому я могу привести лишь заключительную часть его речи.

- ...гуань-гуань. Ящик кудели тащи чему моська дальность халигани кому хочь слона с неба. И муйму привет злем эрпезнять чепеяк чемберлен за ульяну. Баскунчак! Умба-нумба плеяда змея. Аще заржавит минеральные спирали! Мы же пусть его? За символ гадность вечно деа и пусть. Паси другой тыщу кислов чавкаем. С квочек дули дули не додули. Бат же! Чукчи соснами стоял бел канал от дона. Друг яйца из-под лени: пряма - не пряма. Эсли ногу найдешь? Нда етца не хотца. Чмо? Почта чиж да лимит. Энте-эс грохот начальницы. \*

---

\* - ...гуляй, гуляй. Я еще как удивляюсь, товарищи, что ему, можно сказать, дали возможность хулиганить, как ему хочется, словно нас не было. И мы ему при этом позволяем распространять чепуху, я как член буйро заявляю. Было б с кем, чего и как! А он бы нам плевал да смеялся. Еще возражает: - “Меня неправильно раз-

Жора трудился вторым секретарем горкома комсомола и входил в список постоянных членов буйро. Так было принято, что во главе учреждения или организации стоял "местный кадыр", что значит, местный кадр, но вторым секретарем в обязательном порядке был русский, призванный подстраховывать кадыра от ревизионизма, оппортунизма и националистической скверны. Столь высокая ответственность практически меняла их местами, и главным действующим лицом становился русский, а узбеку давали возможность заниматься своими делами: расписываться на документах, принимать подарки, ездить по гостям, восседать по праздникам в президиуме и получать номенклатурный оклад. Посему о Жоре Казачке правильней будет говорить, как о первом секретаре, который вполне представлял собой городскую молодежь и как нельзя лучше отвечал служебному положению тем, что был потрясающе презентабелен: высок ростом, безупречно сложен, мужественный оскал лица, краткий выразительный взгляд, повелительные манеры, словом, герой с картинки, о каком женщина может только мечтать, - настоящий Филипп Четвертый Красивый, а остальные до него во многом недобирали.

Он один из первых перенял и усвоил элитный новояз, дававший возможность руководителю общаться с трудящимися кратко и непонятно, создавая эффект молчаливого согласия аудитории при полном отсутствии вопросов. Я внимательно его прослушал несколько раз и понял, что это тот же русский язык и нормальный текст речи, произнесенный на сумасшедшей скорости, когда смысл сказанного искажался до иностранной неузнаваемости благодаря внутренним фонетическим процессам ассимиляций, уподоблений, отпадений, усечений и пр. После неоднократных попыток у меня все сошло, как надо, но сначала я был вынужден восстановить фонетику, реставрировать речь и сверить ее с утвержденным текстом. Меня даже спесь одолела, когда я сообразил, что следую по пятам научных изысков Шамполиона, который первым делом расшифровал путем сравнительного метода парные древнеегипетские и древнегреческие тексты, после чего составил словарь и, наконец, озвучил

---

*бирали". Может, отпустим его? Занесем благодарность в личное дело и отпустим. Спасибо, дорогой товарищ Киселёв, что вы такой умный. Сколько человек думали, думали, не додумали. Бывает же! Человек учился с нами, состоял, был как на ладони. Вдруг является и заявляет: правильно-неправильно. Есть ли на него надежда? Надеяться не приходится. Почему? Потому что чуждый элемент. Это, если хотите, и есть враг от начала до конца.*

иероглифы по собственным именам Аменхотепа, Сезостриса, Тутмоса, Нефертити и Клеопатры. Труды мои возымели успех, и мой авторитет поднялся, как если бы я овладел еще каким-то новым редкостным языком, за что полагается двадцатипроцентная надбавка к зарплате. Не могу в точности сказать, откуда повелся этот советский волапук, - то ли от "сранных сосисек" рамолированного Брежнева, то ли по соображениям нутряной политики, но Казачок владел им на самом прогрессивном уровне, это определено.

Еще одна была у него странность: он не мог нормально общаться с женщиной, не изведя ее прежде до слез и судорог. Делал он это следующим образом: сперва рассказывал на общепринятом русском языке о своей несчастной жизни и о бедах-злосчастиях, долго и неотступно его преследовавших. Разжалобив дорогую и желанную, он продолжал нагнетать сочувствие к себе до бела каления хныканьем и скулежом, а когда она всю хлюпала носом и была близка к истерике, он расстегивался и говорил: - "Эх, с горя, что ли!" Те, кто хоть раз прельстился его мужским обаянием, долго потом отплёвывались и не шли на-повтор ни за какие посулы. Ему было за тридцать, а он все еще не переходил на стационар, снимая сливки и не обзаводясь семьей.

Слушали его внимательно, кто-то даже сказал, что им все ясно, хотя видно было, что никто ни аза не понял, а обратиться ко мне за помощью почли ниже своего достоинства. После Казачка еще двое выступили, но говорили общо и скучно, - мне того ради полезли в голову всякие фантазии, что-де, как было бы занятно, если бы в кабинете росла экзотическая пальма, а на ней в клетке висел вниз головой попугай "жако" с лексиконом автоинспектора и подавал реплики; или если бы можно было разыгрывать членство в буйро горкома по лотерее и выигрыш достался бы глухонемому, который выступал бы с помощью мимики и жестов, а показывая на меня, совал палец в кулак, и все смеялись бы до упаду, я тоже. Но вот заговорил Женька Таранец и мою скуку как рукой сняло.

Таранец работал в областной газете на должности первого замглавреда. Одно время мы с ним дружили, но он был прогрессивен, а я нет, и наши отношения взаимно сократились сначала до приятельских, а со временем до шапочных. Главное, что в нем было, это умственная акробатика и чрезвычайная изворотливость, - его невозможно было подловить ни на чем, а если кому и случалось взять Женьку за жабры, он всегда выкручивался, как ёрш сопливый. Себя он

оценивал достаточно высоко, признавая за собой только правоту и оставляя другим оплошности и ошибки, совершать которые, по его словам, ему было несвойственно. Этим он мне не подходил. В остальном же он был умен, привлекателен и до того симпатичен, что даже перебитая в автокатастрофе нога не мешала ему повесничать и преуспевать. Женщины по нём взаправду сохли и сходили с ума, откровенно любуясь, как шикарно он приволакивает искалеченную ступню. Конечно, калека есть калека и инвалидность не комплимент, но в данном случае мы имеем дело с очаровательной стороной уродства, а что подобное тому бывает, сомневаться не надо, если вспомнить Талейрана, Тамерлана, Байрона и прочих Великих Кривоногих и Хромых. В общем, Женька с укоризной окинул партийный “меджлис” и пошел галсами против ветра, чего я от него никак не ожидал.

Женька: Так нельзя, товарищи. Нельзя. Не следует придавать фактам идеологической мимикрии значение феномена. Это в принципе пагубно. Подобные случаи не столь уж редки, и все куда проще, чем полагают многие из нас. Вопрос не в том, пускать в коммунизм человека или не пускать, а если нет, то на какой дистанции его выдерживать: на расстоянии ли пушечного выстрела или собачьего поводка? Отнюдь, я бы сказал. Во-первых, коммунизм не богадельня; во-вторых, нельзя войти туда, сам не зная, куда. Коль скоро у человека нет конкретных представлений о будущем, у него, понятно, не может возникнуть и симпатий к такому будущему. За отсутствием симпатий он не в состоянии выработать требуемого личного отношения к перспективе. А без имеемого отношения у него, конечно же, вряд ли появится желание пребывать в числе тех, кто движется исключительно в направлении грядущего. Вот вам и будьте любезны, как говорится, - толк, он есть, да не втолкан весь. (Ко мне) Владимир Георгиевич, может быть, я ошибаюсь? Поправьте меня, пожалуйста.

Я: Да нет. Всё так.

Женька: То есть?

Я: То есть, на самом деле трудно приветствовать то, чего не знаешь.

Женька: Вы не знаете о коммунизме? Вот это да! Не верится что-то.

Я: Я знаю о коммунизме.

Женька: Так в чем же гвоздь, если не в подмётке?

Я: Как это объяснить, Евгений Витальевич... Ну вот, хотя бы... Допустим, что есть планеты, и на них, возможно, ум-

ные коровы живут. Но хорошо к ним относиться я все равно не могу, пока не выясню...

Женька: (перебивает) Удои молока...

(Взрыв восторга. Взаимные переглядывания в рассуждении "наша взяла". Довольные, сияющие лица. Вот-вот, казалось, аплодисменты грянут. Женька несколько раз делал рукой стоп-сигнал, чтоб они успокоились, но успеха добился не сразу.)

Здесь таилась опасность, которой мне надлежало остерегаться паче всех чаяний, а я ее не заметил. Почему Женька меня отпустил, не знаю, может, тоже не заметил? Скорей всего. Во всяком случае, не по добру. Положение складывалось неважно. Меня бы раскрутить еще немного и брать голыми руками, а они решили повеселиться и дали мне уйти. Память зафиксировала неравное соотношение сил ввиду моей неосторожности и возможные последствия, а в их распоряжении набор средств - будь здоров: от лагеря до психушки, куда, верно, сам Лев Николаевич со своими прихотями не мечтал угодить. Что им стоит наладить медкомиссию и заставить меня считать до десяти и обратно, пока не сойбьюсь? Пара пустяков. Я их знаю. И опыт есть, правда, чужой, а все же. Хотя и не без сомнений. Было ли так в действительности? А шут их разберет. Но могло и быть. У страха глаза велики, а я очень боялся вялотекущей шизофрении, и не просто так.

Мы когда сдружились со Славиком Горбуновым, интуриста-шофером, я часто у него бывал. От Славика через улицу наискосок жил на покое большой начальник, и у него был замечательно интересный дом. С улицы если смотреть, ничего в нем особенного: одноэтажный, неказистый, прищипнутый, ну, ни дать ни взять, типовой проект "кирпич плашмя", а изнутри никто его не видел, поскольку хозяин гостей не жаловал, а с соседями общался через дувал. Понаслышке строили его не ввысь, а вглубь, чтоб другим незаметно, сколько у него там этажей, гаражей, того-сего-всякого. Но не в хоробах счастье, а в детях, чтоб было кому чего оставить, и таковые Божьим промыслом имелись.

Старший сын в тогдашнем Ленинграде аспирантуру заканчивал, и все шло как нельзя лучше, пока он православие не принял. Ну, с кем не бывает, принял и принял, знай себе молись да помалкивай, а он проигнорировал ломоносовский опыт и ничего не пожелал скрывать, - это уже вызов. Дальнейшие события не представляло труда спрогнозировать по шаблону: пришла беда, отворяй ворота. Короче, записали его в диссиденты, выгнали из университета,

упекли под суд за клевету и очернительство, аннулировали прописку и выслали за сто первый километр, где у него ни свата, ни брата, ни кола, ни двора, - пришлось возвращаться к родителям.

Была тогда мода носить идейно-политические рубашки с призывами "мир во всем мире", "не расстанусь с комсомолом" и тому подобной чепухой, а еще бобочки с короткими рукавами, о каких в неформальной песне пели, что, мол, - "есть у меня бобочка, скоком заработана", их также называли "пленумками" за то, что они были украшены оттисками газетных матриц с материалами съездов, конференций, пленумов и прочих партийных шабашей. Очень удобно: стоишь в автобусе и считаешь со спины какого-нибудь гражданина целую полосу, - и скучать недосуг, и время идет незаметно.

Пожил наш диссидент на родительских хлебах, передохнул, пора и честь знать, на работу устраиваться. Побрился, позавтракал, модную бобочку надел и пошел искать, где позаработней, а бобочка у него была особенная, ручного производства, и на ней в разных цветах и шрифтах вкривь и вкось написано: "Ненавижу взяточников". Походил, походил, вернулся к вечеру не солоно хлебавши, - кто ж его такого возьмёт, хоть бы даже по нынешним временам? На другой день все сначала, и опять воротился ни с чем. А на третий вообще домой не пришел: задержали, арестовали, привлекли к уголовной ответственности, признали ненормальным и отправили в спецпсихдиспансер на принудлечение. Через год выпустили, но это был уже не человек, а мартышка: блуждающий взгляд, идиотическое выражение лица и слюни изо рта самотёком. Ну, как тут не скажешь, - да здравствует Октябрьская революция и вся власть Советам?

Женька: Зачем же так высоко? Давайте-ка попроще. Вас спрашивают, верите ли вы в коммунистический идеал, а вы нам о животноводстве. Зачем? Вопрос стоит либо "да", либо "нет", и я его не случайно так ставлю. Вот вы окрысились, будто вас тут съест хотьят. Это вы напрасно. Вам помочь хотят, и вы вполне это осознаете. Задача ваша, я бы сказал, элемент: да? - да, нет? - нет. Как бы то ни было, мы все между собой связаны не каким-нибудь там "ты мне, я тебе", а единством цели, и нам важно выяснить, видите ли вы эту цель и закономерно ли ваше присутствие в одних с нами рядах. Я с вами откровенно говорю, не так ли? Очередь за вами.

Я: Да.

Женька: (расцветает улыбкой, раскрывает объятия) Это же совсем иной оборот дела. Теперь все ясно, кроме одного: не было ли у вас несогласия с программой?

(Тут у меня произошла заминка, - я не читал программу и не знал путем, что там написано, но на всякий случай ответил негативно.)

Женька: С уставом?

Я: Нет.

Женька: Так я и думал. А по части морального кодекса?

Я: Тоже нет.

Женька: Превосходно. Почему же вы его нарушили?

Я: Каким образом, Евгений Витальевич? Я не нарушал.

Женька: Вот это мило! Как я понимаю, вы находите свой поступок морально оправданным?

Я: (запинаясь) Д-да.

(Честное слово, я так думал. А что в том противозаконного? Люди встречаются, женятся или просто отдают дань природе, не прибегая к формальностям, и самое значительное, что впоследствии может получиться, это ребенок, а дальше дело гражданского суда, если на то есть основания. Мне неизвестны случаи, чтобы за это оскорбляли, исключали из партии и выгоняли с работы еще где-нибудь, кроме как у нас. Такая страна: убийство вознаграждается, рождение возбраняется. В Англии, к примеру, о том даже стихи сложили, что "приятней сделать одного, чем истребить десятков", а у нас говорят, - "есть человек - есть проблемы, нет человека - нет проблем". У партии много дел, и борьба с проблемами главное из них. Интересно, удастся ли ей преодолеть человека как начало всех проблем, а еще интересней, что будет после того, - наверное, коммунизм. Вот что я мог бы им сказать, если бы не боялся. Но я дрожал изнутри волнистой рябью и был начеку каждую минуту.)

Жора: Акриоёха! Прёлма!\*

Халабуда: Ему нельзя верить. Вы как хоцице, а я воздерживаюсь.

Гутин: Об чем мы думаем, товарищи? Вместо больше думать о простых рабочих людей, мы думаем о всяких проходимцев, как эхтот.

Расулова: Это не его заслуг, а весь коллектив.

Женька: Видите, Владим Георгиевич, как реагирует горком на неискренность и неправду. Не надо бояться правды. Не надо скрывать слабостей своего движения. Умен не тот, кто не делает ошибок...

---

\* *Неприличные выражения.*

Джураев: Лелин. Том. Глава. Страница. Издание. Год. Москва.

(За столом возникает бодрость плеч, строго поджатые губы и настроение “Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать”.)

Женька: Попытка не пытка. Попробуем вот что сделать. Предположим, что члены буйро, здесь присутствующие, народ, как известно, должностной и во всех аспектах положительный, позволили себе... эт-самое... налево... вы меня понимаете.

Отчего ж, думаю, не понять, если просят, и ответил, что понимаю.

Женька: Как вы считаете, соответствовал бы наш поступок уставным требованиям партийной морали?

Я сказал, что нет.

Женька: Верно! Верно! Только что же при этом получается? Вам можно, а нам нельзя. Где же правда, если один и тот же поступок для вас морален, а для нас аморален, - так?

Он меня совсем запутал. Я стоял, как двоечник, не выучивший урока, и не находил нужных слов.

Женька: Вы будете, между нами говоря, по бабам шастать, а мы, значит, воздерживаться. Дома! На печи! Как мо-нахи!

(Члены буйро сдержанно смеются; сравнение с монахами им очень польстило.)

Физик: А вы не находите, Гениталич, что мы тратим драгоценное быстротекущее в большем количестве, чем ЭТОТ молодой чек заслуживает?

Женька: Нахожу. Но вопрос архиважен, и мы не вправе решать его, минуя мельчайшие мелочи. (Ко мне) Вы были разведены, Владим Георгиевич, когда это случилось?

Я: Нет, не был.

Женька: Следовательно, ваш поступок аморален?

Я: Отчасти, да.

Женька: Почему же “отчасти”? Просто “да”. Без лишних антимоний. Договорились, как будто.

Я: Просто да.

Женька: Это уже разговор. Так и впредь: прямо, честно, без отговорок. А до того, как это стряслось, вы отдавали себе отчет в своих действиях?

Я: (не узнавая собственного голоса) Какой отчет? В чем отчитываться? Что я сделал? Убил кого? Изнасиловал? Ограбил? Каждый норовит по морде, - за что? Я ж не говорю, что мне орден полагается, но и наказывать не за что. В крайнем случае, на то есть суд. При чем тут партия, программа, мораль? Кому от этого польза?

(Члены буйро глядят на меня с сокрушительной ненавистью, будто я их сего числа от должности отрешил.)

Женька: Абсолютно так. Лезть в чужие дела да еще интимного характера, - упаси нас правила хорошего тона. Вы совершенно правы: никому никакого дела нет и быть не может (акцентная многозначная пауза)... не являйся вы членом партийной организации. Ну, что нам за интерес, скажите на милость, разбирать бытовую распущенность какой-то беспартийной личности? Какая, по-вашему, разница между коммунистом и человеком из тамбура?

Я: (не совсем уверенно) Устав регламен...

Женька: (не дослушав) Верно! Устав! Начало начал! Ничто человеческое, однако... Вы полагаете, у вас была любовь с этой... Линн Гроув?

Я: Конечно. Как же иначе?

Женька: Допустим. А что такое любовь?

Я: Не знаю. Ее, по-моему, больше чувствуют, чем понимают.

Женька: А мы знаем. И вам, бывшему коммунисту, не мешало бы знать, что в любви участвуют двое и появляется третье, - новая жизнь.

Джураев: Лелин. Том. Глава. Страница. Издание. Год. Москва.

Расулова: Это не его заслуг, а весь коллектив!

Женька: Как явствует, вы под это правило не подпадаете.

Я: Почему нет? Нас тоже двое, не десятеро.

(Веселый неугомон, широкая масленица. Смех. Судороги. Слезы. Мольбы о пощаде. Возгласы: "Уморил, уморил!", "Это ж уметь надо!", "Ах, чтоб тебе!", "Райкин, чисто Райкин!"... Аминов с озорной на меня смотрит и, похоже, хочет сказать: - "Ну, юморист! Глянь, что ты с людьми сделал. Всех укатал в лёжку. Разве так можно?")

Женька: (вытерев слезы, достает бумагу с текстом) Двое, говорите? В таком случае позвольте вас огорчить... Вот здесь... да... (сосредоточенно и очень серьезно читает) Линн Гроув... гражданка сэшеа... тридцать четыре года... разведена... двое детей... ведет легкомысленный образ жизни... работает в стройконторе по продаже квартир и частных домов... отмечена связями с фебезэр... (отрывается от текста) Так что вас хоть и не десять, но и не двое, Владимир Георгиевич. И называется все это по-другому: случайная связь, пошлое сожитительство, разврат. Вы не находите?

Я: (сдаваясь на усмотрение) Нахожу. Согласен.

Женька: И правильно. Если бы это была любовь, разве

бы мы разбирали сейчас глубину вашего падения? Нет, не разбирали бы. Но вот приходится. Приходится, да. Беспристрастно и с полной объективностью вынуждены копаться в перипетиях вашего бытия. И знаете, что я вам сообщу, товарищ Киселёв? Оч-чень много грязного белья. Не скажу, как другим, но лично мне столько грязи за-раз не приходилось...

Головогрудый: (сгорая от нетерпения) В баню его на санобработку! С прожаркой! И чтоб покрепче, покрепче!

Бежевый в полоску: На вшивость проверить обязательно!

Гутин: Чего такому вшивость, когда он сам вша заразная.

Халабуда: Полюбуйтесь на себя, Киселёв. Так опозоришь коллектив, парцию... Стыдно должно быть.

Физик: Товарищи, мы непроизводительно расходует время. ЭТО расточительство, - два академчаса, таскать, на одного разложенца. Пора закруглять.

Джураев: Лелин. Том. Глава. Страница. Издание. Год. Москва.

Жора: Трикотажа брамс буэрак ючалить!\*

Расулова: Это не его заслуг, а весь коллектив!

Женька: Убедились, Владим Георгиевич, как низко вы пали? Наверное, никакой Пушкин... (разводит беспомощно руками) Подведем итоги. Вы, товарищ Киселёв, виноваты или мы вам понапрасну голову морочим? Признаете вину?

Я не стал отпираться и сознался, что виноват, признаю.

Женька: Это уже определенной. В общем и целом, мы и раньше отмечали ваши, я бы сказал, оригинальные взгляды. Особенно на мораль. Вы ее, насколько понимаю, освоили практически: "наше дело не рожать, сунул, вынул и бежать", - не так ли? Но это не наша мораль. Это чуждая нам мораль.

(Оживление, неотчетливые эмоции, легкие смефуёчки, - кто через нос, кто в кулак.)

Женька: Наконец-то мы во всем разобрались и теперь никто не может нас упрекнуть за безучастное или поверхностное отношение к персональному делу товарища Киселёва. Нам и самим понятнее, что вы собой представляете, Владим Георгиевич. Ваша кочка зрения, ваши взгляды и поступки несовместимы с пребыванием в одних с нами рядах, и партия, как здоровый цельный организм, окончательно и бесповоротно, сегодня же от вас отмежуется. Вместе с тем, я и все мы не перестаем удивляться, что вы, коммунист...

---

\* Эту фразу я перевести не смог, придется оставить, как есть: "Причалил Брамс к буераку весь в трикотаже", - абсурд какой-то.

(Шумок и голоса: “Американский!”, “Бывший!”, “Это не его заслуг!”, “Позор!”, “Гнать таких!”, “Кончай с ним, Гени-талич!”)

Женька: (продолжает) ...бывший коммунист, не смогли присмотреться к нашей действительности и не заметили в ней ничего положительного в смысле примеров и образцов.

Я: (не до конца поняв) Каких образцов?

Женька: Каких? (Широкий хлебосольный жест “милости прошу откусать”) А присутствующие здесь вас не устраивают?

Немая сцена. Стою и балдею от изумления. Члены буйро мягчеют формами и принимают вид простоватых доверчивых людей, за народ пострадавших. Которые застенчивые, рассматривают, потупясь, на поверхности стола собственные отражения и норовят отколупнуть лакировку. У других красными пятнами проступают порядочность и доброта. Смущенные полуулыбки. Ярмарка невест. Не знаю, кого предпочесть. Не спеша приглядываюсь ко всем подряд и замечаю, что у них вместо физиономий газетные клише слева направо: “Незаметный труженик”, “Круглосуточный герой”, “Воля к победе”, “Вести с полей: на юге уже сажают”, “Так поступил бы каждый”, “Великие права великого народа”, “Достойные наследники отцов”, “Партия наш рулевой”, “И для щей, и для борщей нужно больше овощей”, “Светлому будущему даешь зеленый свет!”, “Коммунизму быть!” На общий снимок уходит около минуты.

Женька: (прерывая смотрины) У меня, товарищи, все.

(За столом недовольство и рассерженные голоса: “Хватит с ним валандаться!”, “Винтели кундел-кундел!”,\* “Пора, Гениталич, сколько можно?”, “Семеро одного не ждут”.)

Женька: Есть предложение: (Зачитывает постановление, изготовленное, по всей видимости, еще летом. Ахтак ошибался: партия ничего не забывает.) “За распущенность в быту, за мелкобуржуазное перерождение, за нарушение партийной этики и аморальное поведение, за взгляды, несовместимые со званием коммуниста, исключить из рядов КПСС Киселёва Владимира Георгиевича”. Другие предложения есть? Других предложений не поступило. Ставлю вопрос на голосование. Ахмед Аминович, прошу в порядке ведения.

Аминов: Продолжайте.

Женька: Кто за данное предложение? (Лес рук) Пал Сергеич, толкни там Очила Ризоевича. (Еще одна рука) Кто про-

---

\* Видите ли, какое дело!

тив? Никого. Воздержавшиеся? Тоже нет. Принято единогласно. (Киселёву) Вы исключены.

Гутин: (стучит пальцами по столу) Положь билет.

Жора: (тоже стучит) Ток-так.\*

Я достал красную книжечку с лелинским профилем вождя и опять же заметил, что они заинтересованно за мной следят и ждут чего-то. Замерли, дыхание передерживают, в глазах симпатия и телепатия. Ну, о чем они мне телепатируют, я домыслил по их выразительным физиономиям. “Чего ты ждешь! - взывают они так же сообща, как голосовали. - Приложись, приложись. Это разрешается. Что тебе стоит напоследок? Многие так делают. И на душе потом легче. Можешь даже сказать чего-нибудь такого. Ну, там: - “Вы меня исключили, но в душе я остаюсь...” и так далее. Или: - “Все равно считаю себя коммунистом, хоть десять раз выгоняйте. Мне без партии не жить, потому как”. Можешь заплакать. Или пригрозить с колен, - приду, мол, домой и повешусь, пусть вам будет нехорошо. Ну же! Всего один лояльно-прощальный поцелуй, - делов! Вспомни Павку Корчагина, Зою Космодемьянскую, молодогвардейцев. Соберись с силами. Не дрейфь! Ну!”

Страхи мои закончились; не станут же они собирать грёбаное свое буйро еще раз. В общем, моя взяла, но показать им на прощанье руку по локоть не хватило смелости. Я достянул партбилет до подбородка и сыграл им, словно это была двойка, бьющая туза. Он смачно шлёпнулся и поплыл по зеркальной глади стола. И никто ничего, точно все находилось под общим наркозом. Я вышел, а их так и не было слышно. “Хорошие ребята, - как о них Поль Робсон сказал. - Жизнь по-своему переделают. Людями станут. Настоящими людьми. Настоящими”. Их, правда, мало нынче осталось против прежнего, но дайте им шанс и они свое наверстают, хорошие ребята.

### **ХIII. Стихи непрофессиональных поэтов о городе, в котором происходила большая часть описанных событий**

#### **Про Бухару**

Хлопок белым пухом отснежится,  
Отшумят метёлки джугары,  
И московской ночью мне приснится  
Золотой оазис Бухары.

---

\* Только так.

Городские глиняные стены,  
Русла улиц в тесных берегах,  
Клокотанье пёстрой-пёстрой пены  
И поток халатов на ослах.

Яркие, коричневые лица,  
Белые и пёстрые чалмы...  
Странно, что до наших буден длится  
Бухара восточной кутерьмы.

Полусумрак крытого базара...  
Хорошо бы вновь туда нырнуть  
И, вдыхая жирный дым нагара,  
В ошхану поглубже заглянуть.

Глаз пленяют матовые краски  
Винограда, яблок, желтых дынь,  
Перца красного затейливые связки,  
А в проломах крыши - неба синь.

С завистью глядишь на ниши лавок,  
Где пол-лавки занял сам купец,  
Где нога сидящего - прилавок,  
А товар весь в дюжине колец.

Как считать тут верные доходы,  
Выставляя кольца напоказ,  
Если главная утеха тешить глаз  
Пестротой текущего народа.

На халатах пёстрых, смуглых лицах,  
Крытых рынков мягкий полусвет.  
Странно, что до наших буден длится  
Бухары пленительный балет.

*Н. Лебедев, 1928 г.*

### **Мечеть Калян**

Памяти коснеющей не верьте!  
Хлопающий ставень на ветру...  
Кто-то сбросил с Минарета Смерти  
Расточительную Бухару.

И лежит распластанное тело, -  
Каждый может поглядеть и пнуть.

Море шёлковое отшумело,  
Грязной тряпкою прикрыта грудь.

Побеждённых кинули на плаху,  
Позагнали в тёмные углы,  
Только аисты поют Аллаху  
С минарета звонкие хвалы.

Ждать недолго, дни летят и скоро  
Взорам путников, скитальцев и гостей,  
Взорам их предстанет славный город  
Только грудой глины и костей.

*Н. Лебедев, 1931 г.*

### **Бухорои-Шариф\***

Скрипы арбы на извилистых улицах,  
Стадо баранов под арбами крутится,  
Пыль и шелка Бухары!

Крики мальчишек в чуплашках с корзинами,  
Свисты погонщиков, вопли ослиные,  
Пыль и шелка Бухары!

Втиснулись клином верблюды горбатые,  
Сбоку идут каравановожатые...  
Пыль и шелка Бухары!

Звоны пиал в чайхане разливаются,  
В зной дым чилима спиралью врывается.  
Пыль и шелка Бухары!

Девушки с визгом кричат за дувалами,  
В щели вбиваются лица их алые.  
Пыль и шелка Бухары!

Старые люди листают страницы,  
Стих из Корана в устах шевелится...  
Пыль и шелка Бухары!

*А. Волков, 1923 г.*

---

\* *Благородная Бухара (перс. - Б.К.)*

### **Бухарский танец**

Тыни-мини-тын-тын, тыни-мини-тын...  
Под удар дутара тюбетейки клин  
Взвился, точно кричат к серой бедоне,  
Перья крыл трепещут в пыльной синеве.  
Ах, моя отрада, сладость спелых дынь,  
Золотятся ноги: тыни-мини-тын...  
Дост!

Лапа-лапа-лап-лап, лапа-лапа-лап...  
Барабанов трепет в ярком скрипе арб.  
Хруст циновки нежен, взор её - цветок,  
В исступленьи диком кружится сто ног.  
Барабанов вопли: тяпы-дапы-ляп,  
Бубен бьёт под пляску: лапа-лапа-лап...  
Дост!

Тыка-тыка-тын-тын, тыка-тыка-тын...  
Пиалá Аллаха и чилима дым.  
Так пылают щёки, словно два граната,  
Падают в истоме рукава халата...  
Ах, моя услада, сколько спелых дынь  
На больших подносах, - тыка-тыка-тын...  
Дост!

*А. Волков, 1923 г.*

### **Минарет Калян**

В жёлтый зной и в белёсый холод,  
Не сгибаясь под тяжестью лет,  
Будто страж, охраняющий город,  
Знаменитый стоит минарет.

Поседел он от пыли столетий,  
Но по-прежнему тверд, как гранит,  
И - веков молчаливый свидетель,  
Обветшалые тайны хранит.

А над ним, в этом городе старом,  
Над зигзагами уличных лент,  
Над звенящим восточным базаром  
Слышен шёпот забытых легенд.

*В. Саушев, 1959 г.*

### **Мазар Чашма-Аюб**

Он под луною призрачен и зыбок.  
Его морщины - не следы улыбок,  
На первый взгляд он холоден и груб.  
Но сколько раз под этот жёсткий камень  
Поговорить с минувшими веками  
Я приходил к тебе, Чашма-Аюб.

Я не нарушу вечного покоя.  
Стены касаясь трепетной рукою,  
Не разбудить далёкой старины.  
Но, говорят, в мираже знойно-синем  
От жажды умирающим в пустыне  
Вот эти башни древние видны.

Арабской вязи нежные куплеты  
Слагали знаменитые поэты, -  
Как ломкий бархат шелест смуглых губ:  
"Прекраснейший среди строений прочих"...  
Сверкающий звездою в полночи,  
О чем молчишь, мазар Чашма-Аюб?

*В. Саушев, 1965 г.*

## НА КРУГИ СВОЯ

### *Пропущенная глава*

**М**ы с Володей Киселёвым учились на одном факультете и курсе, только в разных группах, так что неплохо друг друга знали. Нас и впоследствии жизнь не сразу развела; мы довольно долго работали в одном городе, хоть и в разных местах: он в "Интуристе", я в "Спутнике", - так называлось Бюро международного молодежного туризма, - и обо всем, что с ним приключилось, мне было известно почти сразу и из первых рук. А о многом я знал и помимо него.

В бытность студентами-выпускниками мы пошли теплой весенней ночью бродить по старинному городскому кладбищу и попали к концу всенощной службы в тамошнюю церковь. Несмотря на буйство и цветение пробудившейся природы, храм показался мне таким же скорбным, как и кладбище, может быть потому, что народу в нем было очень мало и верующие не стояли ко кресту в очереди, но батюшка сам подходил с крестом к каждому. Я видел, как Вовка сделал несколько шагов к священнику, но остановился и, резко повернувшись, пошел к выходу. Вероятней всего, это был страх, что нам могут выдать волчий билет, если о нашем "атеизме" прознают в ректорате.

В институтском общежитии мы тоже с ним жили в одной комнате, и как-то по причине бессонницы он мне сообщил,

---

*"На круги своя" - глава (помеченная римской цифрой XIII), не вошедшая в журнальную публикацию романа "Сцены из античной жизни": "Вышгород" 1-2,97; 6,97; 1-2,98; 4,98; 5,98; 1-2,99. В своем последнем письме ко мне 26 октября 1998 года из Пярну Б.Ю. написал, что главу "На круги своя" он счел "излишней": "слишком ретроспективная и отвлекает от современной конкретики". Может быть, предчувствие подсказывало - нужно срочно передать "рас-последнюю главу", что он и сделал (как всегда, рукопись привезла в Таллинн его жена Ингрид). И еще, может быть, эти "круги" должны были разойтись в другом месте романа, прежде, и не вписывались перед поэтическим финалом. Как бы то ни было, пропущенная "сцена", подобно и другим картинам романа, имеет совершенно самостоятельное значение. - Л.Г.*

что вычислил тотемного покровителя своих первобытных предков, коим оказался волк. Если вы полагаете, что тут имели место причуды или романтика, то ошибаетесь, - разговор шел серьезный. Он даже сказал, что вначале принимал за тотемного зверя ворону, но по ряду соображений волк в его жизни заявлял о себе более активно и с неизменным к нему благоволением.

Семи лет от роду он ненароком вышел к степной норе и беззаботно перед ней улегся. Спустя минуточку-другую из норы вылез серый щенок, за ним еще и еще, - их там был целый выводок. Не смутившись его присутствием, они затеяли возню: царапались, переворачивались, грызлись и вели себя, как расшалившиеся дети, разве что не визжали по-собачьи, а играли молчком. Рукой к ним он не притрагивался, хотя мог бы, но что-то его удерживало не делать этого. Пробыл он с ними, сколько хотел, и лишь на закате пошел до дому.

С родителями он своими похождениями не поделился, - взрослые вечно принимают все по-своему и им не всегда можно верить. Разве бы они поняли, что произошло величайшее чудо: дружба босоногого сельского мальчика с волчьим выводком, - да ни за что на свете! Но все обстояло именно так и дружба продолжалась до поздней осени, пока волчица не увела подростков в более спокойное место. Вовка проводывал новых друзей по всяк день, если погода позволяла, но волчицу видел только дважды и каждый раз вдалеке от норы. Оба раза матёрая с безразличием глянула на Вовку, как на пустое место. Волки распознают всякую живность, что по запаху, что по голосу, что по выходке, и чужого со своим вовек не спутают. Вовка был свой. Он ее наверхняка и в логовище прихватывал, а она, небось, лежала и нишкнула, зная, что он свой и вреда от него не предвидится.

Будучи отроком, он свел свойство с целой стаей. Время было военное, лихое, люди голодали, а уж волки и подавно. Вовкина мамка работала в совхозе, место лесное, диковатое, и в школу Вовке ходить было около десяти километров. В шесть утра, а по-зимнему все одно, что в шесть ночи, он становился на лыжи и километра три с лишком скользил по отлогому спуску вдоль кромки леса, где с лета лежал скелет павшей лошади, отполированный до блеска волчьими клыками, и где перед рассветом собиралась стая, - тринадцать отощавших голодных зверей. Он скатывался с возвышенности и завидя стаю, издали приметную на снегу, кричал ликующе: - "Волчонки, волчатки, волчишки, здравств-

вуйте, здравствуйте, да здравствуйте, ура-а-а-а!" - и проносился мимо них с каждым разом ближе и ближе.

Однажды он отрезал стаю от леса и ничего не случилось: они все так же спокойно провожали его взглядом, переступая лапами, когда поворачивали вслед ему голову вместе с туловищем, плоским, как доска, и Вовку тянуло к ним еще ближе. Наконец, лыжи протарахтели по мерзлому волчьему дерьму, ровно по булыжной мостовой, и он не испугался, лишь устойчивее ногами пружинил, скорей чувствуя, чем соображая, что падать здесь не полагается. В марте месяце они перестали собираться, и он их больше не видел. Поодиночке же ему многожды приходилось сталкиваться с ними нос к носу, и он никогда не прибежал к sacramентальным народным заклинаниям: "Волчику, братику, не трожь меня за-ради Бога", - оттого что не ощущал в них врагов и не испытывал перед ними страха.

Мне его опыты напоминали сжатый курс истории религии, втиснутый в краткосрочную жизнь отдельного человека от рождения до смерти. Азы он освоил, надо полагать, в детстве, но до завершения курса было далеко. Вместе с тем в его поисках присутствовали путеводные вехи и дорожные указатели, так что я вполне был уверен, что когда-нибудь он дойдет до цели и, переработав опыт предков, установит с Богом постоянные взаимоотношения принятием православного исповедания. Партийные пертурбации не могли не сказаться на скорости его духовного продвижения, и последний отрезок пути он прошел, будем говорить, бегом. Совершенно непринужденным и натуральным образом он появился в юрневской келье и попросил старика быть крестным отцом. Сергей Николаевич выслушал его побудительные мотивы и согласился.

Неделей после того он принял крещение по православному обряду, заодно окрестив двухлетних своих девочек-близнецов. Крестная, Ольга Ивановна, мать Славика Горбунова, вдела в нательный крест шелковый гайтан, а Сергей Николаевич возложил его восприемнику на шею со словами: - "Душенька, теперь у нас с вами одинаковые кресты". Славик был крестным отцом у Веры и у Нины, а крестной их матерью стала соседка Сергея Николаевича, Анна Ахтеевна. Затем новорожденные под песнопение небольшого церковного хора несколько раз обошли вокруг аналая, ведомые и несомые духовными родителями. Сергей Николаевич прошел один раз, держа крестника за руку, потом отпустил и сказал: - "Дальше вы сами, а Бог вам сопутствует". Закончился обряд крестным целованием и приятием Святых Тайн.

Так оно и было. Господь Бог в добрый час сопутствовал новому своему подопечному и вывел его к дальней дороге, насколько глаз хватало. Новообращенный догадался, что отсюда нужно уезжать. Однако последовавшие события происходили с неизбежностью, предпосланной обстоятельствами строго по порядку, так что отъезд вовкин не стоял первым в ряду. Словно завершив отпущенные ему на веку дни благим делом, Сергей Николаевич занемог и его положили в больницу. Ему было семьдесят семь с половиной лет, когда его оперировали, и Киселёву с поездкой пришлось подождать, тем более, что у него появились несложные заботы: получать по доверенности почту для Сергея Николаевича и вечером его проводить, старательно избегая лечащего врача, которого он панически боялся. Последний раз он доставил крестному от Флоренского Павла Васильевича бандероль и освященную просфорку. Бандероль Сергей Николаевич сунул под подушку, а коробочку с просфоркой открыл, отломил кусочек и положил в рот. Дня за два до того он позвал племянницу Ольгу Владимировну из Калинина, а также внучатого племянника Андрея Ростиславича из Москвы и скончался от уремии за день до их приезда. Некоторое время его выдерживали в морге, но последние сутки он провел в своей худжре, давая возможность знавшим его людям проститься с ним в привычной обстановке.

День похорон выдался на редкость светлым, чистым и не по-ноябрьски теплым. Покойного вынесли из худжры, и голова Сергея Николаевича пришлась почти вплотную к вожжиной, который обрадовался нечаянной прощальной близости и удивился невесомости гроба с телом. Гроб поставили на грузовик с откинутыми бортами, укрытый огромным туркменским ковром и изобильно убранный розами. Вовка, Славик, Андрюша Юренин и Ринат Батраев шли впереди, точно по морю плыли, неся крышку гроба в окружении шевелящейся во всю ширь улицы клумбы, где людей не было видно из-за обилия цветов. Следом двигался грузовик, и на его платформе у скорбного изголовья сидела прекрасная Карданиха и оплакивала почившего героя. Картина без натяжки выглядела античной в стиле классических скульптурных образцов Донателло и Микельанджело, и по данному сравнению Киселёв не удержался отметить, что артистке наверняка скостится за это сорок грехов, как минимум. За машиной двигалась пестрая многоцветная толпа народа, протянувшаяся от медресе Ханской Матери до кладбища у городской стены, которое оказалось тесновато, чтобы

вместить всех провожавших, а провожал Сергея Николаевича целый город. На кладбище отдельно выделялись христиане, мусульмане и евреи, а всех их собрал воедино Сергей Николаевич Юренев, - это было незабываемое зрелище.

Ринат Батраев произнес превосходную речь, где были слова о том, что "советская родина выплачивала лучшему из своих сынов не пенсию, а милостыню в пятьдесят рублей, на которую он не столько сам жил, сколько другим помогал. Теперь Сергей Николаевич сбросил навсегда жалкие отрепья нашей убогой жизни и наконец-то освободился из-под гласного и негласного надзора. Такие люди, как он, долго живут и дважды умирают: один раз своей смертью, другой раз вместе с нами". Люди слушали и плакали. В толпе промелькнуло две-три разбойных физиономии, присланных на похороны не иначе, как с целью последнего письменного доноса, что объекту, состоявшему под неусыпным наблюдением воровской шайки, сего числа удалось скрыться под землей. Могилу закрыли больше руками, чем лопатами. Вовка достал из кармана необработанный кусок балтийского янтаря и вместе с глиной бросил на гроб, - возможно, оттого ему пришли на память слова из орнаментальной восточной прозы: - "Прах прославленного и достойнейшего усыпали амброй и драгоценностями". В тот же день покойного отпели в Троице-Сергиевой лавре.

После похорон открылась одна из тайн, оберегаемых Сергеем Николаевичем при жизни. Незадолго до того, как солдатские кости были свезены с госпитального кладбища на загородную свалку, люди каким-то ненароком пронюхали о преднамеренном кошунстве и пришли к Сергею Николаевичу гадать по мартирологу, кто был кто. Евреи узнавали своих по фамилиям Кац, Поц, Рабинович; мусульман интересовали Ахмедов, Бекмурадов, Шахвердиев, и юреневский список сослужил тем и другим последнюю службу. Сергею Николаевичу дважды пришлось сходить на пустошь и показать старикам, где кто лежит из их единовѣрных. После того прах из помеченных могил был под строжайшим секретом вынут и перезахоронен, а по поводу русских солдат никто не почесался. Что тут скажешь? - народ такой. Русские, они и есть русские, несчастные люди, с ними всегда обращались, как со скотом. Их, конечно, жаль, но достойны ли они человеческого обращения, трудно судить. Им можно не платить за работу, и они будут вкалывать и помалкивать в тряпочку. Просто такой народ. Да и защитить память ИЗВЕСТНЫХ русских солдат было невозможно. Перенесение останков вцѣть партийным намерениям выглядело бы в духе крайних националистических тенденций,

тогда как в стране свирепствовал оголтелый интернационализм в ущерб всякой народности. Но даже с учетом всего, что не удалось сделать, жизнь Сергея Николаевича была оценена людьми как высокое многотрудное подвижничество.

Вовка перебрался в Одессу, и связь между нами нарушилась. Я тоже сменил место жительства, и прошло лет около пятнадцати, прежде чем мы свиделись. Он, как и я, окончательно бросил якорь, устроился, семью завел. Не так давно он помер от рака, и его жена вовремя позвала меня, чтобы мы побыли вместе, а затем дала возможность покопаться в его бумажном имуществе. Там оказалось много интересного: с десяток томов Поль де-Кока по-французски, принадлежавших когда-то матери Сергея Николаевича, его же Библия, изданная в начале века, и воинствующий принцип "Насрать". Я немного задержался на художественном альбоме об Америке с полиграфией высокого качества, дарственной надписью и неразборчивой подписью, прочесть которую можно было лишь по догадке: Линн Гроув. Еще были мои письма, наши общие фотографии студенческих лет, стихи, посвященные жене и будничным домашним событиям, а одно из них было помечено моими инициалами и называлось "Мemento мори", что значит, "Помни о смерти". Заканчивалось оно элегически и без затей:

Хочу, чтобы до нас дошло:

Осталось меньше, чем прошло.

Мне показалось, что это написал ребенок, не поживший вволю, и я воспринял слова с грустью о прошлом. Конечно, жизнь хороша, интересна и заманчива, но повторять ее сызнова я бы не рискнул, - в ней слишком много потерь и, чем дольше живешь, тем сильнее чувство усталости. Все бумаги с книгами я забрал с собой, и они по сей день у меня. Но главная находка - вовкины дневниковые пометки, которые составили три концевые главы повествования, - без них оно было бы неполным.

А время что с нами делает. Всего четверть века с тех пор минуло, а в живых так мало осталось, хотя кое-кто еще скрипит. Об Ахтаке слышать трояко: то спился, то застрелился, то в Санкт-Петербурге живет, в ус не дует. Мнира Павловича Солохина перевели в Казань, - я к нему заезжал, но он был в командировке. Федя Гришечкин отбыл в составе посольства в Индонезию, - там его и след простыл. Много переменилось, можно даже сказать, перевернулось. Секретаря горкома Аминова не забыли? Его подвели в свое время под высшую меру по известному тогда "узбекскому делу", а теперь говорят, никакого "дела" не было, наговоры одни, зря человек за демократию пострадал, даже памя-

ник, будто бы, собираются ставить - во дела! Женька Таранец - член Госдумы, туда сейчас всех сволочей принимают. Эдуард Фокич переехал в Швейцарию, дом купил с бассейном, живет кум-королю, возвращаться не думает. О нем говорят и так, и этак, но у Вовки была причина помнить его по-доброму: тот ему сказал, чтоб на заявлении даты не ставил и считался бы на работе, как в армии, - солдат спит, служба идет, а как билет купит, тем числом пусть и увольняется. И как в воду глядел, потому что Володя еще полтора месяца после похорон Сергея Николаевича собирался и зарплату получал до последнего, и отпускные с отгулами больше, чем за два месяца выплатили, в общем, хватило ему, что на переезд, что на обустройство. Куприяныч всех переощеголял, ему под сотню подперло, а он все еще на солнышко щурится, хотя от ума помалу отходит и редко кого узнает. Ему кричат в ухо: - "Того-то знаешь?" - а он головой показывает и отвечает: - "Не, не знаю". "А Фокича, - спрашивают, - помнишь?" "У-у! - говорит. - Мужик был, ваш спрос, век не забуду, твою дивизию, а как же!"

Я побывал в тех краях уже после того, как Вовки не стало. Девочки его повзросли, замуж повыходили, семейно живут, но я их не видел. О Карданихе рассказывают, - раздобрела-разъехалась, поперек себя толще стала; эх! климакс прошел, сорок лет - бабий век, куда только красота подевалась, дурью на пенсии мается, а все хорошее в прошлом. В медресе Ханской Матери, где Сергей Николаевич жил, никого теперь нету, но на могилу к нему ходят. Федор Иванович Вадопшин раз в год к Пасхе подновляет церковно-славянскую вязь на деревянном кресте, а еще кто-то освежает лазурью металлическую изгородь. Как-то побывал там харьковский фотограф и врезал в дерево обрамленный портрет Сергея Николаевича на фоне ажурно-витиеватой оконной решетки, тот самый, что на венецианском биенале получил большую серебряную медаль. Повисел он денек-другой, а на третий его как и не было, - украли "со-смясом" и с гвоздями. И обидеться не на кого, вся страна такая, а в Азии, по рассказам, нынче хуже, чем в России насчет взять, где не ложил, хоть по нужде, хоть впрок, хоть на добрую память, и мораль по кругу: не украдешь - не согрешишь, не согрешишь - не покаешься, не покаешься - не спасешься, не спасешься - не украдешь. Короче, вор на воре, о чем вам и толкуют; страна такая и ничего с ней не поделаешь.

## БИТЫЕ СОБАКИ

### *Повесть*

*“Взирая на блистательные качества, которыми Бог одарил русский народ, первый на свете по славе и могуществу, по сильному и мощному языку, подобного которому нет в Европе, по доброте и мягкосердечию, я скорбел душой, что всё это задавлено, вянет и, быть может, скоро падёт, не принеся в мире никакого плода”.*

Протоколы высочайшей следственной комиссии по делу о 14-м декабря.  
Допрос В. Кюхельбекера.

### І. Власть

**Д**ело не в соболях. Разговор был попутный, и соболя просто к слову прились, а Никифóр возьми и скажи, что сорок соболей на шубу много, соболю не крот, тридцати за глаза хватит, а то и меньше, а что, мол, мера царская - сорок, так она у них известная, - куры не клюют, вот и мера. С ним спорить - разве каши гречневой наевшись, такой он человек; рассердится, от разговора уйдет, и лицо у него тогда, как замок амбарный. Да не потакать же на характер? Моя, что ли, вина, что шубы шили улицу мести? И рукавицами гнушались, до земли рукава пускали. И шапка столбом с полметра горлатная. И хозяин - Верзила какой-нибудь Твердилович, сажень косая. И все сорок, выходит, как на нем были, - что ж тут “много”? Никифóр на это не рассердился, а захохотал, высветив полный рот золотых зубов, и спросил, пересмеявшись: “Это идé ж таких-от шуб видано?”

Отсюда начался краткий курс родной истории, веселая суматоха царей и князей от “А” до “Я”, где венчались на престол меховой мономаховой шапкой, щеголяли в мехах, торговались запродак души о том же, жаловали мехами, дрались из-за них и скандалили, ясак взымали, приданое давали, взятки брали - ими, платежи расчетные, долги, залог - опять же они, меха, по предпочтению соболю.

Отдай, Стенька Разин,

Отдай свою шубу.

Отдашь, так спасибо,

Не отдашь - повешу.

Шуба ценой в Стеньку - соболя. Затем пошел народ поплоче: фантастический Онегин в бобрах, хутородный Шалапин в еноте, светские камелии в хорьках, ваньки в заячьих поддёвках, прибыльщики в кунице и купечество, именуемое "лисьей шубой".

Всю эту тарабарщину от фамилий до закупочных цен и стоимости тогдашней жизни Никифóр выслушал и запомнил очень серьезно, скорей всего, по закону деловой надобности, когда легко запоминается. Работал он промысловиком, или, по его выражению, промышленником, так что пушнина для него была обычным, порой нудным и всегда утомительным занятием, а тут, откуда ни возьмись, цари да князья, да история с литературой - важность. Наверное, Никифору это приглянулось, он и запомнил, а за запах сборного виногрета рассчитался звоном всей своей наличности. Речь, правда, он повел не столько о соболях, сколько о другом, и обнаружил в себе чистокровного москаля, который поднабрался у хохлов словечек, приспособил их к семиладному русскому ладу и говорит - вначале странно, потом любопытно, а привыкнуть, так и вовсе хорошо, хотя мотив, конечно, прост, как во поле береза.

Прежде того, что с ним в дальнейшей жизни приключилось, был Никифор молодой, военную службу нёс при собаках, вскармливал их, пограничных, на проходку гулять водил, под шпие́на обряжался, чтоб оне его рвали на куски, дерьмо за ними согребал и считался первым дураком во всей Красной Армии. И была у них в вольере собака, Форт звали, умнеющий пёс, всё умел. Нестерук, старший структор, выдрочил его гавкать до семи раз по счету и разные тонкости, рассказать - не поверят. К примеру, водку лишьшь распочать не может, а та́х-та - и в кружку нальет, и бутылку, капли не оброня, поставит, а Нестерук-от выпьет, ногу на ногу вскинет и постыдную дает команду. Ну, кобель тогда сигаает и натурально хочет структорский сапог снасиловать. Все кругом жрут, чертям тошно аж, а Фортú за то кусок рафинаду. Смекалистый пёс был - куда! Ежели б ему за место сапога нарушитель границы попался, то-то бы он его удивил. Но нарушителей не шибко было много, а Фортá извели по таковой причине.

Обучил его Никифор одну штуку робить и без никакого рафинаду, потому - собака животи́на способная, пакость за плату творит, добро за доброе слово. Пришел однава структор шутки навеселе шутить, а Никифор цокнул издаля языком, - у собаки-то слух вострый, не как у людей, - она структору мотню расшила и ятры выпустила, доктора вправ-

ляли долго. Фортá, ясно, убили. “Сбесился”, - говорят. А какой “сбесился”? Посчитался кобелёк за науку, за погань людскую - полный расчет. Нестерук-от, небось, попомнит его до смерти пуще ласки родительской. Касаемо Никифора, никто ничего, потому - известно: во-первых, дурак; во-вторых, “из дярёвни приёхал”; в-третьих, “а тамотка все тах-та”. Ну, и сошло наперво.

А как он дурак, то и на занятиях запросы у него дураческие. “Как же, товарищ командер? - спрашивает. - Нешто неприятель станет дожидаться, пока в него стрелять учнут, чтоб, значит, малой кровью одоленье? А что, как он тоже додумается: мы бежать - он погодит, мы стали, чтоб на мушку его, а он раньше нас - шпок! - и бывай, а?” “Нет, - командер говорит. - Вы, красноармеец Беспалов Никифóр, не так понимаешь задачу, что вспроть красной рабоче-крестьянской никакому неприятелю вовек не додуматься, садись”. И смеется. Другие с ним. Потому - со стороны видно, какой-от Никифóр глупой: все до одного уже поняли, а он хоть бы толичко. И при нем же говорили, что на дураках Расея спокон века построена, никакой умник не образует, а ты, Никифор, понимай, как хошь. Одно слово, снущались над ним, кому не лень, дурили дурóm и дүриком погоняли.

Со службы возвратился он побирушка-побирушкой. Сельчане спрашивают: “Что ж ты, паря, Аника-воин, тудыт-твою поделом, красноармеец Никифор Беспалов, служил-служил, да гол, как сокол, вышел? Или не достиг диагональки-от задрипанной срамоту поприкрыть?” А он им: “Вышел-де приказ от Тимошенки-маршала, и он, Никифор, под боевой тоё приказ угодил, а тамотка прописано попридержать ее, диагональку-то, потому - наукой доказано, - ей, диагональке, два сроку носу нет, ежели с умом. От такого да приказа народу крупное послабление произойдет и жизнь наступит разлюли-малина, до того зажиточная, а красноармеец на то и красноармеец, что он и в огне не горит, и в воде не тонет, и закаляйся, как сталь”. Смотрят на него, смотрят, не разберут: не то дурак, не то придурок. Решили - дурак; больно уж харя тупая и глаза мутные без просвета. “Ну, и поди, - говорят, - бычкам колхозным хвосты крутить; там-от как раз твое место за старшего, куда пошлют”.

Но Никифóр туда не пошел, в люди подался. Рабочий класс маненько слаще жил, чем трудящее крестьянство, - он и приткнулся, иде слаще: в город на лесопильню. Робил тах-та год, робил еще и наробил: состригло ему на пилораме два пальца с правой руки, один - указка, другой - середка, что ты скажешь! Он их подобрал, обдул опилки, норовил

обратно притулить - не пристаю. Работу все побросали, сбежались, что смеху было! "Ты, Никифор, - советуют, - варом их пришмандоль столярным". Он и варом пробовал, - не берет. "Ну, - говорят ему, - не шибко крушись, фамиль у тебя такая, Беспалов, на роду, стало, написано, вспроть судьбы не попрешь, зато Беспалов ты теперь как есть, хошь по докúменту, хошь по пальцам".

Через месяц - хлоп! - война очечественная. Кто смеялся, тех на фронт побрали, а там кому ногу долой, кому руку, а кому чего повыше: накость, посмейся со своего, чем с чужого, дешевле выйдет. Никифора тогда под суд упекли, вроде он сам это себе удумал сотворить; стало, наперед знал, сучий потрох, что война, потому - дезентир и стибулянт высшая марка, расстрелять мало. "Но вы, - следыватель сказал, - Никифор Беспалов Трофимович товарищ, вы лично не виноват, виноватый тот, кто вас подучил тах-та пальцы отсечь, убыток родным властям учинить, летось в холодке отсидеться, зиму на припечке, от фронта подале. Но как вы, - говорит, - сознательный и умнеющий из всех, кто нам попался, то покажите на секретного врага, кто вас в это дело захомутал, незнамо за сколько, и мы его арестуем, а вас отпустим на все четыре, паек дадим и лишнюю карточку, поправляйтесь, потому - грамотный, два класса образование, должны соображать, чего выгодно, чего нет".

"Спасибо, товарищ начальник, - сказал Никифóр, - на вашем на добром слове и что вы такой человек, не как другие. А то думают: вот Никифор, тёсана морда, стамески нет. Один вы предметили, кто я таков и на что способность. За тоё вашу ласку-привет, да я те на кого хошь покажу, хошь на булгахтера, хошь на дилектора самого, ей-ей, моргни только. А ежели мне еще карточку на пропитанье, так повсегда прошу обращаться, потому как Никифор Беспалов днем и ночью нащепь готов, коль властя велют". Тах-та он им доложил.

Следыватель двáдни думал, сизый селезень, что с ним, стибулянтом, по закону требуется, на третий придумал: сам на передых, умаявшись, и вечерять, а по дороге, значит, того: "Выгоньте, - говорит, - мне этого дурака, духу чтоб не чúтно было". К Никифору двое робят, мастера, собой дюжие, гимнастерки синие, галифе диагональка. С-под боков подперли, докúмент в рыло сунули: "Выматывайси, - командуют, - раз, два, три, левой!" Да Никифора на кривой не объедешь; оне его по шеям, а он им насчет пайка, хлебной карточки и два класса образование. "Выматывайси, - кричат, - шкура, дезентир, тудыт-твою поделом!" А он упёрся и

ни в какую: “Не выду, - говорит, - доколь пайка не будет по суду обещанного. Подряжали, - стало, давай”. Ну, схватили его под микитки, на крылец вытянули, носом в калюжу воткнули. Отряхнулся Никифóр, засмеялся себе на уме и пошел с утра на работу.

Как лесопильню на военный лад перестроили, то стали оне выпускать танки, совсем настоящие, только деревянные и не ездят, а заместо пушки оглобля зеленая немцев пугать. Ну, немцы предметили опасное производство, потому - танки все на виду, и бомбили их на дрова, так что с планом ничего не получалось и невыгодно тоже: сколько наробят, столько разбомбят, а больше ежели - больше бомбить-от будут. Дядя Григор, столяр - первая рука, говорит: “Надо было выковыриваться в глубокий тыл и там-от план давать, а под бомбами робить план трудно до невозможности”. Тут-ка сзади к нему двое подошли в диагональке да один левóр-вер вынул и со спины дядю Григора два разá застрелил. “Тах-та, - говорит, - всем, кто сеет панику”. Кругом все боятся и молчат, один Никифор трепыхнулся: “Убивец, - кричит, - раклó, пошто человека умертвил трудолюбимого?” А ракло подсмехнулся и вдругорядь за леворвером полез, да народ заступился, кричать стали: “Он глупой! Он недоумный! У него справка есть! Он чего хошь ляпнет - не отвечает!” - “Ну, - говорит ракло, - глупой, это другое дело, надо разобраться, а то, могло быть, он у вас под пастушка робит, а незаменимых работников у нас нет”. И пошагал с конторскими властями разбираться, а те сказали, что, мол, - да, как пробка, и на самой пакостной работе содержится. Сразу-мел тогда Никифор, что народ заменить, как вошку стряхнуть, одни властя незаменимые, и что дураком уродиться - счастье на всю жизнь. Стал он беречь тоё счастье и не высывался боле до поры.

Еще заставили его всю войну что месяц на комиссию ходить, чтоб за пальцами, значит, наблюдение, потому - новые отрости должны, и его, Никифора-от, можно тогда на пердовую. Ходил он, ходил - не растут пальцы, хоть ты что. Доктора щеки надуют, лоб наморщát, на Никифора серчают и все, похоже, думают: “Ах, стибулянт, туды его поделом, не иначе, робит он с ними чего-сь, что не растут”. И со всеми тах-та: калека, инвалид, - все одно, справку день в день предоставь.

Был тамотка один с лесопильни, ногу на войне отняли выше колена, тоже ходил-чикилял-обижался. Ему, правда, два раза в году ходить было, потому - нога не пальцы, долго растет новая. Никифор попомнил надсмешки, помстился.

“Ну, что? - говорит. - Фамиль-то как твоя? Укладнóв или, чай, Безногов, товарец? Меняй-от теперь докúмент по ноге на случáй упадешь - легче встанешь”. Молчит, помнит, стало, смешливый. А тоже ни шиша не выросло, освободили после войны.

И до того опротивели ему властя, хуже горькой редьки. А все одинаковые, одним миром мазаны. Человеку просто-му хоть сгинь-пропади, им горя нет. Вестимо дело, без властей тоже не житье: там грабёж, там на дороге шалят, там сироту фулиганы обидят, - чего-ничего! - за всем доглядеть, всё устроить - работа. Да больно уж лихие Никифору властя попадались; что лютуют, что над народом смываются, сущие баре: ни на сироту смилуются, ни на вдовью бедность погребуют, до жива мяса обдерут, мало без портов-от пó миру не пустят. Что Никифор от них принял снущений всяких и обмана - не сказать. За тоё-от и не захотел он середь людей жить, далече подался, тамотка вольней.

Как война кончилась, надумал он кинуть близкие места и уехать, иде нас нет. Добром же никого не отпускали, потому - рук рабочих нехват, дались им, вишь, руки-от рабочие. И придумал он в остатний раз дурака сплясать: купил газетку центральную, поперёд себя выставил и - напропалую, была не была. “Вот, - говорит, - как властя нашие призыв дают Восток Далёкий освоять, то я, - говорит, - желаю сей же час в первых рядах, ура”. Поскребло начальство башку, сказать им нечего, говорят: “Проздравляем вас, Никифор Беспалов, что вы такой сознательный патриёт, дозвольте пожать вашу ручку и желаем счастливый путь с музыкой”. И стал у всех обиход с Никифóром, - ну, не знают, куда посадить, чем почтовать. Мигом газетку по области сообразили, портретик с крупными буквами: “Ау, иде вы есть, молодцы-беспаловцы, а ну, айдате на Далёкий Восток с Никифóром!” И всякую небывальщину там-от понаплели, - страмота: и идеев у Никифора мешок под завязку, и ударник он от зыбки стахановский, и первопроходимец диких краев, и в партизаны когда-сь во сне метился победу приближать, и разные от-сивки от-бурки, поминать стыд. Да и то добро сказать, что стыд не дым, а проморгался - завербовался.

На место прибыл - дело просто: лес вали, ветки круши, бревна катай, в штабель складывай. Стало ему тамотка куда как обоюдней: беспорядку гораздо, властям не углядеть, работа со свету до свету не разогнись, да робята кругом шибко свойские, - живи, не хитри, не выступай, то и сам жив будешь, а нет, так пойдешь в лес цыгану долг отдать и заблудишься или деревом тебя привалит. Никифóр трудил-

ся на добрую совесть до полного просветленья, что при таком-от распорядке, когда на дураках все поставлено, за вред платят поболее, чем за выгоду. Ужотко он вреда наробил, пеньков по себе оставил, какую пустынь произвел в богатом краю, сколь того леса в гной-землю пошло - нет счёту, а указ - "давай и давай", потому - кто боле вреда натворит, тот герой и в Москве ему орденок припасен с документом, а что вывоза нет, тлеет все, преет на корню годами, - "не тебя, Явропа, касаемо", - такое у Никифора было прозвище.

В тех-от краях повидал он зверя прекрасного вдоволь, а Никифор толк в любой красоте смыслит, вот и приглянулось ему всё, а соболь отдельно. Власть соболей пуще всего любят и деньгу дают получше. А и как не любить? Смущек соболий, мех-от птичий, дунь - полетит, одно чрево матернее мягче будет: на выдерг не податлив, щеть не ломок, плечам не в тягость, а поглядеть - душа вон просится, глаза воровством блестят, руки сами собой снуют: возьму, мол, и не отпущу, а ты что хошь, а я не отпущу, тах-та. Дорогой мех, неопиcуемый, отрада глядеть, да пушинка к пушинке, да вымытая вся, да переливчатая, да мать честная какой. Не устоит другой зверь вспроть соболя, бобёр тоже не устоит. Такому-от зверю да дробью шкуру дырявить? Никак. Ты в ловитку его бери, чтоб целый, значит, а стреляному соболу пшик цена, на ружье, стало, не надейся, потому - не придумано ружья на него иголкой стрелять, в глаз попадать. У самого меткого меткача Никифор поспорит и в третьей наугад шкуре дырку найдет заделанную, - то-то. Ныне, слышать, соболя в клетке разводят, но это не тот соболь, который природный: и мех у него жиже, и глянца гораздо мало, а бархата вовсе никакого нет, потому как светлеет он в неволе, цвет свой темно-коричный царский теряет, - вот оно что, шило на мыло менять, свободу на каторгу.

Переменил тогда Никифор свою жизнь без возврата: выдюжил срок по договору, рассчитался и еще дале махнул, на самую вольную волю, иде лес с болотом сходится. Лес, он, кому урман, кому тайга, а Никифору лес, и аскыр - не аскыр, а соболь, - не привык он к разным словам, одно лишь болото тундрой стал звать, тах-та оно короче. Прибился к берегу, и обзавелся, и обженился, и в артель поступил в охотницкую, и зимовку, гляди, заимел на участке далеко, заброшенном, и струмент гожий, и на промысел вышел, а для того собаками разжился, две упряжки их у него, собакот, одна молодая, другая перестарки, и все - битые, дорогие, потому - за одну битую две небитых дают. Кабы напар-

ник, он бы их и не бил, да одному рисково промышлять, а с нёуками небитыми пропадешь без напарника. К тому ж, не охотник он, а ловец: стрелять его Бог не сподобил, пальцы отнял нужные, а ружье ему на крупного зверя дадено. Да и видит он впотьмах слабо сызмалу, - на собак вся надея. Пушняка он сдает смушками тах-та: лиса, горностаи, куница, крыса водяная - ондатрой звать да еще соболь. Белку Никифор не промышляет и зайца тоже: белка по земле мало бегаёт, ее на дереве бьют, а у Никифора ловитки; заяц же сам по путику в петлю прёт, да для другого предметен, - живая привада, лучше нет. И жить Никифору вольготно, и заработок добрый, и сам себе властя.

Оне, верно, и туточка ему докучают, но не как ране, а все ж таки, потому - лены оне, властя, не дай Бог. И скрозь тахта: робить не хотят, а на деньгу жадные, без этого дела ты к ним лучше не ходи. Справку в районе выправить плёвую - затаскают по кабинетам, задурят башку, друг на дружку валют, перстом на-Бога тычут да приговаривают: "Не всё до-разу, надо ждть". Довелось, вызвали одновá. Какой-сь Мефодий Беспалов, душегуб, власовец, иде-сь чего-сь натворил, а с Никифора спрос, как он однофамильный. Он им красенькую володю - тырк! - под локоть. "Никак нет, - говорят, - товарещ. Много запросов, шибко большой злодей и что худо - на тебя подходящ. Поди поселись в гостиницу да приходи-садись биографь писать, а мы проверим, иде родилса, иде крестилса, иде чего, и тот ли ты Никифор, а не этот Мефодий". Так он им на три зелёненьких не поскупилса - тырк! - а что делать будешь? "Ну, - говорят, - другой табак, давно бы тах-та, биографь можно не писать и в гостиницу не надо, а запросы мы сами уладим". И тут же ему за раз чихнуть справку, что Никифóр это вам не Мефодий, а доподлинный Никифор, скалчительно честный трудящий наш. Поблагодарил Никифóр за их заботу, а оне ему: "Мы прислуги народа, это наш долг, мы завсегда перед геройскими трудящими в долгу, как в шелку, уж вы только заходите, а мы уж расстараемси", а у самих на уме: "Поболе б таких дураков, то-то жить было б!" А Никифóру, чем взад-вперёд ездочиться, лучше добром откупиться. Тах-та он и робит, откупляется за сладкую тоё свободу.

Через нее он и курить перестал, и от водки уберёгса, чтоб не пахло от него в лесу, чтоб был он тамотка свой без лишнего духу, как зверь чистый. В поселке ему тоска, два месяца семейно поживет и - обратно, благо вертолетчики теперь-от по его заказу раз в году отвезут и привезут, и за смушками на зимовку заедут, и Щербан-приёмщик с ними,

мужик жуликоватый, разговор детский: "Кончай, Никифол, Фланцию чепулить, челвонцы глебсти, длугим дай плибалахлиться". И отложит сам себе мало-мало по-божецки.

На зимовке ж ему скучно не бывает от работы, а главное в работе не домашность прочная, не ловитки хитроумные и не соболь драгоценный, а угадай чего. Собаки - главное. В них, битых, вложил Никифор и жизнь, и прожитие, и капитал, - всё сполна, ничего не пожалел-оставил.

## II. Слава воспетая

**Б**итые собаки веку своего отпущенного, как люди, гораздо не доживают, годов этак на пять. Чего-сь у них в середине ломается, и после десяти лет разбивает их паралик, требуется подмена. Да она Никифору и помимо того требуется по причине уговора по добру с природой ладить: иде повремени, иде приноровись, а то и вовсе попусти, не претикословь. К примеру, закон собачий гласит: в жнивó не женись, зимой не щенись, в снежок погуляй, хоть десяток рожай. Тах-та по закону разрешает он им гульбища с масляной по вёсну самую и лета маненько. У людей когда-сь тоже был таковой обзавод и - ничего, не перевелись. Вот и выручает Никифор сучку от кобелей на неделю-две под замок, пока бросит она свою дурь до предположенного времени, а всё одно не углядишь. Расплюнется Никифор да чертыхнётся, а хошь не хошь, - выпрягай одну тягловую в декрет, она те не работник, у нее мысли другие, ищи подмену. А подмена, - когда есть, а когда и взять-от негде, хоть к соседу едь, да свет не близок - двести пятьдесят верст до ближнего тоё соседа, как саженом отмерено.

И много у них человеческого, у собак: что сноровки, что хитрости, что ума, разве только честней, чем у нас, потому - не вымудряются и всё на виду содержат. Вот обратал он, сказать, собаку, а ее тряска зыбкая колотит и вид преступный: "Не сдюжу, мол, хозяин, санки тянуть-от, извиняй". Ручку ей в рот засунул, а тамotka - блины пеки. Ну, билютень, стало, и кусок особый, лучше для поправки - вареный. Другая, гляди, заартачила, не хочет робить, хоть запори, вскобенилась. И тут Никифор бесперечно не спорит: иде-сь чего-сь не доглядел, какую-сь обиду, пуцдай покобенится, а пса он за характер куса не лишает; он, кусок-от, Никифору, вроде сказать "Я извиняюсь", а собаке без аппетита, - робить не робила, а лопать давай. Да и мало ли: одна подкуется до хромоты; другая, послабей что, вовсе из мочи на выходной выбьется. Вот и подменяй молодых стариками

или наоборот, когда как. А ежальный пёс битый при нужде в любой паре по гроб жизни работник.

Тоё ради благовременной подмены во всякое пятое лето, когда иде суки щенятся, Никифор тут как тут кутят выбирать и платит красенькую за штуку. Ему б и даром дали, - куда лишку собак держать, но он мужик с перебором, одного, много двух из помета берет и за тоё перебор платит. Стараётся он, ясно, чтоб кобельки, оне надежней, но, бывает, и сучечки по предмету путевые попадаются, и Никифор не гребует, хотя в упряжке у него боле трех сук не ходило. Кутята еще молочные, с ног под собой валяются и хлебом ржаным пахнут, из печки вынутым, - таково псинка молоденькая пахнет приятно! - но заметки у них - уже, а какие - Никифор знает.

Красота - дело особое. Ездовая порода не тах-та в глаза шибается, и масть у них по большей части скучная. А не последнее дело человеку трудящему на труд свой покрасоваться, потому - красота от правды недалече, а от красоты радость, от радости охота, от охоты разуменье, от разуменья удача, а кто не понимает, говорят-от: "Везет, мол, дуракам". В красоте Никифор ни маху даст, ни уступки; упряжка у него первеющей выставки, ежели кто видал.

Другое дело - характер. Его с-под споду достать куда трудней, и Никифор нет-нет да прошибется, но все ж таки угадывает предбудущую свою упряжку с самого первоначала, потому - знаток. Для знакомства делает он им проверку, вроде забавы, и забавится долго, а какой щенок ему приглянется, тот жив будет, а других потопят, ежели помимо Никифора охотников на случай не сыщется. Он им в рот заглядывает, в ноздри на чох дует, бабки щекотит, дикие мясá нáщуп визнаёт, за шкуру протяжно воздымает, пузо чешет, хвост щемит и чего-чего не робит. Оне скулят, урчат, бурюкаются, силов у них разве что в помине, а иной-таки огрызнется Никифору пальцы на целой руке посчитать. Тогда Никифор сам зубы скалит, ровно собака, и сопит от удовольствия, а норовистого предметит и еще чего-сь ищет, одного норова ему, вишь ты, мало, ему весь характер кажи-давай.

Пять собак - слезы. Семь - туда-сюда, недалече можно. Девять - уже, стало, садись, паняй. Но лучше - одиннадцать. У Никифора всегда нечет-одиннадцать бегают, потому - передний должен авторитетно сам бежать, вожак он. А что кутятами перебор числа, так лишние выбракуются, покуда до рослой упряжки возрастут. Одно жаль: кабы тоё выбраковка с хвоста шла, а не с головы, оно бы куда способней, а то

ведь - нет, самолучшие погибнут, самовернеющие, такие, что вся надея на них, а Никифору опосля сердце памятью от них отрывать легко ли?

Вот он, стало, собрал их и замкнул в закутке в темном, в сарае, - тамotka пушай снюхаются-обыкнут, а Кулине насторого не велел в сарай ходить и детям заказал шуметь на подворье, - нельзя. Собаки смалу одного Никифора должны что видеть, что слышать, что по нюху чуть, а он им хозяин и от него всё: суд, расправа, закон, приказ. Но это когда еще оне в привычку войдут, а дотоль школить их следует день в день и уму учить, рук не покладая, потому как успехи нашии столь же от похвал берутся, сколь и от взыску. Тогда на них надейся: вывезут, не бросят, не подведут, одолеют, ежели науку достигли, а наука ихняя с кормежки начинается.

Кормит их Никифор с первого дня сырым мясом: то сечка, то крошево, то куски поболе, когда на выросте, чтоб не враз слопать, а повозиться, зубы оголить, ножи обточить, жомы набить поухватистой. Входит он, понятно, в расход, закупает пудом печень, легкие, селезенку и что покрепче: сухожилья, мослы, а в них мозги сладкие, да ты их разгрызи-вынь сперва, а опосля ешь. От сырого мяса, дай срок, дикая шерсть у них полезет гущиной с овчину, жилы напружатся, и стервеют оне, как звери. Точная точность, - сколь продукта вложить за раз в каждого. Перекармливать не полагается, чтобы брюхо не тяготить, а то переложил в них лишку и пошел, стало, корм не в прыть-от, не в резвость и не в тягло, а в жир да в лёжку, - лопнул кошэль, пропали деньги.

Мясо оне враз полюбили и дрались за него, ровно люди в магазине, когда им скажут: "Спокойно, граждане, зачем понапрасну себя волновать? Мяса всё одно нет и костей на всех тоже не хватит, расходись без милиции". Свивались оне в кубло на первом же куске, и каждый кусается, отпихивает, рычит, только бы завладеть. Никифор их не разборонял, покуда кусок не доставался, - кто сильнее, и тах-та по очереди. Тогда он им говорил: "Ну!" - и кутята бросали драться, потому - сообразили скоро: сейчас-от пойдет новый кусок, не зевай. И за новый грызлись, копошились, в узелок завязывались, перевертывались, шум в злобе поднимали страшный, и каждый норовил - быстрее. Опять Никифор говорил: - "Ну!" - и тах-та, покуда кормежка. Оттого оне всего раньше слово "Ну!" спознали и обозначало оно у них опосля столько разного, что людям надо сто слов сказать, и то не всякому растолкуешь, а собакам одного будет; оне, помимо слова, голос чуют, какво ты им сказал: резко, длинно, в сердцах, весело, тихо или криком или еще как.

Всё до малости предметит Никифор, кто из себя каков: кто хитрый, кто вовсе бессовестный, кто раззява, кто придурковат, кому, стало, первый кнут, кому остатний. Тут-от припасена у него лозина хлесткая из березы, отваживать от подлых повадок и на истинный путь вразумлять, чтоб не испрокудились. В наказаниях толк особый и для науки крепко нужный; не осилить собакам премудрость Никифоровскую без березы. Опять же: зря наказать - себя лучше поштейгай, убытку мёне. Наказал понапрасну - испугался пёс, вошел в него страх, потому - невьсть собаке, пошто ты ее тах-та, за какую-такую провинность. А Никифору трусоватой собаки не надо, ему навспрёт надо, чтоб она страху не ведала и самому черту в зубы глядела б с рыком. За дело когда, - это совсем другое. Только не откладывай, а на месте и дорáзу, чтоб, значит, шкodu сотворенную или подлость нечаянную тут же ей к памяти прицепить. Раз ты ее отхлестал, два, три, да всё за то ж самое: "Ага, - собака думает, - значит, нехорошо, значит, ни к чему тах-та робить". И усвоит науку нáкрепко. Никифор бьет - не мажет, больно бьет, хлестко, с оттяжкой на себя, абы не через силу, а то покалечить можно, а ему калеки на что? - он их не на пенцию собирает, ему помощники нужны справные. Вот и держит он с ними ровный характер и справедливость, потому как полновластья добивается.

Возрастали оне, возрастали, держал их Никифóр в клети, держал и выдержал. Впотьмах собак подержать не вред, лишь бы не через меру, а для чего - узнаешь. Перво, свыкаются оне друг с дружкой, как люди в тюрьме, цену себе правильную подбирают и выше своей цены уже, стало, не возносятся. К тому ж глаза у них к сумеркам приобыкнут, а это Никифору край надо; он отродясь ночьюми мраком куриным мается и сахар вареный кусковой сосет, как лекарство, хотя, не сказать, - глаза вовсе выколи, а не видит хорошенько, как другие, и охотник из него не то, чтоб хреновый, а вовсе даже никакой, кабы не собаки. Ночьми чего не бывает; день-от зимний, как хвост у зайца, ворочáется Никифóр до хаты с объезду когда невпрогляд за полночь, когда утром, а когда и на какие-сь сутки, как погода прихватит. Вот и нужны ему пособники, как поводырь слепому, вот он их и воспитывает на темное время. А хоть бы и днем. Человек он, конечно, в свету глядит подале собаки, зато вблизи у нее метче прицел. Ну, а третья польза, - что берут оне в малый свой рассудок, вроде клеть хозяйская - весь им до копейки белый свет, а дальше клетки ничего нету, один шум посторонний.

А как привез он их на зимовку, как выпустил на волю, как глянули оне на́ небо, на солнце да круг себя - одурели со страху, до кучи сбились, хвосты дрожат, не знают, чего дальше. И очень все просто. Ежели человека в смарном чаду возвращивать и моментом на свежий воздух выпустить, так с ним или разрыв сердца будет, или взмолятся Христом-Богом: "Возверни, - скажет, - меня, иде взял, потому - смар и чад мне родней рóдной родины". И собаки тах-та. Скулёж тихий и плач - беда. Туточка Никифор выручил их громким голосом, чтоб не в́усмерть пугались, а в голосе у него бодрость и смысл: "Что оробели, робятки! Покуда я с вами, ничего не бойсь!" Тах-та оне и сами опосля думать привыкли: "А и правда, чего робеть-от, ежели Никифор тут-ка". И стали самостоятельно разбираться: нос в гору, отколь чем пахнет, иде чего находится и каково оно из себя, столь обширное благоустройство, тоё земляной шар. А Никифору только и надо, чтоб оне самоё свободу от него в награждение приняли и зимовку почитали б, как дом спасенья своего.

Это, чтоб у них произволу не было, когда без Никифора доведется, и место свое чтоб знали. У него рослая упряжка вовсе на лето остается, а - ништо: полюют, мышкуют, не дичают, домой собираются, науку помнят на память. Молодых от рослых он отдельно держит, - неинтересно им в одной клетке, а кормить не кормит ни тех, ни этих: мяса у него летом в обрез на самого, пушай сами себе по тёплу пропитанье добывают, а в сани пойдут, свой кусок трудовой заробят. Ну, оно не враз тах-та: "Не стану, мол, вас кормить, хоть вы передохни все, какое мне дело".

На азбуку он им полведра полёвок-мышей живьём схарчил, - учись читать: запах, след, гнездо, нора, лапами гребсти, зато опосля вкусно. Выучились, наторели, живокровного в рот взявши. Подростками хомяков тундряных брали. Рыбы спробовали - тоже сойдет. А в осень споймал Никифор утей, крылья им обкорнал, чтоб не лететь далече, и стравил. Во иде охота была развеселая, лаю-от послушать молодого! Тах-та оне ума набрались помалу, что в природе про всякую тварь припасено, потрудиться ежели.

Рослые собаки тоже учителя на свой лад. Молодых обнюхали, спознались, кого лизнули, кого пихнули, на кого гиркнули, а обидеть - нет; очень понимают оне, рослые, малых и наука у них - подражанье. Ну, до того с людьми схожесть, даже не разберешь, кто у кого первой подражать выучился, - люди ли у собак, собаки ли. Промеж родителями и детьми у людей как? А вот так: "Я, сынок, краду, и ты, ста-

ло, не попадайся; я тах-та ловко того-другого облапошил, и ты учись; я пью и ты привыкай”. Собаки - всё в точности: “Я делаю, и ты делай; я теплый след взял, и ты умей; я рыбу из воды вынул, и ты себе вынь, раз-два обкупнешься - научишься, кормись”.

День ко дню да собака к собаке и получается сельсовет. У них тоже водятся что лены, что хитрованы, что взгальные, но не как середь людей, потому взыск равно для всех строгий: за общий вред гуртом бит будешь; за пакость собачью никто тебя с-под хвоста не понюхает; а через лень свою сдохнешь за лето, как Никифор-от кормить бросит. И еще: робят малых привечай, почтуй; суку не трожь, она тебе не ровня; чего с кем не поделил - подерись, да не по-людски до крови, до смерти, а до верхней силы. Взял, так взял; нет - подожми хвост. А ежели супротивник загодя на спину лег, живот показал - дай живота, отступись, лежачего одни люди бьют, не всему от них учиться. И над мертвым не глумись, а понюхал - уйди без злобы; это у людей мода, - пока живой, не знают, куда нюхать-лизать: “Ах, дорогой наш товарищ, да синпатичный какой чернобровец, да тебя народ пуще себя любит и все книжки-газеты, какие на свете есть, про тебя одного писаны”, а помер - говорят: “Подлец, сукин кот, вор, темна ночь - мать родная, тах-та ему и надо, подлецу, а мы и не знали, что Оторви-Полтина-Иванович, думали, хороший”. Такую-от переменчивость собакам вовек не понять и - добро, а оно и людям не худо чему доброму у собак поучиться.

Возрастали оне на просторе незаметно и подравнялись один к одному, тах-та за полсобаки к году вымахали, а что резвости да прыти, да силóв у них прибыло, хоть нащуп тронь: бабки, грудь, спина - всё. И перезимовали не в убыток, и лета дождались, а к новым заморозкам достигли полного роста, жилы поднабили, одна кость у них оставалась хлипкая. И пришла пора учить их на специальность. Построил он их парами, запряг; какие покрепче - спереди, послабей - сзади, и дал волокушу тянуть, жести кусок, весом к саям груженным, чтоб доразу в привычку, а сам с ними бегал и командывал: “Паняй!”, “Стой!”, “Право!”, “Лево!” - такие все слова.

Собаками править - вожжей не нужно, потому - способность у них жуткая глагол понимать и выходка человеческая: кому одного пинка достанет, кому два, а кому вовсе ничего. Смысел слова им достигнуть - всё одно, что зайчиное ребрышко хрупнуть на зубец. Не иначе, свыше это у них, боле неоткуда, а Никифор-то какой ни есть, а ума у него додума-

ться хватает, что собака опосля человека лучшее у Бога произведенье. И в приказ оне входят не хуже нашего, абы слова были короткие, не трали-вали какие, а чтоб ты “Пра” сказал, а на “во” оне уже морды, куда след, поворотили, - тах-та. Всего трудней им слово “Цыть!” далось, на случай в засядке сидеть или тишь лесную с верху до земли вычуять. Туточка оне причины мертвó сидеть не смыслят и долго не подчинялись, особо кто с игручим характером, да Никифор, он - щедрый, у него дранья и заушей столь припасено - ого! - сразумели. Теперь гляди: ставил он их без образования, а чуток погода - диплом им всем выдавай. Только ноги у Никифора с тоё науки гудят день и ночь; шестьдесят-от ему, Никифору, не убежаться, как по-молоду.

Ездовые собачки - нету их лучше, а всякая порода на свой манер. К примеру, охотницкая. Этой зверя под ружье нюхом выганивать - распрекрасное дело; как завидит хозяйина в полной справе, радость из нее прёт - не удержишь, прямо те плясавица на свадьбе, что ей ныне день такой всласть порыскать. Хоть бы Фортá взять: ведь какой пёс, вечная память, одаренный был да разумный. У ездовых, конечно, по-другому: нет у них охотницкого талана, а есть талан трудящий. Ничего боле не надо, а дай-от им человеку подсобить в труде, да он, человек-от, за то передых даст желаемый, да по имечку кликнет, да рыбой-мясом наградит из собственных рук, да снег промеж когтей набитый вычистит, да слово какое лаской скажет. То-то у него доброты, у человека, то-то правды! Как же им тах-та не размышлять по-милу, по-любю? Он и плану им в перегруз не даст, - знает, что оне, как он: дал насильный план - своего недобрал, послабил - три плана взял, во-как! Оттого-то середь других, у кого один план с грехом пополам, а у Никифора - сам-два, сам-три. Оттого и зубы в ротé у Никифора на полторы тыщи блестят - госбанк! И Кулина, жена законная, сроду тяжкой мужицкой работы не робила, как другие, равноправные. И детей у Никифора семь душ, а всех возрастил с толком и на верных людей вывел; живут теперь, да письма шлют, да “тятей” кличут, да со внучатами когда-когда наведываются. Нешто бы мог он тах-та один на себе сёмью поднять? Нешто бы сладил он при нынешнем-от воровстве огульном восемь ротóв, окромя своего, честным трудом прокормить? Ни в мочь! А все оне, собачки. Щербан-приемщик, как заявится, картавец, по воздуху за смушками, так по часу и боле на Никифоровских собак глаза пялит и выражается непонятно: “Плетьяковская галилея”, - говорит.

### III. Имена

**С**амая морока имя собачке определить, до двух годов от мороки. За такой-то срок любого-всякого спознаешь, хоть он лиходея, хоть правильной жизни человек, хоть шпиён заграничный, а собаку - мозги высохнут, а нечего придумать, - тайна в ней сокрыта великая, разгадать надо. Тут-от требуется, чтоб словом в самый разрез ударить, чтоб имя само к собаке прилепилось, как тавро пропечатанное или фамиль у Никифора и даже еще точней. И не спеша, а то ошмыгнёшься - век жалеть будешь за спешку тоё. Никифор не спешит и нарекает их тах-та натрое: масть, повадка, характер.

Нарекать-то он нарекает, а сам от начала до скончания Форта ищет разлюбезного, памятью мучится, душу бережит, как только не покличет: "Форт, иде ж ты есть, друг милый? Отозвись маненько, дай знать, тряхни хвосточком, голоском выведи, - я те за то кусок не в очередь кину". А его нет как нет. Оттого печалится Никифор и думает: "Добро людям, их всех заменить можно, а собаку - попробуй, замени. Нет им замены, собачкам-от, все незаменимые, хоть он какой, хоть подлец предпоследний, а - незаменимый, потому как один такой и лично единственный". Тах-та и не нашёл он замены Форту, сколь ни искал. Побьется, побьется рыбой об лед и обозначит по стати Фортом одну в память вечную. В каждой упряжке у него по Форту бегают, а другие все - разные неповторно.

Упряжка вылупляется головой, ровно из яйца курёнок проклевывается, и вожак видать скоро. Никифор глядит, как оне скубутся-сварятся, а сам предметит: этот-от, рябой, первый шматок берет чаще прочих: здоров, силен, издаля прикидист, всех крепче, характер серьезный. Ну, вожак, стало, Рябко звать. А этот, что второму куску хозяин, всем хорош, да волчишка, весь выводок был такой. Он его у пастухов на случай раздобыл, а суку ихнюю волк обгулял, сынок в бату удался и мастью тоже - туман рóстепельный. Никифор взял его для интересу и веры ему нет, - порода сама себя кажет: нехорошо задумчивый, глядит в ошур, шеей не вертит, в голос не твякает, жрет молчком, проворство лишь в драке и бесстыжий страсть, - других по животу бить норовит, прямо, значит, по собачьей по совести, и бесстыжесть эта у него в крови. А раз так, то: "Не лезь! Не лезь! Не лезь! В третьей паре, Сявый, пойдешь! Шестой кусок твой будет, попомни!"

Коль имя дадено, можно разговаривать, только не забудь сперва собаку покликать, а потом говори, - пуцай зна-

ет, что об ней разговор, пушай слушает да стыдится или гордится, это - как заслужила. Акафист-рацею им вычитывать ни к чему; не любят собаки пустословых людей, уваженье теряют, ежели без разбора перед ними языком трепаться. Собака требует, чтоб с ней повсегда лично и по делу. Такой-от разговор ей пуше мяса, потому - собак много, а Никифор один и слова у него обнаковенно понятные, хоть он про погоду, хоть про что хошь, а в голосе у Никифора все ясно, как божий день. Конечно, есть слова общие, для всех, но это - когда санки таскать учатся.

За первый кусок спорил с Рябком и Сявым еще один: рыжий гвардионец, подпалины светлые, собой красавец золотистый из полымя вынутый, - ну, прямо, на выставку. Передняя кость сызмалу в развороте медали цеплять, спина - угадай, какая могучая да тягловая, на ногах стоит - не тахта свалишь, один вид - ахнешь поглядеть. Никифор понадеялся: "Вот заместитель будет Рябку добрый. На тебе, Замполит, второй-от кусок-аванец. Ты мне за него первой парой пойдешь - рассчитаемся". А получилось - не заместитель, а от чёрта отрывок, расстройство. Такого аспида, такого лена и сволоча Никифор в жизни не видал и корил себя опосля за промашку на чем свет. Ужотко драл он его, пинал, голодом морил паскуду непутевую, все отвадить хотел и - без толку. От одной подлости Никифор его отлучит, а у него про запас две новых: тамотка украсть, тут-ка обдурить, там-от ванюшей прикинуться, а до работы приспело, так вовсе, пядло, вымудрялся. Сбил его Никифор сперва в середку, а потом в самый край, чтоб достать сподручно. Одно слово, хамло, а не собака. Тах-та опростоволосился он с именем, рано не ко времени назвал, а на попятный двор нет ходу, заказано.

Нарёк собаку - переменить поздно. Это у людей, переиначивай сколь хошь: даве Царицын, намедень Сталинград, ныне Волгоград, а завтра чего еще будет - поглядим, какой-от общественный делатель дуба даст. С собаками тах-та нельзя. За такую-от несерьезность собаки помалу с-под власти выйдут, подчиняться не станут, потому - какие ты им властя, сам посуды, ежели у тебя на неделе семь пятниц? Животина, она верит без расписки, ее обмануть - все одно, как от слова отступиться, а собака - тот же слепой, свою палочку один раз отдает, а в другой раз - хрена! Так и Замполит. Хоть он и дерьмо, а менять прозвище не имел Никифор права; собаки враз привыкают к названиям, что к своим, что к чужим. Ты, сказать, собаку окликнул и за чего-сь отчитал, а другие до одного знают, кого ты лаешь и пошто, кумека-

ют, стало, что хорошо, что худо. С того Замполит так Замполитом и остался.

А как привез он их на зимовку, да как разгулялись оне... Во иде характеры проклюнулись! Во иде прошибки не бывает! Во иде упряжка предбудущая строится! Этот, что шерстью жесточит, цепкий какой, уцепился рослому ездачу в подгрудок и волочитя, а жомы не разожмет. Ну, Тхор, значит. Или девку взять с конопинами попереди, смиренькая. Не столь у нее понятие, как послушность: как другие, тах-та и она. Уж он потешился, как волокушу оне таскали: ну, чисто доярка на собрании голосует, за передней парой в оба глаза глядит, как на прозидим, - чего, мол, там властя ручкой робят? - совсем характер калужский. Тах-та ей, значит, и быть - Калуга. Да еще этот, который всех не обнюхает - жив не будет, ровно ознакомливается что день или справку наводит какую - Спектор звать. Двое кобельков у него было, близнята, от одной суки. А Никифор, еще когда в городе жил, два слова слышал интересных: "Пардон мадам", и запомнил. Туточка оне ему и сгодились. Пардон сильный пёс вышел, сильный, муружистый, завлекательный. Мадам, тот блёклый и послабей, а драчливый за двоих, всего боле к брату насыкался, в одной паре нельзя было держать. С того Пардон по упряжке в самый перед ушел, а Мадам ближе к Никифору остался.

Легко дело - полнарода знаемо; говори теперь с ними в полную свою надобность. И битьё по строгости стало с разбором: всех боле Замполиту перепало, а Рябку вовсе почти ничего, он - главный, и Никифор ему авторитет соблюдал, организацию; что Никифор упустит, Рябку выпрямлять, и выговор ему первой всех. На вырости сравил он им пару зайцев. Один утёк, а другого чалый кобель взял и повадку выявил. Никифор его мигом во вторую пару переместил и назвал Борзик, потому как чисто борзой пес, что прыть, что бег, что посыл; морда, верно, туповата и поджарость не та, а тах-та - чисто борзой. А то у одного голос объявился певческий, не голос, а сказать - не сбрехать, благовест колоколов на Троицу Пресвятую, - прямо те луна звонким эхом пó небу рассыпалась, а ты, Никифор, слушай-смекай, в самую точку про него, песельника, сказано: Сигнал.

Никифор тоже: учить-от их учил, выходки прознавал, имена присвоаял, а и сам от них чему учился. Человеку, оно, конечно, невмочь вникнуть до конца в собачью жизнь, а все ж много можно понять, ежели правильно себя поставил. Вот возросли оне, в смысл вошли, а - своя компания, дела то-

же свои, и невдомек Никифору, что за дела за такие. Тут, перво, не вступать, не мешаться, пушай сами порядок наводят, никого не касаемо. А оне знают, чего сообща робить, а чего промеж себя в сторонке.

Сказать-от, Сявый. То вовсе немой ходил, а к двум годам надумал именины справить, дикую песню сыграть, волчину. Жуткая песня послушать, и собакам от нее тоска. Побили оне его раз, побили еще, бросил Сявый концерты, сразу же, - голос не тот. Или Замполит. Собой кобель хоть весь его заместо картины, а гад всеобщий. Один на один с ним не всяк сладит, так оне скопом его, свет не мил, как лупили. Одно непонятно: как же так? Оне ж предметили его, холеру, раньше Никифора, а до смерти-от не забили. Лишь поздним умом додумался Никифор, что нет у них закона смертельной казни по таковому размышлению: "Жизнь, мол, святое дело, не я тебе ее дал, не мне ее у тебя брать". Собаки насмерть когда бьются? Разве за жизнь, а за тоё кто биться не станет? Ну, еще люди по подлости по своей стравят на потеху - тоже. А чтоб тах-та, по-людски, взял да убил, - нет, не видал Никифор у собак подлости такой-от.

Драк у них по всякий день, это верно. То Сигнал с Борзиком сцепятся, то Пардон с Мадамом. Близнята, одна кровь, одна утроба, обе собаки стоящие, поди разбери, чего спорят, какую матерню сиську не поделили. Разборони их Никифор - оне вдругорядь передерутся, накажи - он же виноват останется. В таком-от разе Никифор мыслит, как в яблочко: "Не мое дело, пушай. Небось, глотки не порвут, уды не откусят, ребра не поломают, а ранжир порядку не помеха". Что правда, то правда: не было у них резни или увечья, потому - не на полную силу между собой грызутся, а с пощадой. Умом-то оне, как люди, не обижены, только люди-от в драке ум теряют часто, а собаки - нет; стало, собаки на свой манер умней. А Сявому не давала биться Калуга, знала его привычку гадскую брюхо рвать и не давала. Чуть он пустил воротник ершом, она в промеж лезет к нему мордой и не отходит, пока он не заспокоится. А он хоть и волк, а суку эту тихую слушал и в паре ни с кем ходить не желал, только с ней. И всегда оне чуток от всех на отшибе.

Потом Ветерок с проседью. Кудлатый, крученный, шерсть у него какими-сь вихрами наперед задом росла, ровно из пурги выскочил или за хвост волокли всю дорогу. Старательный пёс, работник честный, игрuchий только безо времени. И сука была одна тёмно-гнедая, до того нервная ведьма, злющая, что в поле, что скрозь, - ну, не угодишь, а без скандала не может. Что многих она обидела понапрас-

ну, что от нее другие безвинно терпели, окромя Замполита разве. Этот ракло к женскому полу ни грамма жалости не имел, катал ее, как рубель каталку, а она опосля плакалась тоночко на милостыню. Ее-то Никифор всего и пришиб раз-другой, - куда ее бить-от, дуру психовую, ее лечить впору, да тут-ка нешто больница? Никифóр гладил ее по шерсти и уговаривал: "Ласка, уймись, охолонь, стерьва припадочная. Ласка, не трясись", - и тах-та пока она трястись не перестанет, а это тоже не дело. Он все сомневался: "Купил-от пан собаку, а гавкать, видно, самому придется. Как же эта сатана работу робить пойдет? Она ж на третьей версте из силóв выбьется, - клади ее в сани с чернобурой", - и хотел извести, но решил погодить, оказалось - правильно. Утишилась Ласка помалу, а в упряжке пошла - вовсе вылечилась, потому - работа всем одинаково, что людям, что собакам, наипервейшее лекарство, кто понимает. Простым-от людям, какие дурью по курортам не маются от безделья, про то известно: как горе какое или беда неминучая, берись чего робить и - глядишь, сам не предметишь, как на поправку пойдет. И Ласка. Такая-от собачка получилась добросовестная, Никифору самому не верится аж.

Под конец пошли характеры, какие не враз понять было. Эта, что полюет всех доле и в упряжь последней идет, вечно блукáет иде-сь, Никифóр ее ждёт-пождёт, да опосля силóm в шлею пропихивает. Сука, как сука, а гулёна без примесу всеобщая. И повадка: все одно, с кем возжаться, кому крыть, кому подставлять. Прямо сказать, наша баба, шлёндра общественная, тах-та ей и жить Шлёндрой. Другой заявил в себе силу, как у вола, непомерную, и дурость такую ж, - глупей Калуги. Никифор вдвое терпенья на него положил учить, да к тому - нерасторопный: сам бежит, гузно вбок заносит, вроде легче ему тах-та. Это - Потап. Еще подхалим пеговатый: что Никифор к нему промашку разыскать, то он либо ползком лизаться, либо на спину - брык! - морда холуйская, на-халяву пузом кверху прожить норовил. Никифор его за то внахлёт лозиной по брюху стегал и внушал боем: "Уважай, не полóзь! Уважай, не полозь! Уважай, не полозь!" Этот приказное имя получил Уважай - и отзывался на него добре, а натуру сквозную Никифор ему толичко наполовину выбил; уж больно ласковый пёсик, дай Бог нашему телятке волка съесть, Никифор не любил таких-от, панькаться с ними. Да и послабей иных он был, дуролому Потапу в самый подпряг. А прошибся Никифор на этой собачке, не дай Бог, как прошибся, какого пса незаменимого проморгал!.. Ну, Форт - сам по себе. Конечно, куда ему, Форту

новому, до тѣзки своего, до покойника, а все ж таки вид имел осанистый, строевой и потому - Форт.

И еще один остался, последний. Девочка он был чѣренькая, спереди латка светлая и ноги со щиколкой в сметану кто-сь обмакнул. Признака в ней никакого с первого дня самого. Никифор ее за масть взял и тоже кормил-кался: станет от всех особо и стоит, на жратву не кидается, свар не заводит, ждет, сирота казанская, остатний кусок. А остатний кусок распоследней собаке доводится. Тах-та она сама себя определила: ни рыба ни мясо, - ну, в крайнюю, стало, от хвоста пару. Лишь опосля вспомянул Никифор, как она стояла и какво глядела, и жрала свое как. И как ни одинот не пробовал силóm отбить ее остатний в очередь шматок, даже Замполит оголтелый, пока она не выросла и пока ее Никифор точней не запредметил. И гораздо вспомянуть пришлось, как рослые собаки на зимовке нюхали ее впервой и оглядывались непонятно: "Что, мол, Никифор за чучелу сюда-от привез, на что она, мол, туточка?" Оттого и с именем он не спешил, знал: последней собаке всяко слово сгодится.

#### IV. Асáча

**А** как до дела дошло, с Замполитом крупный наклад. Никифóр не с дура́-ума́ зарубку на него имел, что путем не обойдется, - и не обошлось. Ну, ледащий, подлюка; от кого произошел, ракло, невесть от кого, только не от путной собаки, - не хочет робить, дармод, хоть ты что.

Перво он в серѣдке ходил. Нет, на глаз не угадаешь, тянет, вроде, как все и лучше. Вот обратáет их Никифор, крикнет: "Паняй!", - оне и пошли с какого-сь раза на-совесть, на-талан: постромки струночко, слабины не дают, не рвут, не дергают, гладко все. И у этого арапа тоже кругом порядок, а старательности даже поболе других: как-никак, трудяга, через свое ж грызло из шкуры не выскочит, работающий такой. А того, тварь, не соображает, что след-от по мягкой тундрѣ у него вовсе лживый, потому - не пружит, не дуется, кому-сь пáмороки забить собрался: "Пушай, мол, дураки робят, а я, умный, махать всех хотел через себя". Драл его Никифор нѣсудом, все руки отбил, и впокот ногами отхаживал, и жрать не давал, и слова, какие знал похабные, все на одного его, змея, срасходовал, а под конец мочи-терпенья взял его за правильник и ножиком хвоста маненько укоротил, думал, поможет. И не жаль трудов, кабы впрок, а то ж - надсмешка! - к новой подлости, хамло, приспособился. Умнеющий был, рыжая курва, да не туда ум свой

производил, куда след. Научился твердо от мягко разбирать, аспид: “По снежку я тебя, стало, Никифор, прокачу, а по насту сам на тебе поеду”. Во, сатана, вытворял, чтоб ты сдох.

Отчаялся он с ним вовсе и сунул его в конец в самый в последнюю с чёренькой сиротой пару, чтоб его, стибулянта, близко достать было. Тут-от его хитрость разом чего-сь покачнулась; до того не хотел соседства, прямо на диво: выкобеливать стал, огрызался, гиркал дурняком, а потом упёрся, охромел, заюжál, страдалец, и тряска его мелочко продрала. И потянул, потянул, да каково еще потянул, морда наетая. Никифóр проздравил его с трудовыми успехами сўпятаком под гузно, потому - злодей природный, скотина без креста. “Ну что? - спросил. - Не ндравится честный кусок зарабатывать?” И отвернулся; пуцай знает, что весь его взгальный норов Никифор через ноздрю длинной соплѣй по-за ветром фукнул. А чёренькая - ничего себе псинка, совсем ничего.

Он уже тогда по третьему году псюрню свою муштровал, а она тах-та и осталась, вроде нужды нет: ни позвать, ни обозвать. Кабы она цапалась или блажила, или неслух, или пакости, что ль, какие, оно бы предметней, а то - нет и взыскать не за что. Середь других - навроде своя, а приглядеться - посторонняя. И масть посторонняя, и выходка, и собаки ее не то боятся, не то связываться с ней жалкуют, не то гребуют или чужесть в ней чуют далекую - не разберешь. Тах-та смалу никто ее не трогал, ни куска отбил, ни дорогу переступил, ну, и Никифор тах-та со всеми. Оно, конечно, как она остатняя и послабей, и прозванья нет, ее и предметить трудно, и кнут ей в последний черѣд, - таково Никифор соображал по привычке, а покамест он соображал, возросла она в полную силу и изо всех ни разу не битая вышла. Прошибки у нее никакой, подумаешь - мудрость науки превзошла спервоначалу и от матернего молока поболе Никифора умеет: только-от он команду сказал, только голос-от подал, она уже знает, чего велят и тоѣ команду исполняет - ать-два! - как на плацу.

Ну, прошлогодним умом смекать все мастера. И Никифор не хуже кого-сь опосля доспел, что превосходная она изо всех собака и цены на нее запродажной покуда еще не выдуманно, и не было таковой собаки на всем Далёком Востоке, и у японцев тоже не было. А хоть и была, так что? Особый талант, он повсегда неприметный, не нахрапом берет, а чудным явленьем, и пока ты на чудо дивовался, рот разевал да скрипел средним своим умом, да на пальцах прикиды-

вал, что к чему, талан с голоду-каторги не своей смертью помер, - не обидно? Скрозь тах-та от веку, что у японцев, что у нас, только у нас еще хуже. Вот и Никифóр: покуда своим умом сдюжил сказать, сколько времени прошло.

Того он и осерчал, а как не серчать? - все битые, одна она - нет. С того и зло в нем возгорелось, а это такая зара-за прилипчивая, зло, дай-от ему волю, попадешь в неволю. Ну, и решил: "А вот возьму и побью; сейчас-от возьму и побью; мало что без причины, зато для счёту". А сам на́вкось на нее - глядь! Тут те и предмет: уши стремя вгору пошли, губы тронулись, ножи в чёрном роте блистанули и шерсть на холке дыбом-ерофеичем задралась, ровно шепнул он ей на ушкó: "Сейчас тебя бить буду". А Никифор, хоть он у собак за ученого, а тоже от них обратной науке учится. Животина зря грозить не станет и зубы у нее не для шутейства; раз она их кому показала, тот пушай побережется и век помнит: страх и смех у собак на хвосте, а на морде совсем другая прописка. То-то, чёренькая! То-то, смиренькая! То-то, тихий омут, чертей полно!

И не сказать, "забоялся, мол", чего ему бояться? - поостерёгся да и только, а поболе того чудно: иде слышать, чтоб скотина мысли прочитывала? Кто дела не знамши, скажет, поди: "Приблизнилось Никифору черт-те что и кочерга прямая". А какой тут "приблизнилось"? Он бы и сам рад для души спокойствия заявить: "Собаки, мол, все до одной ума нет, а чему обучат, то оне робят безумно и в любой момент, как машина", - да нешто это правда? Люди-от по глупости большую промашку дали насчет этого дела и по нынешний день, туды их всех поделом, никто сразу меть дурость свою не хочет.

Никифор тоже не хотел, и было ему наважденье. Почуял он - кто-сь ему в спину дозирует, следит за ним, глаз не сводит, тах-та настырно сверлит, ровно бурав какой. На людях-от оно все просто и с каждым бывает: идет человек своей дорогой, посередь людей пробирается, а жилой сердечной чует: чего-сь у него неладно, кто-сь его сзади глазом подгоняет или передерживает, или походку ломит. Он туда-сюда - зырк! - и поймал, а тот, другой, не успел отворотиться и сам теперь, как зверь в ловитке, крутится. Но это на людях, а когда ты один и круг тебя ни души, ни лялечки, так хоть "Караул!" кричи, кабы голос. Это жуткость называется.

От жуткости человека нутряным холодом обдает и он мерзнуть начинает: шей, плечьми, спиной - всем. И волосья у него, как живые, становятся, каждую волосинку чуть, хоть считай, сколь их растет на тебе. И пот тебя прошиб, а

он ледяной, склизкий и вонючий, потому - у страха свой запах, человеку недоступный, а зверь его мигом чует и ты на зверя тах-та лучше не иди, - пропадешь. Одно только лекарство есть вонючий страх забить: отчаянность. Трудно это, - как бы вроде ты сильнее самого себя стал, - невысказано. У тебя по спине муравли ползют, а ты шагу-от не сбавляй; волосья побелели от смертельной тоски - ништо, кидайся вперед, про жизнь не думай; душа захолохла и из груди в ноги спустилась - не подавай вид, зубами скрипи, грозись всем врагам. Тогда страх с тебя спадёт, а смелости прибавит, а у смелости, как у правды, совсем другой запах - чистый, здоровый. Зверь его тоже чует.

Три жуткости Никифор имеет в жизни. Самая жуткая жуткость - биографу писать. Как его, увечного, за дезентирство судили, дал ему следователь бумаги, велел: "Пиши". Он час-два посидел, написал: "Никифор Беспалов фершар", а боле ничего не придумал. Следователь посмотрел на Никифора и говорит: "Дурак, фершар, сундук еловый, брысь-пошел!" С той поры, как ему приснится биографу писать, тах-та он с криком прокинется и долго от жуткости лежит, отходит.

Другая - человека в лесу встретить. От такой-от беды Бог миловал, а случай был. Двое у него из ловитки сырьём куницу выжрали да наследили, да недокурки кинули, так он на тоё недокурки, ровно на змею глядел ползучую, было замерз от жуткости, оглянуться не стало духу.

Третья жуткость - чужой глаз на себе почуять. Переборол Никифор сам себя, трепыхнулся отважно, глядь-поглядь, куда идти, на кого кидаться, лишнее все долой, рука - хват! - за ножик, раскашлялся нахально и геройски задницу почесал, а никого, кроме собак нету. Выгнал он из нутра страх одним духом, залааялся, а на собак даже не вникал. Такое-от вытворять собака не умеет, это человеку глазами на чего накинуть, что те пальцем ткнуть, а у собаки в глазах от роду не точка, а участок. А как в одну точку ей глядеть долго нельзя, то она по участку тому без перестану зраком стрижет всю местность на поворот головы, чтоб на случай живность мимо не проскочила или для жизни опасность. Тах-та неприятно Никифору было, и мысли неприятные, и раз, и другой, и третий, прямо хоть брось. Потом надоело; набил мозоль на горбу, перестал оглядываться.

Оно бы лучше скотинку чёренькую по времени назирать, чем по памяти, да кто ж знал? А назирать было чего. Ласка, кликуша хуторская, смирела при ней; Потап на живость характера бил, хлюст разлапый; Уважай на спину не падал,

ползун лизучий, бодрился; Сявый, тот ее обходил, и Калуга всегда промеж ними терлась; Замполита на выпряге пред-  
меть от нее подале; Рябко, как в авторитет вошел, всех-от подправлял маненько, окромя ее. А Пардон муругий, тот жалел ее за рóдную душу: как без дела, так близочко топчется и мышкует иде-сь рядом, и спит сбоку, а это перво-на-перво: с кем собака греется, он и есть ближний. А то возвели напраслину: суке, мол, все одно, абы кобель. Какая сука, какой кобель. Никифор с ними полвека прожил день в день, повидал: у любого свой разбор, кто кому подходит, тот тому и родство. К ней-от поваживались и Сигнал, и Борзик, и Спектор с Ветерком, а остался один Пардон.

Глянул он на нее тах-та в день ясный, вёдренный и одурел: не собака перед ним, а девка на выданье, королевна-свет-барыня; на ногах белы носки, на руках рукавички по локóть по самый, на спине темна ночь, а на груди уже утро. Как зашлось-от сердце у Никифора; как зажмурились глаза от красы дивной, нестерпимой; как душа воспрянула да мало не вырвалась, кабы комом в глотке не зацепилась, - не стало чем дышать. Взор смелый; шея, - птицу-лебедь видал? - такая-от; спина гибкая; в груди порода; хвост пышный наóтмах кинут: во́на я какова удалась, робята, красуйся на меня, кто хошь!

Проморгался Никифор, дыханье upravил, стал соображать. Туточка пришла ему краса иная, давешняя: речка лазоревая, берега лесом рисованы, вода, как скло, а в воде облака, а в облаках рыба плавает и голова маненько кружится. Никифор тогда молодой был, с Кулиной гулял, мечтанья у него были разные и куда ни глянь, полно цветов, вот оно ему и запало на память - речка. Название только забыл. Красивое, а забыл. А тут - нá тебе! - выскочило: Асáча. Схватил его бегом Никифор, как в охапку, а чтоб оно не вырвалось, крикнул, сколь духу было: "Асáча!" - и подождал, пока оно по лесу не расклинулось дальними голосами. Потом собаке сказал, но тихо: "Асáча!" - нарёк, стало. И еще позвал ее тах-та, а голос у него теплой волной перебивался и сердце на нитке зависло, как в небе жаворонок: вот-вот упадет, вот-вот оборвется.

И стала упряжка сполна. Вот она какие и всяк на своем месте: попереди Рябко, а за ним парами Тхор с Пардоном, Борзик с Ветерком, Сявый с Калугой, Сигнал с Лаской, Спектор с Мадамом, Шлёндра с Фортóм, Потап с Уважаем, Асача с Замполитом. Справа на них простая: шлейка на шею ладится и под грудки перехват-супонькой выходит, да поперек спины подпруга, а от упряжи постромка к санному

потягу, и получается, вроде собака в штаны передними ногами заступила. Надеть собакам штаны умеет один Никифор, потому пряжку застегнуть надо, а скинуть упряжную оброть умела еще Асача и скидывала. Чего она робила и как, Никифор не предметил, думал, это он сам ее растого, рассупонил, только память отшибло.

Может, оно и лучше. Ежели б он все доразу видал, да одно с другим повязал, невесть чего было б. Как-никак, а Никифор над ними властя. А властя нашие претикословья не терпят и закон у них один: "Я сказал и - все!" Правда, терпеть собаку умней себя - четвертая жуткость.

## V. Обнаковенно подлость

**Е**е зовут по-разному, а все одно, как ни назови, хоть горшком, хоть корчагой, а она тах-та и остается, - подлость; каши в ней, ясно, не сварить, а в жизни без нее никуда. Никифор-от для души спокойства тоже думает: "Чего ж туточка подлого? Все робят, и я со всеми". Ну, и сотворит чего-нибудь. Кабы оно во вред, тогда, конечно, а пока хорошо, ни один про себя не скажет: "Подлец, мол, я". И Никифор не скажет, покуда не дошкүлит его до живинки, не проймет.

Такую-от подлость обязан он собакам по третьему году учинить; оне, собаки, к трем годам набираются крепости и твердеют костью, но характер у них еще зыбкий и ума прожиточного не хватает. По тоё их мóлоду-зёлену задает он им науку, пока не переросли, и наука у него маненько подлая. Собачки - народ шибко совестливый, и Никифору надо, чтоб замарались оне и были б перед ним виноваты. Как замараются, - что хошь с ними, то роби: весь, режь, стреляй, на все готовы, с-под власти вовек не выйдут от переживаний: и вспомнать тошно, и забыть никак, и сразуметь невмочь, что не в собачье дело он их втянул, а до людской образованности возвысил. Тогда уже и дисциплина у них нашая, и послушность, и все, а Никифору того и давай: свободу он им через себя предоставил - раз, совесть поранил - два, и самочувство у Никифóра - как царь и даже еще лучше - три.

Есть в этой выучке тонкая нитка, - рвётся, как перетянешь, а прямо сказать, - характера у них хватает на одну подлость всего. Поболе того захотел - поберегись; бросят собаки совесть, как им ненужную, и такой-от бардак разведут, - никакого сладу. С бессовестными собаками жить куда как трудно. Никифор однова перестарался да чуток живой выскочил, и пришлось ему новых заводить, а бандюг бесстыжих - всех под корень, туды их поделом, и на погост.

Робится подлое дело с утра и по горячему, чтобы собаки не долго думали, иде чего, а тах-та - хлоп! - и все, думай-недумай. И начинается все очень обнаковенно и ненароком.

Споймал-от он им волчка показать, кто, мол, главный враг, чтоб уже стереглись и век помнили: с волком бейся насмерть, раз на то пошло, а в плен его не возьмешь. Волчишка им годок был, а может, мало постарше, но не матёрый; Никифор ему палкой жомы разжимал и ножи смотрел, - не матёрый, нет. Скликал он собак, сунул серого в чувал, отнес в тундру и гейкнул. Собаки-то враз пронюхали, что враг природный, кипят глотками, как-как на Никифора не кидаются. А серый растерялся, куда утекать - не знает, и биться не хочет, да псюрня тут-от на него миром навалилась, он и был готов.

Тах-та первая получилась выбраковка, потому - волк Борзика напослед по мягкому задел, брюхо откутал, - это уже не собака. Лежит волк зарезанный, рядом Борзик сидит, сырую болячку языком заживляет, а дырка - кулак влезет и кишки в ней розовеются рваные. Никифор враз подумал: "Как подлость-от когда робить, так пуцай ныне, пока собаки не поостыли, а Борзику все равно гибель". Отвел он их подале и на подбитого Борзика гейкнул. Оне и пошли, а азарт боя им удержать, что солдату задор - убил одного, другого, третий руки воздел: "Сдаюсь!" - кричит, а он и третьего туда ж, и всех, кто под руку сунулся, баба - не баба, дитё - не дитё, потому - осатанел, не остановишь.

Повидал тогда Никифор, какво Асача бегать умеет. Оне, в каком порядке робить учатся, в таком и травят на ровный строй, только простору поболе, а ей в последней паре место, а она - иде прыть взялась - всех обскакала, глазом моргнуть; летит, чёрный стрепет, землю под собой пропускает, с ветром ласкается. В другое время покрасовался б Никифор на тоё бег летучий и шибче того запредметил бы, а на этот раз, - ну, до того ему бесприютно стало, - не хотел, чтоб она первая в подлом деле замаралась, пуцай бы другой кто. Не успел он тах-та пожалковать, еще хуже вышло: добежала Асача до подбитого Борзика и дорогу поперёк перегородила, - сигай-от через нее. Другие, - кто юзом, кто как, - заспотыкались, шаг маховой потеряли и совсем уже смиренные, куда азарт делся. Обсели Асачу с Борзиком и морды у всех удивительные: "Что ж это мы, робята, вытворяем такое? Это как же оно тах-та, Никифóр, получается, - бей своих, чтоб чужие боялись?"

Беда дело приказ отменить. Власть про то знают, и Никифор знает. Наперво оно сходит вроде на удивленье, в

другой - на неудовольство, а до третьего не доведи Бог. Ну, Никифору одного раза во как достанет. Сразумел, что подлость вспроть него обернулась, зашмыгали у него муравли по спине, прозяб нутром, ногами жидко прослабился, но как мужик с головой, то решил кривду на правду выправлять прямо тамотка. Собак издаля молодчиками обозвал, подошел, спросил понятным голосом: "Ну, что, робятки, жалко, поди, товареща-от жизни решать?" - ровно тому их только и обучал, что жалости. Еще постоял, сам с собой на голос оправдался: "Что ж, мол, робить, коль тах-та получилось, мне и самому жаль". А как собаки в голос его вникли и вид удивительный у них пропал, вздохнул Никифор по-честному, клацнул курком, попрощался: "Бывай, Борзик, резвая собачка, весёлая", - и в ухо стрельнул. Потом отнес кобелька на погост, похоронил, как положено. А Асаче сказал: "Не по прыти своей ты, Асача, назади плетёшься, в серёд пойдешь". И пошла она, куда велено, да Никифору с того не легче: не поверила ему Асача, одна из всех не поверила, он это своим глазом предметил, - вид ее недоверчивый. А это не пустяк. Это с людьми можно: "Хрен, мол, с ним, с доверием, абы робили", - а с собаками много тах-та не наробишь.

Оттого развинтилась у него башка, мозги перемешались, ум за разум зашел, шарик за ролик закатился. Стал он мараковать: "Вот, - думает, - собаки ничем нас не хуже: и ума не мене, и разбираются, и соображают, и память у них, и всё. И породы разные, как национальность: есть германцы, есть негры, а то и вовсе дикари какие-сь бродячие. И язык у каждой породы свой, и жизнь, и обиход. Ну, значит, дело теперь за малым: выведут на чистую воду нашую подлость людскую и читай, Никифор, отходную. Перевернут всё до горы раком, свое государство обоснуют, свой наведут порядок, а какой - это и дураку видать. Войны и разврата - ничего этого уже не будет. Форту покойному памятник поставят: сидит пёс гордый, доблестный, а под ним структур Нестерук без штан валяется. Люди, хомуты надевши, в упряжке пойдут, а собаки на санках полевать поедут и станут людей школить каждый "гав" понимать правильно. Никифор, как он способней иных собачий язык усвоить, то его, ясно дело, вожаком пустят путик прокладывать, а за ним бывшие властя попарно, да он же, Никифор, будет их при каждом выпряге учить по сусалам, чтоб тянули, лены, на совесть и головой кумекали, иде право, иде лево, иде чего. А как государства пойдут разнопородные, то наладят, гляди, обмен людьми: "Вы, Явропа, - скажут, - давай-от нам десять

тальянцев на развод, а мы вам за то сотню русских, на каких Расея дуростью держалась, бо их у нас, как собак нерезанных". А властью у них будет заправлять, может, Рябко, может, Тхор, может, кто другой, способный. Только навряд чтоб. Скорей, Замполит или городской какой кобель, что спит на диване, котлетами питается и гавкает по годовым праздникам за рафинад. И опять устроится в государстве неправильность, еще, может, хуже, чем у нас..."

Думал он, думал, а ничего не придумал, как дело выправить. Набрал в грудки воздуху и говорит: "Не сердчай, Асача, что с Борзиком дурака сваял. Хошь верь, хошь нет, а вот ей-бо, сам не знал, покуда не довелось. Все тах-та робят, ну и я". Как он это сказал, так под рукой и прочуял: трепыхнулась Асача, всё до крошки сразумела, об чем он. И глазами оне сошлись, не раз-раз, как раньше, а встречно и на проверку. А глаза у нее карие, вострые, и взгляд прямой, не егозливый, и смысл в нем Никифору глубоко недоступный, как жизнь другая. Сроду Никифор с собакой тах-та глазами не мерился, но взгляд звериный честно выдержал. Тут-ка пошло от Асачи электричество и в руку ему садануло, не особо шибко, а густым током ровным, аж под языком закислело. Побоялся Никифор долго руку на собаке держать и прибрал, но с тем-от электричеством вошло в него понятие точное: поверила ему Асача.

Это ж сказать, какой-от у зверя глаз бывает человеческий, и в глазах, как у людей, большое место, живая душа. Вот хоть бы взять, клуб, кинокартина, девка сидит в окне красивая - замуж бери, билетами торгует, а глаза воротит, потому - больно, ежели тыща человек и каждый душу норочит твою достать. Или шофер в автобусе едет, а у шофера зеркало, а сзади граждане, делать им нечего, так оне на шофера пялятся. Да он умный-от шофер: материйки взял кусок и отзанавесился, а для чего? А для того, что люди разные и глаза у них разные. Есть власть, а в глазах у них - в одном корысть, в другом приказ. Есть стерва базарная, когда-сь трёшку потеряла, белый свет прокляла и клятвы своей не сымет, пока червонец в помоях не найдет. А то вовсе пьянчуга, алкан, - пустые у него глаза, как у недоноска, безумные, понимать нечего. Только у детей чисто безгрешные глаза, глядеть в них, да у стариков, что землю чуют, благодать в глазах и спокойство. А другие позакрывались черными очками и жизнь быстрюю ровно из тюрьмы наблюдают.

Деликатный народ - собачки, в глаза редко заглядывают, разве что запрос какой или окликнул, а тах-та, чтоб долго...

Ежели же она на тебя долгим глазом накинута, ты собаку тоё предметь и попомни: эта собака умная. А что глядит, значит, право заимела. Ты кто таков? - рожью сеешь, ложью сыт бываешь. Чего ж ей-от на тебя не поглядеть, ежели она тебя во как раскусила. Вот и думай, коль ума хватит.

## VI. Случа́й

**Ч**увствительный человек Никифо́р; чувствует много, думает еще больше, - это ему от природы передалось. А чувствительному человеку, как душой-от он природу обхватил, дается за то понимать, каким-таким разуменьем жизнь устроена: земля - плоть живая, горы - костяк, реки - жилы, лес - волосья, а по плоти да в волосьях всякой живности есть за что зацепиться. Тах-та и до Бога недалече, и приходит Никифор к нему не книжной премудростью и не чужим умом, а сам по себе и по своей воле, потому как нужно ему это не страха ради, что, мол, умрет он и упекут его черти в треисподню, а для правильного насчет себя в жизни понятия и ходить не спотыкаться.

Особо в лесу. Лес, он разом с чиста́поля начинается, с тундры - с краю недоростки растут кривоватые, кущи хвойные, а чуток погодя вся поросль струночко в гору пошла и невпролаз: береза, лиственница, кедр - хлебное дерево, главный злак. И не доведи, какой год кедр не уродит - гибель. Полёвки, белки, тушканы мрут наповал, а без них кроважадный зверь тоже до смерти тощает. Лось, глухарь, олень куда только подевались, и страшно тогда в лесу человеком быть. Волки - худые, горбатые, уже-от им все равно, середь дня за саньми следом, ровно собаки приبلудные, бегут-теняются, отброс человеческого со снегом жрут, а дай-от им зверя доброго, так и зарезать силов не хватит. А пушняк, - когда-когда попадет, глядеть на него, плакать: шерсть - чисто на свинье щетина, чем тварь на свете держится?

В такую-от зиму Никифо́р ловитки не ставит и промышляет одно мясо упряжку кормить. И в снегу не ночует, боится замерзнуть и собак поморозить с голоду, а ежели кура́ снежная прихватит, то и сам тянуть санки подпрягается, как собака, и тянет на слепого комара, пурга - не пурга, лишь голос подает: "Робятки!" - покрикивает. И всегда оне его выручали, робятки, и он их за то не забывал. Доброй муки у Никифора что год, чур на самого, а в тот год и хлеб не уродился, золотой был хлебушек из чужих-от краев, так он отруби, шкуры мездрить, - спасибо, шкур-от не было иде

взять, - отруби с малой мукой мешал, тесто затворял, хлебы пёк и тоё хлеб, в ротё деручий, сам ел и с собаками делился, с ними наравне бедовал, ежели не страшней, потому как зубы у него под вёсну, будто орешки посыпались калёные до одного. А еще бил он заслуженных перестарков и молодых кормил до тёпла выдохнуть, до первого гнездовья, до первой мыши-рыбы.

Зато на урожай - живет лес большим городом, и следами по снежку написано, что жив, мол, я. И выезд у Никифора тогда совсем другой: по тундряной плоти, да край кудрей создательских, да круто по́солонь на речку своротил, да вдоль-от жилы божецкой едет он за зверем в самую гущину, в самые, стало, Господни угодыя. Снежок сверху свежий, рыхленький, а внизу, как дорога, твердый и не ухабист, а в лесу помягче, нога проваливается, потому - теплей там зверю. Речка - просека, конца ей нет, один берег другого круче. А санки у Никифора из березы, - что легкие, что крепкие: сверху сыромяткой мертво схвачены, не жесточили чтоб, снизу шурупами, а полозья заместо подрезов нерпичьей шкурой по шерсти подбиты: вперед - только давай, назад - стоп, тормоз, собачкам в горку передых.

По доброй погоде выехать, - эх, житье райское! Не едет Никифор, а на пух-перине кохается и всласть свое продвижение чует, да не морозцом хватким, что за нос карябает и в пику ветром шибает, а рукой, ногой, нутром, чем хошь. Иде еще скорость тах-та прочуешь, как на санях, - хоть на велосипеде, хоть на самолете? Удовольства такого за деньги не купишь, кто понимает. И собачки: бегут - только в Москву на парад показывать - ровная ёлочка, из рота парок, шаг разбитной, веселый, нога в ногу, не собьются, а никто не научал, сами достигли. И промышляет он с ними до самого до Великого Поста, а дальше того - нет, чтоб новый зверь в свой срок отродился. А посты Никифор не блюдет, - нельзя ему с собаками зимой без мяса, а раз нельзя, то какой же грех? И на Рожество он ловитки неделю цельную не ставит, чтоб всякая тварь живая тоже славу Господню восчувствовала, да и самому разговеться чуток от жизни тверёзой.

Когда-сь на Рожество ездил он по соседству верст за двести с гаком на Тимохину зимовку двадни водки попить, душу отвести разговором. Тимоха, он поучёней Никифора, радио у него приемник, правительство заместо божницы, политику знал: чего капитализм, чего буржуазия, чего кто. Мужик по себе неглупой, образование семь классов и при добрых собаках, и Никифору подражал робить без напарни-

ка, только что запалистый и маятой разной маялся. Она с ним и пили врозь: один - водку, другой - кольяк, один - "с Рождеством", другой - "с Новым Годом". Ну, выпили, про дела потолковали, а Тимоха долго не утерпит, на крупный разговор насыкается.

"Удивляюсь я, - говорит, - на несусветную твою, Никифор, дурость, когда всем давно известно, что Бога не было, нет, и не надо, наукой доказано с большим успехом, все это одна выдумка темных людей, как ты, например, которые". И дальше того пошел-от доказывать, что как Бог очечественную войну проморгал и до гибели нас мало не довел, то судить его надо каким-сь особо преступным процессом и спросить через громовую трубу при всем народе, иде ж он, такой-сякой, раньше был. "Как это, "иде был"? - противится Никифор. - А чья победа, наша или немца?" - "Ну, допустим, - упорничает Тимоха. - А цена победе? Кровопролитье! Мильёны! Как же он допустил невзапное нападение, ежели он Бог, по-твоему?" Никифор подумает, подумает и скажет, что Бог, могло быть, обиделся, потому как власть смеялись над ним и всех заставляли, и кресты сымали, и скотину в церквах держали, и говорили, что его нету, а дошло до мокрого - стали кричать: "Ау, ау, иде ж ты, Бог, запропал, куда заподелся?" И у Тимохи спрашивает: "Было тахта или нет?"

Тогда Тимоха пристаёт с другого конца, что, мол, Никифор Кулину свою во всем поваживает, сам по дому порается и бабскую работу робит, в поселке над ним смеются: щи варит, подштанники стирает, - это что за новость? "Нешто твое это дело? - корит Тимоха Никифора. - Эх ты, мужик! Твое дело какое? Иди ложись, закуривай, пришла к тебе баба - справь ей наш мужской закон и опять же - ложись, закуривай"... На это Никифор ему отвечает, что мужик, мол, это - не серьга в портах тилипáется, а должность такая-от, все уметь, окромя детей рожать, конечно. А как Никифор все умеет, то никакого равноправья Кулине своей не дает; пушай детей подымает правильно, тахта оно лучше.

Никифор спокойно размышляет, а Тимоха горлом берет. "Ну, нет! - кричит. - Не на таковского напал! Не возьмешь тахта без рукавиц, не дамся без мыла! А ну, встать! Смирно! Прошу всех наполнить бокалы!" И опять же новый спор затеет, - шибко по разговору стосковался. То-то проспоят оне и за полночь, и до утра, а никто никому ни в чем не докажет. На другой день проспоятся, встанут, голову поправят, сыграют на голоса "мороз-мороз", "камыш-камыш", "степь да степь" да "последний нынешний денёчек" и разъедутся.

Но то было давно, потому - пропал Тимофей безвестно, десять лет как. Слетали к нему на зимовку, тамotka полный порядок: замкнуто, смушки попрели, перестарки езжалые подошли с голоду, а кольяк целый и правительство на месте, и радио справное, - "Кипитализм, - передает, - буржуазия", одного Тимохи нет с молодой упряжкой. Лес-от, он поболее стога, а человек помене иголки, - ищи его хоть до второго пришествия, все одно понапрасну.

Никифор догадывался, как оно получилось. Была у Тимохи упряжка неуков молодых, да он рискованно ее передержал до пяти лет. Никифор ему говорил: "Ты, Тимофей, их теперь не трожь, бо худо дело. Езди, как доведется, авось, ништо. Проминул час их бить, поздно, не дай Бог чего, пушай лучше небитые, а себе дороже". "Боялся я их, - говорит Тимоха. - Хоть бы на пятом, хоть на десятом, я им хозяин или кто? Пушай оне меня бояться, а я их жучил и по гроб жучить стану. Не я буду, как бубну им не выбью к масленой". Ужотко Никифор и совестил его, и увещал, что, мол, одно дело - дитё поперёк лавки поучить, другое - рослого мужика вдоль пластануть да выпороть, - он те век не простит. "Так то - люди, а то - собаки, - Тимофей заявил, - разница". "Дело твое, - сказал ему Никифор на рукобיתье, - а не советую". "А иди ты, - Тимошкины были последние слова, - учить ученого, сам без тебя знаю".

Вот он их и побил, рослых неуков, не послушался. Ну, с недельку оне болели, отходили, да, поди, столь же дней соображали, как за тоё обиду посчитаться. Так что недели, должно, две прошло от битья, ежели не боле, как поехал он в объезд, - оттоль дотоль в день не управишься. Пришлось с ночевой, а оне спать будут с ним: и с боков, и поперёк, и всяко, потому - отдать свое тепло обязаны. Он их всех, ясно дело, иде-сь рассупонил, незнамо иде, тут-ка ему и был последний нынешний денёчек. Пять ездачей всякого мужика возьмут, а их вдвое. Потом-то оне и сами пропадут, как не могут себя в зиму обеспечить, но раньше Тимофей пропал Минчак.

Никифор следывателю тах-та без утайки на допросе и выложил, потому - предпоследний он был, Никифор-от, кто Тимоху живьем видал. "По-вашему, - спрашивает следыватель, - всякий кабыздох рассуждать понимает?" "А как же! - Никифор говорит. - Обязательно". "Выходит, намеренное убивство?" "Выходит". "Восстание, значит, с революцией, - тах-та и запишем. Ой-ё-ё, до чего интересно! А кошки как насчет восстаньеv, соображают?" А сам за папироску схоронился, дымком обмотался и надсмехается, умный чело-

век, над глупым Никифором. “Я по кошкам не спец, - Никифор говорит. - Чего не знаю, того не знаю. Я про Тимоху говорю, как оно было”.

Худо дело обернулось. Последний-от, кто Тимоху предметил, Щербан был приёмщик, но как он состоял при других свидетелях, то, стало, не в счет, и подозренье пало на Никифора, что, мол, съездил он к Тимохе вдругорядь и ухойдокал соседа-от своего с корыстной целью участок забрать. “Вся ваша выдумка про собак, - следыватель сказал, - не имеет под собой земли. Вы, Никифор Беспалов, навели полну хату тень на плетень, а сами не знаете, - говорит, - законов государства, что подозренье всегда на пользу государства и я тебя свободно в любой момент посадить могу, потому как я есть государственный человек: поверю - твое счастье, не поверю - не прогневайся”. Тут-ка ему Никифор две сотенных отмахнул, как одну копейку. “Я вам верю, - следыватель говорит, - а надо еще, чтоб и другие, государственные, они тоже люди и семья есть”. Тах-та Никифор семь рыжих володек промежду пальцев ни за что пропустил. Эх, кабы один на один, показал бы ему Никифор лесной закон, кинул бы на него псюрню и за грех не посчитал, - пуцай бы государственный человек за одну компанию с Тимохой. Да оне сторожкие, властя, бояться один на один.

Побывали у Никифора на зимовке, шуму наробили, перевернули все непутём, искали чего-сь для блезира, не нашли. Ну, написали: “Тах-та, мол, тах-та, Минчаков Тимофей Иванович был-был да потом смылся в неизвестном направлении”. А направление-от как раз очень известное, - собачки зарезали, да иде искать? Поди, полгода минуло; то ли его к холодному морю в лёде понесло, то ли зверьё в лесу по кости растащило, - поминай, как звали, одно слово. Вот те и кипитализм! Вот те и буржуázия! Пропал человек со скуки, отмаялся не по годам за упрямство за свое, а жалко.

## **VII. Травля - бой честный**

**З**асядку себе он край речки предметил, иде бурелом и снегу копну добрую навалило, и бережок ровный, плёсовый, - самое место. Там-от банда путик на другой берег пробила, а он гораздо резаный, берег-от, и по каёмке по самой на обрыв, не тах-та высок, а не перескочишь, разве что седловинка есть распадистая. Через тоё седловину правились оне с одного берега на другой ловитки зорить и шкодили непомерно, а Никифор их поболе двадцати насчитал. Кабы оне пошкодили, пошкодили и перестали, он бы их и не тро-

гал, а то обжились, чего робят: пушняка выжрут, ловитку раскурочат, круг нее насрут-насут, не с озорства, ясно дело, а просто знак у них такой, по снежку расписаться: “Уходи, мол, Никифор, добром и угодя нашия не трожь”. А Никифор не соглашается и через то у него с волками спор несудом. Каждый раз, как новая шайка собьется, так и спорят, кому хозяйствовать, кому гостевать.

Перво пробовал он на них ловитки ставить, да оно не с руки: что зверь не промышленный, что голова надвое, по кого ехать, - то ли по соболя, то ли еще по кого. Да и животина свободолобимая, в неволе часу не терпит, а ежели и заступит когда, - ноги не пожалеет, резанет, как не свою, хоть по мослу, хоть по суставу, и о трех ускачет. Глянет Никифор на тоё обрубок волчиный и занает у него рука увечная тах-та больно, и почует он сердцем волю и сколь цена за нее, ежели часть себя отдай.

А еще брался он по недоумству отравой их изводить, - такого наробил убытку, срамота на объезд ехать, а от мышьяку что зверья да птицы в округе передохло - бессчетно, и план у него повернул не на барыш, а на коросту, добрую половину недовзял. С того он смекнул маненько, что дикую силу вольнорождённую только прямой силой пересилишь, а больше ничем.

Ватагой у них волчиха заправляет старая, и оне круг нее, ровно пчелы круг матки роятся. Ежели ее убрать, вся стая рассыпется, а заместителей нету. Никифор, истинный Бог, не побоялся бы шиб-на-шиб сойтись, кабы у нее на лобе, как у людей, стояло: “Я крупное начальство, большие власти, недосуг-от мне со всякими в очередь”, - а она ходит посередь стаи и видом, как все, - спробуй издаля догляди, чего там у кого под хвостом творится. Стёпке Бердникову одновá подфартило, так он что год куражился. “Я-от с моей-от Марусей вспроть слона могу”. А Маруся у него - бельгийка пятазарядная, ружье справное, на слона годится, на волка слабовато. Вовсе молодой мужик, сорока не было. И Маруся, - иде-сь теперь лежит, поди, ржавеет бесхозно... Тах-та не расчет Никифору встревать с ними и на ружье у него надеи нет как нет.

На собак у него надея. Собаки, те скоро визнают, кто главный, и гуртом берут, а как оно тах-та ловко у них получается, людям век не дознаться. Беда, что шибко дорого победа стоит, потому - главная выбраковка, травля, по полупряжки, бывало, недосчитывался Никифор с тоё победы. Для того он их школит, на зверя натаскивает, себя не жалеет, чтоб, значит, сила в них была с резвостью и грызлись

чтоб наповал. И не уступают ездачи волкам: грудь у них бойцовская, вширь ляжкой раздтая; спина тягловая, крепкая, гнучая; шея верткая; жилья - канаты кручёные, мясов лишних нет; ножи на сырых мослах точены. Нет, не слабей собачки волков, даже превосходней. Две всего у них слабости, нипочем не отучишь. Одно, - что волки молчком бьются, силу даром не расходуют, а собаки себе голосом подсобляют и через тоё "гир" да "гав" сила у них горлом выходит, - кому это надо? Другое, - не бьют собаки благородно ни по животу, ни по удám, заказано у них туда бить, иде рода начало, а серые - только дай, кишки за раз выпустят, не соберешь.

А может, оно им нужней, чем нам, - благородство. Волки биться долго не терпят, а собаки - до последнего, да ежели еще хозяин при них, так и вовсе. Не бывает, чтоб собачка на произвол хозяина бросила, не знает она, что это такое, - предательство. А от человека собакам тоже прибиток голос его близко слышать, геройства набираться. Потому собачки бодрей. Но опять же, смотря иде. Ежели в лесу, считай, пропал пёс: теряется он в посадке, дуреет от гущины, сила-резвость куда девалась, хватай его за хомуток и волоки. Серые, те наоборот; им лес - дом отецкий. Стало, бейся с ними на свою выгоду: в чистом поле, иде раздол, чтоб разгон взять, да повернуться, да отскочить, да углядеть, да по глотке супостата хватить, - тах-та.

Ну, и ходили, - Никифор за стаяей, стая за ним, дорожки проведали и стереглись в оба глаза, и встречались не раз, не два, только серые уступали, потому - от Никифора с собаками отчаянной смелостью за версту прёт и песню он заводит издали про девку красную, как она у тесовых ворот стояла, мила друга провожала, косой слезы вытирала, а кося-от у нее русая. У волков-то соображение какое? - трусаватому не до девки станется, робкий не будет бесстрашную песню играть, смелый зверь Никифор, шуток не любит, сторонись его, пушай едет по своим делам до другого раза. Хитрили оне, хитрили, кто кого, а Никифор был хитрей.

Углядел он, как стая оленя зарезала. Олень рослый был дикарь и в теле гладком; оне, дикари одинокие, крупней гуртовых выгуливаются, чуть не под лося бывают, такие здоровые. И ушел бы он от них, потому как резвей олень волка, да оне шайкой надвое разделились, наперехват взяли, - туточка ему и конец. Никифор и сам бы его забил на угощение, кабы ели, а то ведь - нет, что сами зарежут, то едят, ежели год не голодный, а чужого мяса не трогают, вроде догадываются: "Что, мол, за добрая душа свежатин-

ки нам подкинула, а сама жрать не захотела? Да мы тоё добрую душу за здорово живешь круг пальца обведем и мяса подкинутого трогать не будем". Умные оне, гады. Как предметил Никифор такое-от дело, тах-та и смекнул: будет у них теперь всенощный мясоед с дремотой, ужрутся до отвала, обленятся и половину прыти тут-ка оставят для приятного аппетита. А утром в логовище пойдут сны смотреть, да не все дойдут, ежели Бог даст, конечно.

В засядку он сел за полночь и сидел, как статуи, чего-сь дозировал да редко-редко на собак цыкал, а как темнота на серость пошла утрешнюю и дальний бережок завиднелся круто, стал он, православный человек, Богу молиться. Он-то и не скрывает, что верующий, только вера у него, вроде у цыгана: без нужды лоб не перекрестит, а как нужда поприжмет, тах-та разом и вспопа́шится. И молитва у него по скорой надобности: "Ты мне Бог, я те Никифор", - и все такое, ровно смушками на базаре торговать, кабы можно. Молился же он тишком, лишь губы чуток разъял и дышал кратко, а слова были такие:

"Господи, твоя воля, мое разуменье, одно к одному - добре будет. Тебе-то хорошо сидеть тамотка наверху да глядеть, как Никифор в снегу мерзнет, со вчерашнего не емши, кишки от сладкого слиплись. Оно бы и подхарчиться не велик грех, да собачек надо в легком теле содержать, и мне от них не отойти, сам, поди, видишь, как Бог свят, что не отойти, а при них совесть не дозволяет, потому - сейчас все одинаковые, что я, что оне. Да я-то ужотко, пушай, грешный, а собачки про что страдают? Ты глянь-от, глянь, каково им на холоду в дисциплине лежать, не шелóхнуться. И ежели ты взаправду тварь добрую милуешь, то моих, стало, перво-наперво обязан, потому - сам сообрази: вспроть кого оне сюда вышли? Вспроть стаи волчиной, вспроть анчихриста. И про договор не забудь обещанный, что, мол, - "всякого зверя здешнего под человеческий нача́л отдаю". Вот и отдай анчихриста того, волков-от головой предоставь, а что другое, то собачки лично до ума доведут да я подсоблю. А как тебе, Господи, любое дело сотворить, что мне чихнуть, потому - все в твоих руках, то ты уж их, бандитов, не жалея, а на ровнотку, на ледок выведи. Да ветер обереги противный, чтоб не как прошлый раз. Да не шибко старайся снегом-от глаза порошить. Да силов не убавь. Да подай ногам крепость, душе смелость, зубам прицел. И на том слава те, Господи, аминь".

Никифор до слюней готов спорить и руками молотить, что прямая молитва бесхитростная враз по адресу доходит,

ежели не приставать к Богу день в день попусту. А чего просить и когда, про то Никифор знает и не запрашивает ни клад найти, ни сладкую жизнь бездельную, лишь едино удачу просит в трудах правильных. И не было, говорит, случая, чтобы Бог не услышал и по его не сотворил. И на этот раз: воспротивились собаки шерстью, ушми разом прынули, нюх поставили вострей, потому как им волков чутно, а волкам по-за ветром - нет. А как ссыпались оне с тоё седловинки на ровночно, сами наетые, тяжелые, к бою не способные, назад ходу нет, вскочил Никифор и крикнул на весь лесной росклик: "Гей-га, робятки!" И пошла псюрня сбоку и на́встречь, красота глядеть, как пошли. Уходить волкам - бок подставлять и место узко, для начала отбиться надо. Оне-то попервах мало опешили, а как сообразили, так передний, заводной, враз повернул встречу собак и на задки приналег скорость набрать боевую, другие за ним.

А травят-то собачки! Кто не видал - не знает, кто повидал - не забудет. Ах, легкая кавалерия! Ах ты, клин журавлиный, по́ небу далече слышать! Тах-та легко травить идут, - глаза отдай и назад не проси: вбок ударят - надвое колят, нос к носу сойдутся - вязнет стая в собачьей шерсти, как в патоке, не выберутся теперь задарма, а сколь им это стоить будет - как сказать.

Никифору за всем не доглядеть, поспешать надо. В руках у него ружье о двух концах схвачено, не для стрельбы, а для отбою, на случай доберется до него какой, так он ему сперва жомы поперёк сцепит, а потом черепок разнесет ложем, как собачки-то серого на себя оттянут. Бежит он, спотыкается, а сам - краток миг, да памятлив - накрепко предметит, иде что. Одно ему жалко, что карточки сымать не научился. Снял бы он Асачу на годовую открытку эбилейную и продавал бы по рублю за штуку, а народ бы открытку тоё брал очередями, потому - собаки такой-от первостатейней не видано. Мать честная, стриж, птица небесная, летит первой всех, чёрная мо́лонья, за собой ведет, снегу ногами не касаемо.

Передний, заводной, сиганул на нее. Оне, как сходятся, тах-та шагов за сколько сигают и норовят повыше, сверху чтоб ударить. Опосля-то оне и сшибаются, и на дыбки встают, и впокат спорят, кто дюжей, а попервах - прыжок. Простелилась она под ним тоночко, не нужен он ей был, а передний, наета сыть, поверх нее ножами вхолостяк сработал, да Рябко его на грудки принял и завозились. Другого она тож петелькой в сторону обмину́ла, и он, значит, ей без дела, Тхору достался, Тхор его намертво повязал, собачка. И ее

уже и не видать, в самую гущину вошла, в кубле скрылась.

Третий Сявому достался родство сводить, сцепились - не расклеишь и давай снег пахать, а он сверху ватный, внизу кремь, и оне - похожие, одинаковые, кто волк, кто собака - опосля разбираться. Сигнал закружился вьюном, иде голова, иде хвост, да двух с собой закружил, и схватить его им не за что, а он тах-та вертелся, вертелся да одного до хромоты обезножил. Ласка - чистая сатана, как остервела. Волк у нее дурашка был молоденький, мастью орловской не вылинял, дристун его пронял со страху, - что он отцепится уходить, то она его за ляжку сдыбает, через себя перепустит и - заново. Но это все с краю, на виду, а в серёдке чего? - кто предметит: буран да ярость злобная, догадывайся, чего тамотка.

Никифор глотку дерёт, матюками сыпет, "робяток" бодрит, - без этого нельзя. Собачкам хоть не до него, а слышать обязаны, что тут-ка он, с ними, не бросил их, а смелым взывает к ним голосом, надею на них кладет до конца, до победы. Знали бы дамочки, что плечьми к дорогим воротникам ластятся, каким сквернословьем воротники тоё обложены, каково добыты, да какие-от собачки распрекрасные капризов женских ради жизни решаются, сгорели бы по-дешёвке... Еще показалось, Пардон муружистый посередь кубла промелькнул в пурге, а каким скрадом там-от очутился, - не иначе, по Асачиному следу. Ну, навалились оне серым миром на вороную да на муругую масть и застили всё ненадолго.

Это сказать "ненадолго", как добрая драка долгой не бывает, а поди сам-от подерись насмерть, узнаешь, каково "ненадолго", коль минутка считанная за час сойдет. Заводной волк, - его Рябко с разгону грудью срубил, - перекинулся, как кошка на ноги, и бой у них - в плен не берем. И тут-от как раз предметил Никифор: в кубле-от в самом подкинулся волк себя выше и спина горбатая, а снизу Асача достигаает. Понятно стало Никифору, по кого она метилась. Един миг и - кончились у них власть; вынула Асача матёрую, что туза винёй из колоды, и оставила Никифора при козырях. Волков-от удивленье взяло, как она к ним вошла, точно шило в сало воткнулась, и порядок боя порушила, ну и припозднились оне умом, а потом поздно, потому как в крайний момент удивляться - себе на погибель.

А таки пришлось на козырях поиграть. Тхор дал промашку и притерся к своему вальтём, а тот развалил ему брюхо, да Тхор цепкий собачка, перехватился и на подгрудке завис. Одолеть, значит, уже не в силах, просто вцепился и не

отпускал, пока Спектор да Шлёндра не подлетели и осадили с боков серого коренника, а побороть - нет. Геройский волчуга Тхору достался, мотал собак пристяжных на все четыре; те его в жомах держат, а положить да резануть - никак. Никифор с разбегу проломил герою кряж, но добивать не стал, - пушай Тхор, собачка, смерть врага увидит, пушай-от на тоё победу погордится, тах-та помирать легче.

У Сявого благородства нету, дикость одна безгласная. Катались оне в обнимку, катались, а у волков-то брюхо, как у собак, мягкое, и подлатал Сявый свояку бок, - ох, как подлатал без жалости! - рванул, ровно суриком смазал. Доказал, стало, высшее образование и хлеб Никифоровский отработал, а что говорят, "как волка ни корми", так то еще посмотреть надо. Никифор говорит, что он бы и чистого волка приспособил, только надо вовсе в пещёре жить, сырым питаться, а он - человек культурный, печку любит... Подранок этот первый без задержки уходить припустился: гузно выше головы, ноги вразбрык и понес в решете красным белое марать. На кровь чужую гляючи, Никифор сам зубами заскреготал от шальной радости, сам озверел от азарта, ликовал криком подранку вслед и грубым смехом смеялся, а патрон на него тратить поберег, - с такой-от, небось, дыромяхой сам околеет.

Как заслон передний побит, то и собаки при деле: что Ветерок, что Калуга, что Форт, что Сявый нового себе взял, что все. И бьются, Господи помилуй, как: либо нож на нож пустят, либо холку подставят, а там шерсти чёрту на подушку, не прокусишь, либо в сторонку хитро погнутся, вместо себя пустой воздух оставят, да следом же по плечу долбанут, пока враг не расчухался. Ловчей оне, собачки, и смекалостей на просторе. Вот когда труды Никифоровские не пропали: он им - науку, оне ему - выучку, волков разобрали, каждый своего нашел, а то двух. И такая кругом стоит паликмахерская, - шерсть кусками, снег тучей до леса дымит до самого, а местами по снегу, вроде клюква поспела.

В такой-от момент Замполит, ракло, нашел время с Мадамом обиду сводить. Никифору недосуг было разборонять, пушай догрызаются, благо травля на убыль пошла и стая к лесу уходила без порядка, а все ж таки запомнил он рыжего, не забыл. Все он ему спускал, думал-надеялся, но ежели ты, тварь взгальная, своим в лихой час вред чинишь, надеи на тебя нету, не нужен такой-от.

А волки уходили; лишь отобьются каждый за себя и уходят, отобьются и уходят, и ретивости у них куда поубавилось, поленьями сникли, - хвост волчиный тах-та зовут, по-

тому - на полено смахивает. Никифор заряд приберегши, саданул на два ствола и попал в одного, волчихой он оказался. Поехала она тах-та задом по целине, - бежала, бежала, сесть захотела и кинулась в злобё хвост кусать. Раз кусила, два, три, башку откинула и успокоилась. Хромой недобиток поотстал, которого Сигнал стреножил; собаки его у самого леса взяли, - последний подвиг. А с порватым пузом ушел, след-клюкву за собой повел, да Никифору теперь трава не расти, главное сроблено. Там-то и робить-от было минут на семь-на восемь всего.

Сбил Никифор собак до кучи. Раж у них еще не прошел, кипят лютостью и собой вид, через гузно вынутые вроде, а как послабились, так до одной сцать захотели. И матёрая лежит себе, будто ходкой рысью мчит на разбой, банду свою руководствует, - правильник наотлет, нос по ветру, а главную жилу ярмовую, уха близочко, иде шерсти помене, Асача ей откутала. Глянул на нее Никифор в охотку и его послабило, и он захотел, - значит, что промеж собаками и людьми в такой-от момент жестокий особого нет различия, а что один, то и другой. Справил он на волчиху малую свою нужду, от хвоста до рыла окатил, и не для глума сробил тахта, а на предмет. Соберется сюда бывшая шайка по одному, по два, поглядят на дружков побитых, антограф понюхают, - "А ну его, - скажут, - в баню, этого Никифора, спорить с ним. Нам что, лесу мало? Айда-ка мы отсюда на другой участок". И подадутся. И следу его стеречься закажут. И ловитки у него зим сколько не будут порушены. И зверь первый сорт, тах-та.

Подобрал он шапку, рукавицы, огляделся, а - не все козыри целы. С волчихой рядком Пардон разодранный, жалость глядеть. То-то он, муругий, Никифору в кубле привиделся: на выручку, значит, Асаче пошел, вместо нее подставился, десять ножей - все ему. Сердце у кобелька к ней близко лежало: и жировал круг нее, когда без привязки, и ночью грел ее от души, спал вместе. У Никифора-то не побалуешь; сучек он до третьей течки оберегает, лишь после третьей - изволь, а раньше того - подождись, девка, оно крепче будет, а на людской разврат закутай глаза, не все у них хорошо, оне - то с тем, то с другим, то с Николкою немым. Держал он мечту обкрутить Асачу с Пардоном, Сявого с Калугой, чтоб на помёт покрасоваться, да у Асачи один только разок капнуло и - все. А теперь, выходит, мечте конец. "Бывай, значит, Пардон, ухажор верный, отчаянный, за любовь пропащий, красиво жил, легко помер".

На что Никифор особо задумался, так это - Уважай. Ле-

жал он туточка совсем готовый, да не один лежал, а с волком, и у волка щетинки не примято, лишь горло сломано, хрящи шугой под пальцами склизко ходят, шея набрякла, из ротá блевотина прёт чёрная, - захлебнулся, нетронута шкура, кровью своей. Сlopало-таки телятко волка, не поперхнулось! Такой-от редкой красоты удар молодцовский не доводилось Никифору видеть, слышал только слыхом, что есть, мол, среди собак удалцы, тах-та умеют. Погоревал он вдоволь, что прошибся, удалой характер не распознал, думал - подхалим, а он первеющий пёс оказался. Отдал Никифор ему честь и славу, а это значит, - "Бывай, Уважайчик, собачка ласковый, человеческий, уважил ты Никифóра во как, и я тебя за то не забуду".

Остатние тоже не все путем на проверку. У Ветерка на плече ошметок рваный, будто вор из него бритвой деньги вынал; Шлёндра на ногу припадает, - прокус жильный; другие сами себя языками пользуют. Общупал он раненых, да кости целы, слава те, а вазелину с кормежкой Никифор не пожалеет, подымутся. У Мадама ухо напололам, - Замполит изувечил. Сидел он, красивый гад, поодаль и жрал у Тхора кишки со снегу, а как Никифора почуял, враз перестал, только облизнуться, раклó, припозднился. Никифор-от аж глаза вывалил и сердце у него струпом взялось от пакости тоё. Тхор живой еще, голову воздымает, глазами смутными Никифора зовет, - "Облегчи, мол, Никифор, верного твоего", - а гавкнуть - голос вышел.

Вскинул он ружье на-плечь дубиной и пошел тах-та два дела робить: сам на Тхора глядит, краем Замполита предметит. А у того вид куда бедовый; сидит, морду отворотил, - "Чего, мол, тебе? Я в травле был, запыхáлся, отдыхаю трудолюбимо, а что ты предметил, то тебе поблазнилось, и я тебя, дурака старого, по всяк день обдурить могу за мое почтенье". Нацелился Никифор, по черепку чтоб лобастого, да проходя мимо, отмахнул - ррраз! - мало руку из плеча не вынес, потому - обхитрил, кобелина, прочь ушел, рыжая холера, прыткий, сдохнуть не родясь, туды его поделом. Никифору хоть плачь, сорвал-от руку, а нельзя, - собаки глядят, подражанье берут. И в-обрат не поворачишь, чтоб оне про тебя худа не подумали, а любой поступок им в твердое понятие западает, враз по-своему смекнут: "Э-э, - скажут, - да он злой, этот Никифор, какая там у него к шуту справедливость тах-та робить". Оне это знают: иде злоба, справедливости не проси, нету ее, потому как злоба и сама себя гложет, и круг себя все догола выедает. В бою она - хорошо, силов от нее прибыль, а в разумной жизни не доведи, Боже, без ума гневаться.

Оно и Никифору недосуг, - Тхор главней. Вник он болячками своими в его мученскую муку и забыл про Замполита. Поставил новый патрон, воздел курок, подал напослед слово: "Бывай, Тхор, бывай, собачка геройский, доблестный, храбрый тебя нет", - и стрельнул, убравши глаза. А заводилу первого Рябко пронял-таки. Не сам, правда, - с Потапом; Потап серого оседлал и попридержал маненько, а Рябко ему тем-от часом тах-та шею откутал, хоть возом едь.

Все у него самолучшие собаки, Никифор говорит, все тах-та в выбраковке погибнули. Как народ. А чего ради? А того ради, что жизнь-от наша, она и есть выбраковка. И нету в ней ни тебе пощады, ни милости, ни вознагражденья. Конца-краю тоже нет, одна серёдка. Нешто у людей иначе? Всё в точности. Кто веку не доживет? Кто за смелый талан в тюрьме, ровно за разбой, мается? Кто в дальние края утечь норовит от выбраковки собаческой? Те, что умные. Те, что совестливые. Те, что бьются, бьются дураков-от замордованных ради, - глядь-поглядь! - нету ихнего дела, не выходит, не дают. А кто не дает? Кто чужой век заедает? Оне, властя. Никифор их распознал; не столь умные оне, как хитрые. А хитрость уму не пара. Замполита взять, - куда уж хитрей, а какой толк от него в жизни останется? Кабы-от сробить леформу, да заставить властя захребетные в поте хлеб добывать насущий, да смертельную казнь на жизненное злоключение переменить, - а что? - собачки-от правильней нашего понимают жизни цену, - так оно бы и зверя в лесу было поболее, и хлеба навалом, и Никифору б легкe жилось добро людям робить, а он, Никифор, человек нужный, дающий.

Как же ему-от без Бога? Никак невозможно. Един Он вознаградит да Никифор по малости по своей. Асаче награда первая, что упряжку сберегла. Одарить-то он всех поименно одарил, но Асачу особо: собственной рукой огладил, сказал: "Не по уму-от своему ты, Асача, в серёдке ходишь. В передки пойдешь заместо мила дружка на память". А не было дотоль, в жизнь того не было, чтоб у него в упряжке да сука, да первой парой, да жожака поучать-править, - нет, сроду не было. Сказал он Асаче про это и как раз почуял: идет от собаки электричество прямо в него, да тах-та густо идет, - пальцы резанные растут-шевелются. "Вот те на́, - думает. - Властя всю войну ждали не дождались, а оне, пальцы, во когда рость заявляют". Испугался он такого чуда и руку беспалую прибрал. А Замполиту объявил на праздник победный: "Амнистия тебе, фашистская морда, остатний раз". И пинка наподдал.

Волков побитых он не тронул для острастки, а своих всех побрал, чтоб картина, значит, была, вроде Никифору хоть бы и на новую травлю выйти, - все одно, что по малой нужде послабится. Есть у него место край леса, близко зимовки, туда он их, покойных, свез и честью похоронил. И по патрону над могилкой стратил. Там-от оне лежат.

### VIII. Плоды просвещения

**П**од конец зимы, как станет-от рука увечная поламывать, тах-та затяжно и нудно заноеет, Никифор враз догадывается: погодка шепчет, ныне-завтра туточка будет, собак бить пора. Отмачивает он в масле с вечера плётку ногайскую, чтоб шкуру не рвала, костей не тревожила, кормит собак добре, а наутро выезжает с легкими саньми без поклажи и едет, молчит, не разговаривает, - нельзя ему слов ронять лишних в день-от такой.

И не понимают, как нужно ему битьё это. Одни судят: "А то мало он их оптом драл. Разом больше-меньше, какой счет поштучный?" Другие тах-та: "Собачка друг человека. Ни стыда у него, ни совести, у Никифора этого, и креста на нем нет". Первые - это злые дураки, вторые - дураки жалостливые, а насчет креста врешь, - есть крест. Что раньше было, это не битьё даже, а так, школка, шерсть выбить лешюню, линючую. Битьё, оно только теперь-от будет один раз, специально по науке, экзамент без жалости. А противное дело, - верно; что без аппетита, что вспроть природы и всякого размышленья. Никифор опосля боле суток маковой росины в рот не берет, нейдет ему, и плётку тоё хоронит на годы с глаз долой.

Есть у него в лесу одно место: кедрач кушáми густыми, собакам не видать, и прогалина с березкой. Вытоптал он снег под деревом, собачку вынул, привел, сворку зашморгнул на стволе, ногайку в руку беспалую и - давай. Бьёт и бьёт, бьёт и бьёт. И дотоль бьёт, доколь пёс под себя жидко не набезобразит и свет у него в глазах потухнет до полного бессознания. Никогда-от он их бить тах-та не бил и никогда боле не будет, однава лишь.

Поведенье свое у каждого. Рябко - мужественный пёс, серьезный, авторитетный, с него начинать, а как вытянул он его вдоль спины, заголосил криком обидным и в крике у него запрос прямой: "Хозяин, за что?" - потому как не то что людям неведомо, но даже и собакам, - одному Никифору ведомо, за что. Тах-та покричал вожак от боли, а больше от обиды, конечно, и из голоса вышел да, закрывши глаза, похрипел маненько и осрамился без памяти. А как пёс уде-

лался - предел битью; дале того нельзя. Бессознательная собака от битья умом трогается и несчастная на всю жизнь, - ужотко Никифор за этим следит в оба.

У Сявого от битья лай собачий произошел, - дошкулил-таки его Никифор, - срывной такой лай вроде петушку молоденькому кукарекать. Бил он его раньше Калуги, потому как любовный зверь, сильный, много понимает, догадывается, а после дранья он слабый, пушай догадывается. Калуга, та за каждым похлестом "ой-ё-ёшеньки" причитала совсем по-бабски. Потап ломовой Никифоровские чуни-торбаса лизать кинулся, жалости-пощады просил, - не выпросил. Ветерок мотался на привязке круг дерева, как угорелый, пока Никифор сворку ногой к снегу не пришпилил. И все под себя робили. И вообще, чисто люди на расстреле за жизнь цеплялись. Никифор их за то не корит и в позор им их поведение не ставит, - "Такой, мол, сякой, как ты смел слабость поиметь, когда тебя убивали", - потому - жизнь, она не одним людям мила, а и собакам тоже, - раз живем.

Замполит гадский мигом сообразил, чего как: раньше нервенной Ласки опаскудился и дохляком лег, ракло, кого-сь обдурить мечтал. Никифор ему не поверил и выдрал бездвижного лютым боем, даже в раж входить стал, в отчаянность, а это нельзя; двух собак на своем веку запорол он тах-та до смерти через зверство свое, и рассудок ему терять при таком деле без выгоды.

Бить-от он их бьёт, но это не всё. За каждым разом внушает он собаке одно слово краткое. Никто на свете этого слова знать не должен, кроме Никифора и собак; ни с кем в разговоре он не обмолвится, - ни с Кулиной, ни с детьми, и во сне бормотать язык прикусит. Разве что продать упряжку надумает, хотя навряд, - тогда только шепнет купцу на ухо слово это, какого и в разговоре людском нет, Никифор его сам выдумал. Обозначает оно жуткую жуткость и дремучий страх, а западает в собак вместе с болью: и под шкуру, и в уши, и до печёнок до самых. Оне-то, ясно дело, обижаются на Никифора, и серчают, и чего-ничего, а как-от памороки он им забил и свет в глазах погасил, остается оно у них в памяти, как осколок в теле, и помнят оне его крепче всякой причины. Жили б оне долго, учил бы он их, как людей учат словам страшным, вопроть каких тюрьма худо подумать: то газетками, то радиом, то собранием, то чем-ничем, а собакам жить-от всего еще лет шесть, много семь, вот и учит он их за один присяд переполох выливать, потому как в слове том, кроме жуткости и страха, ничего боле нет.

Асачу он в последний черёд вынул. А не хотел он ее под дерево вести, на снег вонючий, топтанный, ну, не хотел - и всё. Да как же обминуть, когда все битые? Никак. Приторочил он ее, сердцем заскрипел, в кулак поплевал на крепость и тах-та хлобыстнул, чтоб не думать долго. И слово сказать не забыл. Асача голову на запрос вскинула, а голосом ничего, попятилась только. Он еще раз. Она опять назад маненько и молчит. А в третий не довелось ударить: спружинила Асача пулей и на конце сворки тронула Никифору руку его беспалую, самое тоё место бóльное. Бросил он ногойку и не своим взвыл голосом, а по-собачьи, без слов, как Рябко, потому - боль, она, что у собаки, что у человека, одинаково больно болит, оказывается. А не веришь, - возьми-от собаку и пришиби, и послушай, а опосля дитё возьми побей, тоже послушай, - на один голос плачут оне, вот что.

Тах-та и Никифор заорал не хуже. Кровь у него ручьем хлынула, так он ее снегом долго промачивал, в кашну завертывал, потом в рукавицу туго засунул. А собака вольно стояла и не на руки его ужасные глядела, как другие, а на него прямо и без никакого испуга. От смелости такой-от невиданной Никифор глазами протрезвел и пропала у него обида всякая, как сказал ей: "Ладно, Асача, будь по-твоему, ходи небитая", - хотя в тот день ему, помимо слова страшного, других слов говорить не полагалось. Упряжные собаки аж головы повернули: всех битых он с прогалины на себе принес, одна Асача шла к саням сама и Никифор битый за ней следом.

Домой ехали - тенялись, ногами невпопад переступали, чуток живые волоклись, у одной Асачи постромка струнко натянута. Никифор тоже не в санях сидел, своим ходом пёр, пешью, болезновал потому как. Приехали - первым делом накормил их. Один раз кормит он их от пуза, сколько съедят, и лежат оне, поправляются неделю цельную, а мяса на поправку много уходит. Сперва без охоты едят, а потом - ничего, жизнь свое берет. Только Асача ни сегодня, ни на другой день крошки есть не стала и выделялась ото всех, как совсем уже чужая и до того вольная, - запрягать-от как? - рука не налегает. Туточка Никифор неладное почуял, замутило ему душу.

Взял он ее к себе в хату, - сроду не было, чтоб он пса в хату брал, - на пол посадил, сам вспроть нее на лавку сел и говорит: "Давай мириться, Асача, не серчай, нам робить вместе. Я ж тебя толичко два разочка стегнул, да и не тах-та шибко. Ты мне вона чего наробила, руку спортила, болит, а я на тебя сердца не держу, забыл вовсе. И ты меня, ста-

ло, извиняй, друзья будем”. Тах-та он с ней разговаривал, а она слушала - не слушала, все равно куда глядела. Подкинул он в печку дров, сохатины кусок лучший вырезал, пожарил, - оне болеют когда, жареное им легче идет, - да она кусок тоё ни ухом повела, ни даже понюхала. “Ну, а чего хошь? - допытывался Никифор. - Хошь сырого-теплого, оленя загублю пойду, не жалко. Ты лишь захоти, я враз догадаюсь”. Он ей что говорил, а все без толку, потому как не простила. Сидела она в хате, ровно в чужом месте, ни жива ни мертва и презирала видом своим и Никифора, и весь его разговор хороший.

С того досада его взяла. Достал он водки укрепиться ма-ленько, выпил, голову обронил и задумался, вроде задремал. Сколь он тах-та думал, никто не считал, только чует в дрёме - опять на него кто-сь жутко дозирует. Прокинулся, туда-сюда повел, - лампа во всю горит, а глаза у Асачи прямо на него горят поставлены. “Нечистая сила! - закричал. - Ведьма! Колдовка!” Остервел он без памяти, кинул вожжи, сорвался, подскочил и ударил Асачу супятком, иде у нее зорька утрешняя прописана, изо всей мочи ударил, чтоб ему пропасть, изо всей мочи, крепко зашиб, задышалась она и с Никифора глаз не сводит, а на полу под ней чёрная калюжа расплывается, - Господи!

Лопнуло у Никифора чего-сь в серёдке, схватил, что под руку пало, смушек - не смушек, соболь - ондатра, сломался напополам, подтирать кинулся, приговаривать: “А ничего не было! А ничего не было!” Пересадила Асачу на сүхо, прослышал руками, - мёртвая у нее шерсть и электричества нету в ней уже никакого, - и понял доразу: не жилец эта собака. Как дошло до него такое-от понятие точное, упал он с ней рядком, схватил ее в обойма и заревел дурным на всю хату голосом: “Асача, ясонька моя!” И слезы откуда взялись, потекли, хоть умойся, хоть выкупайся.

Ни разу такого не было, не плакал Никифор в жизни слезьми. Мальчонка у него старшенький помер когда, так он с лица почернел, страшный, глаза провалились, морда совсем стала деревянная. Кулина говорит: “Ты бы поплакал, Никифор, - всё легче”, - а он ей: “Ужотко, - говорит, - да оне у меня не туда идут и страсть какие соленые, все кишки проели”. А тут-от первый раз пошли: наружу и по щекам, и по шее, и дальше.

А уж слов-от он ей всяких насказал, разве что одной Кулине говорил тах-та смолоду. И просил, и молил, и на коленях стоял, и в шею ее блестящую, чёрную дышал, и спрашивал, что ж он без нее робить будет, и сам себе думал: “Че-

го ж мне-от робить без нее?" И заснул на полу, нагреть ее хотел. Пробудился - лампа чадит, фотожён в ней выгорел, Асача у двери выйти дожидается. Выпустил он ее, пошла к своим в клеть.

Она в четвертую ночь околела. У Сигнала у первого голоса проявился, как заплакал Никифóра звать. Следом Сявый по-волчиному и никто его за то не побил. И Потап вывел на гудок басом долгим, унылым. Никифор забрал ее, в сенцы перенес, чтоб заспокоились, а сам до утра не спал, сидел над ней, думал: "Что ж оно тах-та нескладно? Иде ж она есть, правда на свете, туды ее поделом, что доброму гибель скорая, а лихому живи - не хочу?" - такие-от все мысли у него были сумные.

Схоронил Асачу днем при собаках, попрощался. "Асача, - сказал, - жалечка родная, бывай", - а поболе того не сказал, только стрелял долго опосля, собаки переполошились. А домой когда возвернулся, - знал, робить чего: взял Замполита и за зимовку повел. Тоже сразумел умный кобель, красивый, что ему теперь будет и для чего у Никифора ружье в руке, - глянул, как спросил: "Убить хочешь?" Жутко стало Никифору от такого запроса понятного, но он тоё взгляд каменно вытерпел, ответил без зла: "Негоже тебе, Замполит, таких-от собак переживать, правда-совесть не дозволяет, бывай".

Потом обрезал на потяге лишние постромки, и стали у него собачки битые по местам. Вот оне, солдатики, ровная ёлочка, нечет-одиннадцать: попереди Рябко, а за ним парами Сигнал с Ветерком, Сявый с Калугой, Мадам с Лаской, Спектор с Фортом, Шлёндра с Потапом.....

И будет у Никифóра день. И час в том дне будет. Зыграет упряжка древней ретивой кровью, что от первой еще собаки по жилам растеклась, возмутится в них дух вольный, разгонятся оне, дикие, за зверем ли, под обрыв ли, и слушать никого не захотят. "Стой!" - крикнет им Никифор. Не остановятся. Схватит он остóл-острогу и в снег воткнет промежду полозьями, чтоб тормоз, значит. Вырвут собаки острогу, ровно из земли тавлинку, и дальше поскачут, а Никифору одно - пропасть останется. Тогда-от скажет он напослед слово железное, какому смертным боем их научал без жалости, и будет цел. Ударит псюрню по ногам паралик, свяжет им жилья, скрутит в три погибели, заскулят оне больно, в кучу собьются свальную прямо под санки - в том Никифору спасенье. И долго будут отходить, долго. А Никифор станет им ноги разминать, спину оглаживать и поименно в жизнь ворочать милую, трудную. С того оне и веку, как люди, гораздо не доживают, что битые.

## IX. Грехи наши

Господи правильный, Иисус Христос, прими мою собачку, пригодится, хорошая, четыре года, звать Асача. У тебя тамotka места всем хватит, да ты ее близко престола держи, мало ли, неровён час, а в небе, поди, как на земле, - чего не бывает. Ты особо с нее, Господи, не взыщи, потому - моя вина, я ее загубил по окаянству своему, с меня и спрос, как призовешь, а ее не трогай, бо чистая душа, как есть новоявленная. Кабы ж я-от знал, что Христофор песьголовый, а то думал, - собака, как все, да теперь-от мучаюсь, сам видишь, ночью не сплю. И ты, Господи Боже, муку мою ма-ленько послабь, потому как ты сам того... недоглядел и зна-меня мне от тебя никакого не поступало. И не искушай бо-ле раба своего Никифора чудными явленьями, а я в тебя и тах-та верю без никакого чуда. А ежели чего непутём роблю, то ты своей премудростью рассуди: какова наша жизнь? - как у собак, и грехи наши, Господи, от жизни тоё, конца не видно. И пошто ты народ свой боязненный тах-та невзлюбил, свет разума застил, за какую-такую провинность отвернулся - не знаю. Другие-то, небось, кохаются под рукой у тебя, а тут-от в жилу тянешься, себя не жаль, собак побиваешь да жизни ради сам глядишь зверем. А властя, Господи, ты нам дал в наказанье куда хуже, ворьё бесстыжее, замполиты-жулики, туды их всех поделом, тому вынь, этому сунь, третий силóm возьмет, счету нет, а грехо-водные - всего бояться, окромья одного тебя, и когда их приберешь - невесть. Оно, может, и заслужили мы, не угодили чем, да больно долгая кара, жизни не хватает, - разве ж это дело, покаянье без выкупа, иде видано? Ты-от погляди милостью, кто тебя тах-та жалеть будет, как не мы, люди твои, чтоб тах-та с тобой за рóдную душу, а? Взял бы-от и полегчил, - чего тебе станет, Господи помилуй, право слово, полегчил бы, ей-ей. Было б житьё полегче, робил бы я с напарником и собак не побивал, а ты чего сотворил? - послал по́мочью напарника умней меня, да потом отнял - нехорошо. А там - как твоя воля, тебе видней, я ж не знаю. Собачку только побереги, Асачу мою, и на том слава те, Господи, аминь.

*г. Таллин,  
10.9. - 15.11.1980;  
21.1. - 18.2.1981.*

## ГЛАС ВОПИЮЩЕГО

*Памяти Г.А. Каллас*

**З**а два дня до праздника после обеденного перерыва сотрудников облисполкома собрали в зале для заседаний и сразу же начали. Все шло, как надо: ветераны выступали, публика дремала, и каждый по-своему скучал, потому что не первую годовщину победы люди отмечали, что значит, повторялось все это слово в слово тридцать с чем-то лет подряд и страшно всем надоело. Аплодисменты были вялые и напоминали радиопомехи при настройке приемника. Обычно так хлопают те, что души не чают, когда торжества закончатся и можно будет домой пойти. После того как воздух в помещении очистился от лишних звуков, председатель объявил: - "Слово предоставляется участнику Великой отечественной войны начальнику областного штаба гражданской обороны гвардии полковнику товарищу Деликатову Евгену Ивановичу".

Евген Иванович вылез из-за президиумского стола и, вызванивая орденами, как призовой дончак сбруей, прошествовал к кафедре. Качнувшись для остойчивости туда-сюда, он обхватил ее во вся ширь рук, немного при этом ссутулился и, в отличие ото всех, кто выступал до него, обратился к залу, не имея перед глазами абсолютно никакой заготовки.

- Да, товарищи! - начал он, как всегда начинал. - Трудно, очень трудно, я бы даже сказал, невозможно переценить значение той великой победы, которую мы ее теперь действительно отмечаем в обстановке всенародного подъема, ноябрьского пленума и мирного голубого неба в результате небывалых в истории свершений на благо нашей родной партии, любимой родины и всего прогрессивного чело-вества. В этот незабываемый, но по-весеннему майский, праздничный день, отмечающий во многих и многих советских городов и сел, наш доблестный воин поставил, можно сказать, смертельную запятуу на кумполе поверженного фашистского зверя в его собственном логове и тем са-

мым спас народы мира от полного и безоговорочного поражения. Давайте же, товарищи, посмотрим на вещи своими именами и скажем, положив руку: родная земля, с какой любовью мы произносим тебя сегодня! Честь нам за это и слава, простым советским героям, которые миллионов своих жертв и огромных усилий одержали победу, несмотря ни на какие происки злободневного, до зубов вооруженного неприятеля.

К выступлениям Евгений Иванович никогда не готовился, но выступить мог в любой момент и речь на ходу смастерить штатным на зависть. Сначала думали, что он свои выступления пишет и разучивает, как школьник стихи, но когда проверили, то убедились, что он сам не в курсе, о чем ему говорить предстоит, и отнесли его успехи на счет природных дарований. Иногда удивлялись, как это у него ни разу язык не запнулся, и он с глубокой убежденностью отвечал, что выступать надо не думая, а чем больше думать, тем хуже получается, и голова после болит. Действительно, выступления у Евгения Ивановича складывались сами собой, как бряцание орденами. Едва он произносил свое изначальное "Да, товарищи!", как обнаруживал за знакомыми правофланговыми длинные шеренги разнообразных построений, которые надо было всего лишь четко подать по порядку номеров. А когда он делал передых пошморкаться или глотнуть воды, в зале перешептывались, - какой, дескать, молодец этот Деликатов, дает, как Бог на скрипке, безо всяких бумажек, поучиться бы кой-кому, как нужно с народом подходить.

Выступающим дали до пятнадцати минут, и Евгений Иванович вовремя сообразил, что пора врезать коленце и переходить к основной части.

- Но война, товарищи, - грянул он откуда-то сверху, - еще не закончилась! Она, товарищи, можно сказать, только продолжалась!

Он возвышался над залом и сиял от радости, что война все еще идет и впереди полно всяких интересных ужасов, - есть о чем поговорить. Спору нет, тут он перебрал. Конечно, будь на его месте кто другой, речь наверняка отпечатали бы, проверили и смягчили, но в том-то и дело, что Деликатов Евгений Иванович - это Деликатов Евгений Иванович, - надежный, испытанный, матёрый, его проверять, только время терять.

-... два часа на погрузку строевым порядком и айда по сто верст за час, лишь колеса по рельсам, смотри, не высовывайся на ходу, живот надует, а на большой скорости,

товарищи, и время обманчивое; вчера, например, ты погрузился, а сегодня тебе думается от переживаний, что это прошлым годом случилось, - вот что значит скорость, товарищи дорогие, как нас везли без роздыху с запада на восток: и день, и ночь, и другой, и третий, и все мы удивлялись, ну, до чего же наша страна обширная, особенно если тебя везут неизвестно куда и спрашивать не велено, а от этой неизвестности весь личный состав, как с похмелья и даже еще хуже, потому как никто не соображает, своей охотой он тарахтит или спит и во сне видит, а на свет лучше не гляди, - одно мутное мелькание и ничего нету постоянного, не на что глаз для памяти накинуть, голова кругом, только и того: дождь секёт, в сон клонит, тайга без конца-краю, паровоз выдыхается на подъем тянуть, а то еще город какой проехали, - тоже одно расстройство: бабы ревут, похоронкам не верят, побитых своих среди нас шукают, "Иванов-Петров-Сидоров" - кричат, лучше б не останавливаться, даю вам честное партийное слово, это неопишимо передать, как мы ехали...

За пять суток их доставили, куда следует, и они двинулись по степи, где вместо леса были покатые сопки с увалами и негде укрыться, а земля - хоть толком ее рви, до того неподатливая. Поэтому на первых порах потери у нас были не меньше, чем где-нибудь под Смоленском в начале войны, хотя на это не смотрели, - людей навезли много. Главная же беда состояла в том, что весь наступательный марафет портила вулканического вида сопка с гладкими бочками, а участок им попался уже, чем кафедра, обнимаемая Евгеном Ивановичем, так что при всей категоричности приказа сопку было ни обойти, ни объехать, ни, тем паче, взять к такому-то часу такого-то дня. Японцы прорыли в ней шахту, устроили этажами горизонтальные штреки с обстрелом вкруговую и готовы были обороняться сколько угодно, спешить им было некуда.

- Ну, вы японцев знаете, - предупредительно ткнул Евгений Иванович пальцем в зал, - какая у них аппаратура. Там целый завод был, оказывается, и все оборудование - чистим-блистим, последнее слово техники, смотришь и не веришь, куда ты попал: или в музей, или же во дворец будущей промышленности. И все у них в комплекте: питание, электричество, телефоны, вентиляции, боезапас, конвеерная подача, автоматическая самонаводка, лифтное сообщение, короче, садись, жди смену, кури и слушай музыку, только кнопки не перепутай, - так они воевали.

- Мы за двое суток, - сердито продолжал Евгений Ивано-

вич, - эту сопку рас-про-на-грёбаную бомбами и снарядами перепахали, метра живого не осталось. Ну и что? Да ничего. А командование на своем: любой ценой. Я даже так считаю: если б у нас была атомная бомба и мы б ее туда кинули, и то навряд бы помогло, честное партийное слово.

По наступившей тишине и напряженному ожиданию чувствовалось, что подошел самый ответственный момент воспоминаний, когда нужно предпринимать что-то весьма срочное, и Евгений Иванович чувствовал это лучше всех. Он приналег на кафедру с государственным гербом страны и доверительно, слово по слову, сообщил:

- Тогда, товарищи, мы пустили газы.

Он вновь сделал паузу с расчетом на поощрительную реплику "Правильна-а-а!" с кратким аплодисментом, но произошла несуразица, предусмотреть которую никто бы не только в облисполкоме, но и во всей республике не рискнул. Среди зала поднялась женщина лет около шестидесяти с полным отечным лицом и в очках с сильными линзами.

- Это неправда, - сказала она громко. - Этого не может быть. Как вам не стыдно, Евгений Иванович, а еще фронтовик! Думаете, если вы воевали, а другие - нет, так можно их обманывать? Мы не американцы во Вьетнаме. И, тем более, не фашисты какие-нибудь. Пусть вам это будет известно, но мы газы никогда не применяли. Об этом все знают. А вы тут Бог знает что, черное за белое...

Подобной выходки Деликатов не ожидал. Некоторое время он молча слушал опровержения и ошалело моргал. Да и как было не ошалеть честному, заслуженному вояке, правдивый рассказ которого принародно опорочили, как вранье чистой воды, а его самого, кавалера семнадцати орденов и медалей, поставили на одну доску с американцами и с немцами. Полковник непримиримо взбылся и агрессивно покраснел.

- Это как-так "не применяли"? - рявкнул он зычно и угрожающе. - Это что еще такое за "неправда"? Чего она там плетет? Что ж я, по-твоему, трепаться сюда вышел или что? Много на себя берешь! Товарищи, я ж этот случай прекрасно помню, - голову вам даю на-отруб. Я сам там был. Я лично участвовал. Баллоны видел собственными глазами, а она мне тут черное-белое рассусоливает. У меня свидетели есть! Я докажу! В любое время дня и ночи! Хоть кому! Мы их там до одного, как мышей, передушили, даю вам слово коммуниста!

- Все равно, я вам не верю, - ответила та, что в очках. - И никто не поверит, ни один честный человек, что вы тут

бессовестно выдумываете. Наша страна подписала международную конвенцию. Мы всегда соблюдали...

- Я выдумываю? - опешил Евгений Иванович. - Товарищи, вы слышали? Ах, ты... Ах, ты... - Впервые в жизни полковник Деликатов замялся, застылся, заповторялся. Ему не терпелось обозвать ее как можно хлеще, но ничего, кроме "суки" и "матери", в голову не приходило, а прочие слова куда-то подевались вместе с чином, должностью, кавалерством. - Да ты кто такая? - заорал он совсем уже по-сапожнички. - Какую тебе еще кон-кон-кон-векцию? У нас был приказ "Вперед!", вот и вся кон-векция, - вам понятно? Мы ни перед чем не останавливались! Мы всегда побеждали! Мы любой ценой давили и будем давить к вашему сведению! Кон-векция! Нашлась тут героиня с дырой! Будет она мне указывать двадцать лет спустя три мушкетера...

Теперь все, кто был в зале, - а штат облисполкома пентагоновскому не намного уступал, - смотрели только на нее, и ни у кого не нашлось во взгляде ни симпатии, ни участия, ни солидарного чувства, ни маковой росинки. Председатель торжества прозвонил в звоночек. - Вы что же, - спросил он с бледной улыбкой официального недоумения и назвал сотрудницу по фамилии, - японцев пожалели, да? Какие они несчастные, да? Врагов вам, да? - жалко. Которые против нас. А наших солдат, отдавших за вас все, - нет, а? - И, повернувшись к оратору, трижды ударил в ладоши.

Что поднялось! Деликатову устроили овацию и аплодировали стоя. От аплодисментов качались люстры на потолке и вздрагивали тяжелые плюшевые шторы. Растроганный Евгений Иванович едва успевал улыбаться, раскланиваться и промокать глаза, потому что это было не просто единодушное одобрение или признание коллектива, а воистину Вокс Попули, - Глас Народа.

Ну, к единогласию нам не привыкать, и от Евгения Ивановича тут ничего не зависит. К тому же умных людей среди полковников не так уж много; то ли звание такое, что глупость по уставу приличествует, то ли рубеж переходной, когда служба требует говорить, не вникая, но почему народ под дурака причесан? - вот ведь что любопытно. Да еще Бога хочет глупей себя сделать. "Глас Народа - Божий Глас", - говорит. Хорошо, что на этот раз ничего похожего не произошло. Вместо хора фальшивых голосов и подголосков сложился великолепный дуэт человека с Богом к стыду и посрамлению завистливого, лицеприятного и двоедушного народа, одержимого ложным величием.

## ДВИЖЕНИЕ МАСС

*Тамаре Павловне Милютиной*

**М**ы не сразу поверили, что Яшка в Израиль собирает-ся, пока он самолично не подтвердил, - слух, дескать, правильный и отражает факт без искажений. Новость, конечно, как шаром по ногам. Ну, как же! Член Союза журналистов газетный фотограф Яшка Малиновкер, с которым каждый Божий день по десять раз видимся, в общем, самый что ни на есть свой брат Исакий, беспардонно бросает коллектив на произвол событий и правится на историческую свою родину, будь она неладна. События в стране, правда, еще не разворачивались, только назревали, но люди с тонкой кожей и проницательным умом чувствовали, что дело пахнет керосином и долго так не протянется. А Яшка не дурак; возможно, он тоже чувствовал.

Не задевая национальности, этой ахиллесовой пяты человечества, которая находится в постоянной гармонии с честью и достоинством всякого человека, вам должно быть ясно, кто Яшка такой и почему в Израиль, а не в Италию, хотя на личности у него ни единой буквой не помечено, что еврей, а что обрезан, так это ж сущие пустяки: во-первых, чай, не напоказ; во-вторых, Спаситель тоже обрезан сызмальства, а люди его славят, молятся, веруют, как ни в чем не бывало. И Яшке это в вину не вменялось, даже напротив, все его окликали на русский лад: Малиновкин - и точка. Честно признаться, мы его любили, и нам было жаль, что он уезжает, потому как Яшка, можно сказать, был любимым нашим евреем.

Не исключаю, что кой-кому невдомёк, как так можно любить еврея? Между тем, все просто и называется это - любовь по Достоевскому, поскольку Федор Михайлович при случае частенько говаривал, что в России евреев не любят и это правда, но у всякого русского есть пять любимых евреев, а так как русских стократ больше, получается, что их

у нас любят и что им с нами совсем неплохо живется. Вот и Яшку любили все, кроме заместителя редактора Василия Маркеловича, который его ненавидел во сне и наяву, и дело не в том, что на любимых евреев у Маркеловича лимит вышел, но, попросту говоря, был он пропитанный, законченный и убежденный юдофоб со сталинских лет. У него и программа имелась привлекательная и общедоступная: “Бей жидов и железнодорожников”, хотя замечался в доктрине небольшой изъян, постоянно вызывавший сомнения и вопрос: - “А железнодорожников за что?” Жидов, то есть, можно, их не убудет, - национальность такая, никуда не денешься, но по железнодорожной части она не всем нравилась, а многих прямо-таки отпугивала. Но это раньше некоторая сдержанность в политике наблюдалась, а нынче программу Василия Маркеловича исповедуют широко и практически, и бьют за национальность не одних евреев, но и русских, и армян, и чеченцев, и узбеков, и кого угодно. Делается это просто. В Москве, например, задерживают человека ни за что ни про что прямо на улице, приводят в милицию, выясняют национальность и начинают бить. Такая жизнь пошла интересная, и никто ничего, а те, кто наверху, смотрят и радуются: настал их час в мутной воде рыбку ловить. Жаль Маркеловича, малость не дотянул покойник до лучших дней.

Воздавая ему должное, следует напомнить, что Василий Маркелович ни разу мимо себя Яшки не пропустил без того, чтобы не зацепить за национальность, и объяснял, - я, вроде того, коммунист и взглядов своих не скрываю. Как-то на планёрке он разгневался на него за фотографию, где секретарь райкома и председатель колхоза стоят на пшеничном поле, а пшеница с ними ровень, закрывает колосьями их руководящие физиономии. “Яшка, - спрашивает, - ты в каком кибуце таковую пашаничку раскопал?” - а тот отвечает, что зерновые по области везде ниже среднего, для фотообвинения годятся, а для примера ни в дугу, пришлось секретаря с председателем на колени ставить... Ну, Маркеловичу много не надо, он с места в карьер берёт, и не сказать, - шлея под хвост заскочила, просто не может Яшку на дух переносить. “Ты, жид, секретаря райкома на колени? Опять за свои монтажи? На кого тянешь, пархатый? Это как же понимать, товарищи, когда какой-то местечковый на партию бочку котит? Скоро всякий из кагала будет нас унижать”, - и так далее. Яшка опять же вразумительно и не выходя из голоса ему толкует, что это только поначалу он их на колени поставил, потом вообще задницей на пятки поса-

дил да еще ссутулил до нужной кондиции. “И никакого, - говорит, - монтажа, никаких бочек, натурный снимок, от земли работал и не ради кого-то там унижить, но исключительно для газеты, потому как задание имел без положительного материала не возвращаться”. И мы за него заступились наперекор Маркеловичу, снимок признали образцовым и мобилизующим с высокой оценкой и художественной затравкой, сама в текстовку просится: “Стеной стоит пшеница золотая! Богатый урожай зреет на полях колхозных, хлебородных. Готовь, родина, сусеки и закрома под всенародный каравай, каравай, кого хочешь выбирай”.

Фотограф он был наипервейший, Божьей милостью фотограф, другого такого газетке нашей и через сто лет не видать, одно слово - мастер, а остальным до Яшки, как кулику до Петрова дня. Короче, профессионал, каких мало, а если вы сами фотографией по делу занимаетесь и вам эти строчки в обиду, прошу наперёд не обижаться, но откровенно ответить: вам молнию доводилось снимать? Хоть раз в жизни. Хоть когда-нибудь. Хоть часом-ненароком. Вот видите! А Яшка снимал. И шаровую, и обыкновенную. Молния, как вам известно, не тётка, с ней совсем другие взаимоотношения, - ей-то уж не скажешь: - “Прошу айн момент обождать, пока я то-другое-третье” или “Десять секунд не двигайтесь и задержите дыхание”. Самое главное в этом деле постоянная ежесекундная готовность, жесткий режим без удобств и аппарат при себе, невзирая, куда собрался, а уж снимать будь добр из любого положения, в каком тебя случай застал: полсекунды у тебя всегда есть и “Зоркий” твой должен ходить, как кольт у ковбоя. Журнал “Наука и жизнь” опубликовал пять из семи яшкиных снимков одного и того же явления природы под названием “Молния в январе”, - представляете, какая убойная была у него скорострельность и точность. Мы, когда на дне рождения у Яшки гуляли, сообщая картинку составили, как это происходило тридцать пять лет назад: сперва “Зоркий”, потом ручонки, за ними головка, а там и новорождённый весь, как есть. Пока ему пупочек перевязывали, он врача и акушерок по два раза крупным планом сделал.

Ему даже неудачи сходили на “бис”, а это уже что-то вроде рейтинга. Работать в газете он стал еще до получения паспорта и за несколько лет исколесил область вдоль и поперёк, собрав таким образом обширную коллекцию негативов трудоспособного населения, после чего ездить в командировки отпала надобность: он брал подходящий негатив, придумывал новую текстовку, слегка повышал прошло-

годние обязательства, немного рассказывал о жизни земледельца или животновода, и снимок шел в номер без сучка-задоринки вторично, а то и в третий раз.

Однажды он выдал к очередному партийному съезду портрет именитого чабана в окружении питомцев романовской породы, даже текстовки не меняя, лишь на единицу поднял порядковый номер съезда и на столько же приплод от каждой овцематки, - получилось по три ягненка от овцы. Снимок прошел, как маму кухам, и все было бы благополучно, если бы не родственники, которые сообщили в редакцию, что знатный пастырь уже три с лишним года выпасает отары на таких отгонах, на каких подножный корм вовек не переводится, всякая овца выгуливается с корову, а приплод составляет сам-сто. Оплошность пошла впрок, а газета с почившим улыбчивым чабаном разошлась в розничной продаже без остатка.

Своих идей у Яшки тоже хватало, - он ими, не таясь, делился на собраниях и планёрках, в частности о том, что, ежели нельзя публиковать интересных статей, надо побольше печатать интересных фотографий и не каких-то там передовых старух со стариками, а молодых, красивых девок, чтоб читателю было на что посмотреть. Один такой снимок прорвался на четвертую полосу: частокол голых ног топчут пляж комсомольского озера, а женские ноги куда красивее мужских, и это очень приятно.

У него не было скучных сюжетов, и всякая мелочь, на снимке запечатленная, интриговала и что-нибудь значила, как в художественном холсте. Трудно сказать, как это ему удавалось, а сделать, того гляди, и подавно не легче. Изо дня в день люди раздеваются и одеваются, но кто бы мог подумать, что Гоголь и Толстой расскажут о пошлых деталях бытового туалета Чичикова и Нехлюдова столь захватывающе и блистательно да с такими еще подробностями, хоть пуговицы считай, благодаря чему их описания станут равноценными лучшим живописным полотнам. На яшкиных фотографиях внимание привлекали, прежде всего, свежесть и новизна, - многие о том говорили и в глаза автору, и заглазно.

Набольшая известность пришла к нему после того, как он снял первого секретаря обкома товарища Бондалётова на первомайской трибуне. Только не воображайте, что товарища Бондалётова прежде Яшки никто не снимал; снимали да не так, а снимать товарища Бондалётова потрудней, чем молнию в январе, это вам не затвором щелкать на скорость момента, тут планка мастерства стоит на высшей от-

метке по шкале сложности. Фотографировали его часто и много, как того должность требовала, но снимок обязательно ретушировали, подправляли, смягчали, и в результате доводки получалось что-то похожее, но не совсем, и это товарищу Бондалётову не нравилось. Проблемность в том, что был он, деликатно говоря, нефотогеничен, а точнее сказать затрудняюсь, разве что в сравнении: вы скифскую степную “бабу” видели? Значит, правильно себе его представляете. Всего лишь небольшая поправка: от природы он вовсе не был страхолюден, и лицо без нервного тика, и бородавок всего одна да и та не на носу, а где-то близ уха, и вообще нормальный человек, а издали поглядеть, так и на вид неплох. Но коль скоро был он кадр самодержавный, самоуправный и самовластный, власть очень явственно его преобразила, наложив печать на чело так, что его можно было в любой обстановке и от беспартийной массы отличить, и из трудящейся среды выделить, и интеллигенцию миновать, и к высшему эшелону причислить, а возможно, и должность отгадать. Сядь он по ошибке или самовольно в общий вагон пятсот весёлого поезда, его и там бы признали, потому что металла в нем переложено, во взгляде беспретикословность и лицо сизое от переизбытка патриотизма, даже как бы под цвет чугуна и еще не остывшего литья. Словом, это был богатырь современных былин, свободный и неподзаконный, одной рукой останавливающий на полчаса скорый московский поезд и не несущий за то никакой ответственности.

Дважды в год товарищ Бондалётов собственной персоной встречался с народом лицом к лицу, и никакая сила не могла помешать предписанным встречам состояться: ни дурная погода, ни состояние здоровья, ни похороны родственника. В первый день мая месяца он, как всегда, солидаризируясь с трудящимися, стоял на праздничной трибуне в окружении членов бюро обкома и горкома, а мимо валом валили народные массы и трудовые коллективы, пионерочка читала в микрофон стихи Пушкина, и усилители разносили их по городу, многократным эхом повторяя пророческие слова великого поэта:

Товарищ, верь, взойдёт она,  
Звезда пленительного счастья,  
И на дворцах советской власти  
Напишут наши имена.

Товарищ Бондалётов был по обыкновению строг, загадочен и серьезен, что не мешало ему выполнять несколько обязанностей зaráз: держать лицо, делать народу ручкой,

слушать пионерочку и размышлять, какой замечательный поэт был Пушкин, как далеко смотрел и правильно сообразил, сейчас таких нету, одна труба на выброс, - Броцкий, Босоцкий, Акуждава, им до именных надписей на дворцах век думать и не додуматься, а чье имя пойдет вначале списка, секретарь знал точно и был оттого приятно взволнован и глубоко задет. Именно тогда и стряслось то, чего даже перспективный план не смог бы предугадать: из правого глаза товарища Бондалётова выкатилась прозрачная светлая слеза довольно крупных размеров и медленно пошла вниз. Сверкнув на скуле пучком алмазных лучей, она проследовала дальше, но подбородка не достигла, иссякнув досуха под воздействием температуры жаркой руководящей щеки. Но Яшка, будучи в оба глаза на стрёме, успел ее зафиксировать как раз в тот момент, когда она ослепительно выиграла и заискрилась на скульпной возвышенности первого секретаря.

Так появилось высокохудожественное и абсолютно правдивое изображение товарища Бондалётова без ухищрений и фальсификаций, где первый коммунист области, не стыдясь слёз, восторгался чем-то высоким и прекрасным: то ли поэзией, то ли музыкой, то ли молодой зеленью, то ли еще чем. Добрую четверть часа он не мог оторваться от своего портрета, что так внезапно и безотчетно ему понравился, возможно, по той же причине, по какой высказался стихами средневековый исламский Восток: "Тогда великий Аллах в бесконечном своем милосердии вознаградил и украсил суровых, сильных мужей подобающей им слабостью". Он вдруг почувствовал себя слабым, хрупким, отчасти стеклянным, а не металлическим и, как ни странно, ощутил краткость, прерывистость и самоценность жизни, словно для того, чтобы уловить момент истины, что ничем решительно он не отличается от тех многих, кому являлся на трибуне по большим годовым праздникам. Его обняло настроение, какого он никогда прежде не переживал, и ему на один краткий миг стало ясно, что если отбросить все мнимое и напускное, то никакой особенностью он от других не разнится, и это хорошо. Такой у него получился натуральный, всамделишный праздник со слезами на глазах, а проще сказать, он расстроился, расчувствовался и обмяк, чего ему по штату делать не рекомендовалось. Он, конечно, спохватился и, овладев собой, нагнал на себя строгость и высокоумие, вызвал Бушлат-Мамыкина, вручил ему фотографию и приказал повторить в количестве ста штук для стола и альбомов, и двадцать для настенного повешения.

Партийный актив области воспринял высочайший заказ, как клич “сарынь на кичку”, что означало сигнал к действию, и за два дня в городе не осталось учреждения, вплоть до “Заготбрусники”, какому не понадобился бы для директорского кабинета скромный, лиричный, гуманистический образ Бондалёта Первого, как его уважительно вполголоса величали. Но прежде, чем заказ поставили на поточную линию, Яшка смекнул, что имеет шанс остаться без штанов, поскольку клиентура была не та, что даёт, а та, что берёт и “спасибо” не говорит. Он посоветовался с Шавкатом Фатхуллиным из быткомбината и отказал первым руководящим заказчиком под предлогом, что передал негатив тому-то, тому-то, пусть идут-звонят в городское ателье и договариваются в порядке очерёдности, - чья должность выше. Комбинату, понятно, легче; он за квартал справился с заданием, провел реальные расходы по фиктивным статьям и взамен добился льготных поблажек, по которым восполнил убытки и получил некоторую прибыль.

В тот день Шавкат разбудил Яшку в редакционном чулане, где он обычно проявлял, печатал и, умаявшись, спал. “Пока ты тут спишь, в обкоме районы продают”, - упрекнул он Яшку, как будто их из-за Яшки продавали, и если бы он не спал, то и продажи никакой бы не было. “Да? - спросил Яшка невыразительно. - И почём же райончик?” “Две тыщи штука”, - ответил Шавкат, не признававший юмора. “Две тыщи это недорого. Это терпимо, две тыщи. Я думал тыщ пять заломят, а две это куда ни шло, - рассуждал он не поднимаясь с топчана. - А как? С угожьями? С населением? Со скотиной? А то знаем мы ихние распродажи: деньги качнут по привычке, а потом скажут, что сделка недействительная”. “Со всем хозяйством, - энергично заверил Шавкат. - Все в твоих руках. Ты командуешь парадом. Твое слово - закон”. Видя такое дело, Яшка встал, выключил настольный красный, врубил верхний жёлтый и попросил приятеля рассказать все сначала, по порядку и не торопясь, а применительно к Шавкату это обозначало: не прыгать, не передерживать и не суетиться. Рассказ получился краткий, но впечатляющий.

Приближался столетний день рождения вождя-основателя и к нему гнали и приурочивали все, что можно было построить, пустить, выполнить, открыть, наладить и завершить, в результате чего вреда оказывалось больше, чем пользы. К той же светлой дате прицепили также обмен партбилетов. Их, правда, и раньше меняли, но тогда это называлось зачисткой рядов и сопровождалось напряжёнкой в

обществе, всеобщим мандражом, дурными предчувствиями и гаданием на пальцах: выгонят - не выгонят, заберут - не заберут, но теперь никаких репрессий не полагалось: сдал одну партийную ксиву, получил другую и - гуляй. Но, конечно, не так просто, - раз, два и в дамки; на сей раз обмен готовился как эпохальное событие, как последний парад, как пир Валтасара, и средства под него отпустили завидные, но присвоить их по-старинке на хапók, а затем оправдываться, что не украл, всего лишь взял на подержание, было бы недостойно ни эпохи, ни Валтасара.

Ради того, дабы не попасть, как зверь на ловца, а рыба на живца, в стране провели отвлекающий манёвр и всесоюзный шухер: ленинские конференции, ленинские зачеты, ленинские вахты, ленинские вечера и тому подобную муть, от которой, если и был какой толк, так разве что в виде забавных небылиц да разнообразной анекдотической продукции: трёхспальная кровать для новобрачных "Ленин с нами", коньяк "Ленин в разливе", набор "Ленин в шоколаде", банное мыло "По ленинским местам" и самое разнообразное "Ленин в ассорти". В республиканских центрах проходили выставки "Ленин в изобразительном искусстве", посетив которые, верующие люди осеяли себя крестным знаменем и отплёвывались: "сгинь, сгинь, рассыпья; грядет, грядет, сукин сын антихрист, а с ним новый спаситель, новая религия, новая заповедь, - благо все, что полезно государству".

Пионеры, в Бога мало веры,

А кто ваш Спаситель?

Наш спаситель Ленин, наш учитель,

Вот кто наш спаситель!

В некоторых провинциальных городах разносили сплетню с оттенками черного юмора, что пенсионеров, якобы, собираются расстреливать, после чего объявят снижение цен.

Казалось бы, ну чего проще дать команду членам партии под страхом зачистки рядов выслать в обком по паре фотокарточек три-на-четыре, получить в День Ильича юбилейный документ и привет семье. Но это означало бы уронить мероприятие, ударить в грязь лицом, принизить авторитет вождя, свести на нет руководящую и направляющую роль партии и скомпрометировать правительство возвращением неиспользованных средств казне с целевым назначением на гражданское строительство и в помощь матерям-одиночкам. Но время шло, и к ленинской красной дате партийно-советские деятели уже должны были бы знать, будь они по-

умней, мнение беспартийных масс: “Где партийный побывал, там еврею не-хер делать” и “Они до своего допрыгаются”.

Обком поступил как нельзя рассудительней, пустив районы на откуп. Фотограф-профессионал обязан был дать на-лапу две тысячи рублей, кому следует, и, получив командировочное благословение, отбыть в указанный райком одноимённого района, где в декадный срок полагалось отснять всю партийную шатобратию и вернуться с полным комплектом фотоснимков, а какую цену мастер возьмет за работу - его личное дело, никого не касается и налогообложению не подлежит. Официальная же гарантия честно принятой взятки с последующим возмещением закреплялась не с кондачка “слово - слово, сказано - завязано”, а решением бюро обкома, согласно которому всякий подотчетный район прежде всего имел ЦУ (цеу) обкома, что означает, “ценное указание”, подготовить и оборудовать рабочий спецкабинет, создав все условия для производительного труда командированного специалиста, и отменить это распоряжение могло только ЕБЦУ (ебецеу) центрального комитета партии, то есть, “еще более ценное указание”. Бумагу составили грамотно и все в ней предучли: авторитет партбилета, высокую квалификацию мастера, сроки, единые нормативы, набор технических и прочих средств и так далее, а об исходных двух тысячах рублей не помянули ни полсловом.

Шавкат знал, что больших денег у Яшки сроду не водилось, и протянул руку помощи. “Тут у меня осталось, - сказал он с досадой. - Вообще-то я рассчитывал на пару районов, но Бушлат не дал: - “Сроки, - говорит, - не те, не уложишься”. Вот тебе тысяча с прицепом, а сколько не хватает, подсобери. Ты, слышь, давай, шевели ножками, до обеда чтоб оформился”. Обкома Яшка побаивался, потому что много о нем слышал такого-всякого, люди рассказывали, ходили туда с жалобами и рассказывали: - “Пока до третьего достучишься, забудешь, зачем пришел и кто тебя обидел, а к Бондалёту лучше не суйся, он жалобщиков не уважает, как на тебя зыркнет буравлями своими, папу-маму долго будешь вспоминать в слезах”. Само собой, он бывал в обкоме сколько раз: то конференции снимал с активами, то ветеранов партии с большим стажем, то еще чего, но на беспартийного Яшку либо заявку оформляли загодя, либо проводили с группой, где было кому за него поручиться и сказать милицейскому посту при дверях: - “Этот с нами”.

“Да меня кто туда пустит одного? - обеспокоился он. -

Тебе и горя мало, ты партийный, а мне запросто салазки от порога завернут за будь здоров. Там два милицейских лба, мимо них ворон костей не пронесил". "Погоди шебутиться, слушай внимательно сюда и запоминай, - успокоил Шавкат Яшку. - Как в здание зайдешь, держи вид "фу-ли нам, малярам, в упор никого не вижу". А как тебя спросят: - "Ваш партбилет?" - ты им пару слов: - "Движение масс", - ты запиши, а то забудешь, тогда тебя точно не пропустят". "Я запишу, - сказал Яшка и засмеялся. - Как в кино про шпионов. Навроде пароль". "Так и есть, - кивнул Шавкат. - Потому как идешь по делу не всем знать. Для таких мероприятий там всегда свой признак и страховка: сказал, значит, свой, значит, проходи, можешь даже в обкомовской столовке пообедать ниже себестоимости, у них отбивная двадцать копеек цена, там на рубль двоим от пуза нажраться. Только "Зоркого" с собой не бери, они этого не любят".

Денег Шавкат ему оставил тысячу триста. Около двухсот у Яшки было своих. Остальные он бегом добрал в кассе взаимопомощи и в газетных отделах: по десятке, по пятёрке, по трёшнице, - кто сколько смог. Получилась внушительная горка мятых, грязных денег вперемешку с почти что новыми. Он завернул их в газету и положил во внутренний карман пиджака. Часам к одиннадцати он был у цели, но прежде, чем войти, еще раз перечитал, как это будет современному, - "Сезам, откройся". Он даже не стал дожидаться пока у него партбилет спросят, но громко и нагло провозгласил движение масс. "Тише ты, алёша, - зашипел на него постовой. - Порядка не знаешь, раскричался тут. Проходи".

Яшка поднялся на третий этаж и без предупреждения открыл дверь кабинета товарища Бушлат-Мамыкина, помощника первого секретаря. Тот вопросительно на него посмотрел, и Яшка произнес пароль вторично. Помощник закрыл дверь на ключ, подошел к столу, выдвинул ящик и однозначно ткнул в него пальцем. Яшка все понял: он тоже подошел к столу и опростал содержимое пакета, куда приказано. Снова образовалась солидная куча старых и новых дензнаков различного достоинства. "Хорошо нынче подают, - сказал помощник с дружеской улыбкой. - На каком углу стоял? Может, ты еще и мелочью?" "Мелочи не берём", - отыгрался Яшка в тон. "Тут правильно?" - спросил помощник, брезгая, небось, пересчитывать. "Как в аптеке", - ответил Яшка. "Партию не обманывают", - заметил Бушлат-Мамыкин, сменив улыбку на столь принципиальную строгость, что Яшке захотелось подобрать живот, как в армии, и в струнку вытянуться.

Это был невысокий кругленький человек с ушками крылышком и подвижными чертами. Он легко и резво перемещался по кабинету, его движения были порхающими, повороты и жесты неожиданными, Яшке даже показалось, что он, если захочет, сейчас же взмахнет ушами и улетит туда, где нет зимы, - плакали тогда яшкины деньги. Между тем Бушлат-Мамыкин никуда лететь не собирался, но быстро почувствовал собеседника, проникся к нему участием и, зная сущность текущих проблем, откровенно симпатизировал Яшке, а тот глядел на помощника и думал: - "Какой расторопный! С таким, наверное, и работать весело". Молча, но доброжелательно Бушлат указал Яшке на стул и, не откладывая важных проблем в долгий ящик, принялся его на-таскивать, что нужно делать, что делать не обязательно, а было и такое, чего делать ни в коем случае не полагалось. Пока они тихо-мирно беседовали, открылась дверь смежного помещения, и в дверном проеме тамбура четко возник товарищ Бондалётов в подтяжках. Интерьер комнаты за его спиной не просматривался, - то ли окна были задраены солнцезащитой и свет выключен, то ли внутренняя дверь тамбура перекрыта, однако Яшке хватило ума догадаться, что там находится помещение для отдыха Бондалёта Первого, и ужасно захотелось посмотреть на обстановку, чтоб заснять.

Немного этак постояв, товарищ Бондалётов, не говоря лишнего слова, выгнал брови на середину лба и слегка ими пошевелил, а помощник ответил ему закрытыми глазами с надвинутыми на них бровями и растянул гуттаперчевый рот, в момент обозначивши не праздную беззаботность, но нечто совершенно ей противоположное. Яшка принял перекличку на свой счет. "Это тот, что меня так удачно на трибуне щёлкнул?" - вопрошал секретарь обкома. "Именно так. Он самый. Сын собственных родителей. Как лист перед травой. На ваше объективное усмотрение", - отвечал помощник. Конечно, Яшка ошибался, разговор шел совсем о другом. "Ну как? - спрашивал товарищ Бондалётов. - Несут?" "На полный ход, Пётр Памфилович. Еще двенадцати нет, а больше половины уже принесли. За сегодня управимся".

Так оно, верней всего, и было. В области пятнадцать районов, - кому же о них позаботиться, как не первому большеву, у которого всякое дело на практическую ногу поставлено. Он приблизился к столу, собеседники встали, помощник доложил: - "Инструктирую товарища, Пётр Памфилович. Задача предстоит архиважная, будем говорить, сверхзадача. Товарищ понимает, серьезно относится". "Энта хо-

рошо, что он относится, - одобрил Пётр Памфилович подборо-  
родком и обратил чугунное лицо к Яшке: - Коммунист?"  
"Кандидат", - соврал Яшка незадорого. "Энта хорошо, что  
кандидат, - кивнул секретарь повторно. - Значит, первое  
партийное поручение: в намеченный срок, лучшим качест-  
вом, малыми затратами. Дело очень ответственное. Эсли  
какой коммунист с бородой заявится или под режиссёра  
подстрижен, гони в парикмахерскую. А то некоторые уже  
обросли. Ничего, мой тёзка бороды брил, я тоже поброю.  
Ишь ты, моду взяли! А эсли он мозги начнет пудрить насчет  
личных прав, того опять же в парикмахерскую и справку  
пусть принесет". "А что, как он Карла Маркса, Фридриха там  
Энгельса, а то даже Владимира..." Яшка не успел спросить  
до конца, его перебил Пётр Памфилович: - "Энтих волосатых  
не пугайтесь. Скажи, - теперь не те времена. Перед тобой  
партия ставит задачу и ее надо выполнить неу... неу..." "кос-  
нительно", - закончил фразу Мамыкин, в единый миг подла-  
дившись под голос начальства.

Выдав еще несколько ЦУ, Пётр Памфилович пожал яшкину  
руку, что было полной для Яшки неожиданностью, и ретиро-  
вался в будуар, не то досыпать, не то еще чего. "Не бере-  
жет здоровье, - покачал головой Бушлат-Мамыкин и нахму-  
рился от забот. - Никому не подчиняется. Работает на из-  
нос. За десятерых тянет. Ночей не спит. Все для других, все  
для кого-то, а самому в отпуск некогда". Он говорил и од-  
новременно наворачивал диск телефона, набирая номер га-  
зетной редакции: - "Алё! Вадим Григорич? Бушлат-Мамы-  
кин категорически вас приветствует. Мы временно Мали-  
новкина вашего забираем. Да-да, командиреем. Кампания  
по обмену. Да ну, самый пустяк, доброй хозяйке горшки пе-  
реставить. Ага, чудно, чудно, обоюдно, пока". Переговорив  
с редактором, он сказал Яшке: - "Дуй домой, не заходя на  
работу, и - вечерним автобусом. Я позвоню, в райкоме бу-  
дут ждать".

Его и впрямь ждали. Перво-наперво Яшка осмотрел ра-  
бочую комнату, - она была в самый раз: просторная, свет-  
лая, с двумя большими окнами, на стене портрет Леонида  
Ильича в маршальском мундире с орденскими планками до  
колен. Супротив портрета особняком у стены стоял стул с  
прямой спинкой, а промеж стулом и портретом - фотошта-  
тив. Оба предмета были принайтованы к полу, как мебель  
на судне. У потолка по углам висели два динамика, и шну-  
ры от них уходили вдоль плинтуса на второй этаж в отдел  
идеологии и пропаганды, - там помещался настоящий сту-  
дийный магнитофон, на нем крутилась фонограмма с запи-

сю двух песен: “Идет война народная” и “Брежнев нас в бой водил, Брежнев нас закалил”; все это включалось, отключалось и регулировалось в рабочем помещении по мере надобности.

Процедуру Яшка частью домыслил самостоятельно, а чего недобрал своим умом, заводделом помог. Клиент садился на стул, сохраняя строевую выправку, и прослушивал фонограмму, глядя при этом на портрет генерального секретаря. На фонограмму уходило около пяти минут, в течение которых снимаемый набирался благородной ярости, боевого духа и партийного сурьёза, что и фиксировалось фотоснимком. Яшка ненавязчиво поинтересовался численностью районной партийной организации, немного подумал и говорит: - “Фонограмму придется убрать, а то в срок не уложимся. С ней работы на месяц, а у меня всего полторы недели”. “Ни под каким видом! - испугался заводделом и всплеснул руками. - Личное указание Петра Памфиловича. Научная тема, - вы на что меня толкаете? Пётр Памфилович по ней диссертацию пишет. Если коммуниста без фонограммы снимать, знаете, что получится? Легкомысленная альбомная фотокарточка: “Мане от Вани, если любишь, то храни, а не любишь, то порви”. Тут нужна убежденность, идейность, готовность и всяческий патриотизм, куда укажет партия: под танк, так под танк; на амбразуру, значит, на амбразуру; к светлой жизни, стало быть, к ней, а мы за это деньги получаем. Да, да, да, всяческий патриотизм, можете себе представить”. После долгих препирательств договорились поделить фонограмму надвое: одному клиенту “Священную войну”, другому “Полководца Брежнева”. Но Яшке все еще было мало и он предложил прогрессивный метод обработки материала: если клиент доспел за полкуплета и верность партийным идеалам у него на лбу крупным потом обозначилась, зачем держать человека до конца? - это все равно, что передержать фотографию в проявителе. Заводделом подумал-подумал и опять уступил.

С утра закипела работа. Взымал Яшка по-божецки: пятёрка с носа за профессионализм, за ненормированный рабочий день и за шесть фотографий, хотя требовалось только три: две по делу и одна для диссертации. Он быстро освоился с обстановкой: включал и выключал громкоговорители, снимал, записывал данные с партбилета и, втянувшись в процесс, уверенно покрикивал под музыку: - “Партия наш рулевой! Лояльности прибавь! Не вижу преданности! Даёшь верность ленинским заветам! Ты чего лыбишься? Так и на амбразуру пойдешь? А ну, смени физику! Как это

“не получается”? Характер свой в карман засунь. Тебя когда в сортир не пускают, ты тоже смеешься? Ну,образи. Уже лучше. Еще мало-мало надуйся...”

Чаще других в дело шел армейский метод убеждения приказом: “Ты не в райкоме, а на войне. В руках у тебя что? Граната. Приготовиться к подвигу, на тебя пять танков прут. Эх, велика Россия, а отступить... Боишься? Ничего не пописаешь, придётся прыгать. За родину, за партию, да. Глаза не закрывать! Не дёргаться! Глядеть смерти в лицо, не моргая! Нахальства побольше...” А иного приходилось брать на совесть: - “Не смотри в объектив, пусть он на тебя смотрит, а смотри на Леонида Ильича и думай о великих стройках. Почему медленно проникаешься? В чем дело? Где твое партийное самосознание? Где всяческий патриотизм, тебя спрашивают? О чем мечтаешь по сторонам? О коммунизме лучше бы мечтал, который вот-вот... Медленно, медленно...”

Работа спорилась, все шло, как по маслу. На инвалидов, правда, времени уходило втрое, но их было не так много. Бородатых, как и положено, он отправлял стричься-бриться. Много было мороки с пьяными; Яшка их спроваживал до следующего раза, когда протрезвеют, потому что опасался, как бы они под воздействием браваурной музыки совсем от ума не отошли, а те сопротивлялись и поднимали хай, приходилось милицию вызывать. Зато с подвыпившими работать было одно удовольствие: Яшка безо всяких внушений приказывал клиенту соорудить физиономию, будто он домой в подпитии заявился и не хочет, чтобы жена заметила, - прекрасные получились карточки, любой бы сказал о каждом в отдельности: завзятый ленинец, отъявленный коммунист, сразу видать товарища. Но это днем, а по ночам он проявлял, печатал и спал часа четыре под фонограмму, которая вертелась в голове круглые сутки без перерыва.

Результат был налицо: коммунисты района отличались от беспартийных повышенным уровнем сознательности, что сказывалось некоторым лупоглазием при наличии серьезности, мужества, решительности, самоотверженности и готовности хоть куда сию же минуту, - именно то, что требовалось Петру Памфиловичу для диссертации. Яшка уложился в срок, привез из командировки толстый портфель добротных фотографий и около тринадцати тысяч деньгами. Несколько суток он отсыпался за счет отгулов, а отоспавшись, вышел на работу, расплатился с долгами, кой-чего для дома купил и съездил с семьей в отпуск к родителям в город Бердичев.

С тех пор минуло около трех лет. А теперь наш друг Яшка Малиновкер уезжал от нас насовсем, а с друзьями просто так не расстаются. Собрались, конечно. Шавкат Фатхуллин тоже был. Заказали в ресторане отдельную кабину на предмет выпить отвальную рюмку водки, пожелать Яшке счастливого пути с женой и дочкой и лучшей доли. Ну, и разговор по душам, от этого никуда не денешься. Сначала беседа не клеилась, но время переходя мы разогрелись, расшевелились и кто-то сказал:

- Дурак ты, Яшка. Ну, чего ты попрёшься в этот Израиль? Чего ты там забыл? Кто тебя ждёт не дожждётся?

- Ну как же! - Яшка говорит. - Дядя. Он вызов на семью прислал.

- Да брось! Ты его сроду не видел и ничего не случилось.

- А здесь? Чего тебе не хватает? Работа, квартира, колллектив...

Разговор вспыхнул, точно костёр при хорошем ветре, и очень быстро сделался всеобщим, потому что каждому захотелось высказаться начистоту.

- Какой из тебя еврей, Яшка? Ты же девяносто процентов наш. И фамилия девяносто процентов русская.

- Ой, смотри, Яков, не прошибись. А то будешь потом локти кусать.

- Запросто. Не везде за границей найдешь, к чему смалу привык.

- И живем не хуже. Вот у меня, к примеру, два приемника. А зачем мне два? Могу любому желающему подарить. Исправный, работает, как часы. Яша, не едь, я тебе приемник подарю.

- Да его там в два счета разоблачат. Прислали, - скажут, - поддельного иудея, а он на иврите ни "бе", ни "ме".

- Работа у тебя какая? Хозяин-барин. Все в твоих руках.

- А заработки? Братцы-первопроходцы, где он такие заработки найдет?

- Яшка, чего ты прибедряешься, поимей совесть. Ты же тринадцать тысяч целковых только на обмене партбилетов загрёб.

Яшка поднял голову, и мы увидели столько печали в его глазах, словно в них собралась вся еврейская скорбь от Вавилонского плена до Кишиневского погрома, а возможно, и больше. Ему тоже не хотелось с нами расставаться. Он обвел взглядом всех, кто сидел за столом и сказал негромко: - "Так их же не каждый год меняют..."

Кому-то, может, и смешно, а у нас никакого смеха не было, слишком серьезно вопрос стоял. Мы сразу же поняли,

что Яшка прав, и перестали его отговаривать. Другое дело, если бы партбилеты действительно меняли каждый год, тогда, конечно... Как это мы не догадались? Вот так оно и получается, когда чувства много, а рассудка чуть.

Вскоре мы разыгрались, а под конец даже сфотографировались. Яшка самолично навел аппарат, нажал на автоспуск, устроился посередке, а мы к нему прильнули, как молочные братья, и каждый, небось, подумал:

Если встретиться нам не придётся,  
Если наша такая судьба,  
Пусть на память тебе остаётся  
Одинокая личность моя.

Потом он уехал. Сперва в Израиль, затем в Штаты. Осел в Лос-Анжелесе. За год работу нашел подходящую в рекламном издательстве, - такие, как он, нигде без дела не заржавеют, - а вот к английскому долго привыкал. Несколько писем от него получили. Писал, что живет нормально; там все, кто работать умеет, нормально живут. Сделал несколько персональных фотовыставок, дом купил, родителей выписал из Бердичева, - в общем, жить можно. Только поговорить по душам абсолютно не с кем, - не тот уровень общения. У американцев насчет этого ни понятия, ни опыта, - что такое "поговорить по душам". В языке тоже: "откровенно", "дружески", "искренне" - всегда пожалуйста, а "по душам" не получается, и отстают они от нас в этом деле порядком, примерно, на два. Все остальное тип-топ.

Мы страшно радовались вестям от Яшки. В Атланте когда Олимпийские Игры проходили, так мы полмесяца телевизоры не выключали, все надеялись, - а вдруг Яшку где-нибудь увидим. Но.....

## ПИСЬМА К ИНГРИД

Дорогой друг, Ингрид, здравствуйте.

Я получил Ваши *Season's Greetings* вполне благополучно дней пять тому назад, но обрадовался Вашей открытке так же, как если бы получил ее в сочельник. Открытку мне переслали из Хивы, где она пролежала два месяца с лишком.

Теперь я не в Хорезме, а в Бухаре с начала декабря прошлого года. Работаю в газете областной, работа сама мне нравится. Как-никак все-таки слово, а я люблю слова и порознь, и в сочетаниях, и на слух, и на вид, так что это как раз то, что мне надо. Жаль только, что в газете приняты слова стандартные, в которых уже нет ни смысла острого, ни даже искренности подчас. Экскурсиями почти не занимаюсь. Очень мне жалко Хиву, Вы даже не знаете, Ингрид, как жалко. Ну да что же делать.

Там у меня была домашняя змея, очень воспитанная и хорошая. Но когда я уезжал оттуда, уже она спала где-то в норе и там осталась. А собачку свою я взял. У меня есть собака. Зовут - Бемоль, потому что она, как черная клавиша среди белых. Вся она цвета вороньего крыла, а на груди - белоснежная блузка! а лапы - в белых перчатках! На редкость красивая собака. Полтора года тому назад по ней машина проехала, а собака осталась на дороге между колесами. Она тогда совсем маленьким щенком была и от нее пахло ржаным хлебом. Так я ее взял с дороги, так она у меня и живет.

На редкость умная, понятливая и добрая. На всех людей смотрит одинаково приветливо и думает, верно, по-собачьему, что все люди - очень добрые и честные. Находясь в таком приятном заблуждении, она совершенно не умеет кусаться. Я ее берегу от разочарований и не стараюсь разуверить, что все это далеко не так. <...>

Свой отпуск я провел наполовину вблизи Вас, в Ленинг-

---

*Эти письма, более четверти века хранившиеся женой писателя Ингрид Майдре, - историческая "ретроспектива" со сценами жизни самого художника, построенными им по законам своего собственного творчества.*

раде, но в Таллине побывать не привелось, да и погода была не очень хорошая.

Это великолепно, что Вы пишете по-английски. С радостью читаю, почерк Ваш доступен вполне. Буду ждать Ваших английских писем и писать Вам о своем житье-бытье. Помню Вас хорошо и ясно. Если мне доведется когда-нибудь встретить Вас опять, думаю, что узнаю без труда. А если из моей писанины (этим я сейчас занят) выйдет что-либо путное, пришлю Вам непременно.

Здесь я прощаюсь с Вами, Ингрид, и остаюсь искренне и дружески к Вам расположенным

- Б. Крячко. До свидания.

13.3.1973.

На полях.

Мой адрес: 705014. Уз.ССР, г. Бухара, ул. 40 лет Узбекистана, 5/4, кв. 14. Крячко Борису Юлиановичу.

28.3.1973.

Здравствуйте, Ингрид.

Получил письмо от Вас, очень обрадовался, был весел, приветлив, добродушен целый день, здоровался с посторонними, никого не обижал и не задирал, вел себя очень прилично, много шутил и пел, словом, был в таком расположении духа, которое называют отличным. Этим я хочу сказать, что я не просто обрадовался Вашему письму, а очень. Будь Ваше письмо больше, я был бы рад вовсе неумеренно. Душенька, Ингрид, не сокращайте Ваши беседы, ежели Вам хочется поговорить со мной, потому что для меня разговор с Вами - такое же удовольствие. Думаю, что Вы просто хотели меня напугать, сказав, будто "в дальнейшем постараюсь писать короче".

Ваши письма хороши еще и потому, что я чувствую, где Вы в них засмеялись, где задумались, где недосказали, - и все это мне нравится. Даже если в Ваших письмах много вопросов - мне это тоже нравится, хотя общение людей по схеме: "вопрос - ответ" мне представляется чисто женской точкой зрения на белый свет. По такому правилу сделаны все учебники иностранного языка, (о чем Вы знаете, конечно, лучше меня) и я люблю их читать.

Например, такой содержательный разговор:

А.: Есть ли у вас интересная книга?

В.: Нет, у меня нет интересной книги, зато я умею играть на мандолине.

Пожалуйста, не принимайте все это всерьез, это все-навсего мои личные, собственные привычки. Может, Вы это отметили, а, возможно, и нет, но я очень редко спрашиваю, а письма мои лишены вопросов вообще. Тут сыграли роль

два обстоятельства. Во-первых, общался я с книгами больше гораздо, чем с живыми людьми, а во-вторых, мне за 20 лет пребывания здесь пришлось по душе туркменская и узбекская манера ни о чем не спрашивать. Мне это пришлось оценить, когда я по весьма сложным обстоятельствам приехал в Хиву. Там очень мало русских и мое появление вызвало у стариков такой отзыв: "Приехал высокий урус. Видел много плохого". Настолько точная формулировка привела меня в восхищение, и я тотчас же вспомнил слова Авиценны: "Хорезмийцы менее живописны, но более благородны". Это было верно 1000 лет назад. Сейчас тоже так. Меня никто ни о чем там не спрашивал.

Ингрид, я действительно Вас вспоминал очень ясно. Помню даже, что виделись мы с Вами дважды - 4 мая в автобусе Бухара-Ургенч и 5 мая уже в Хиве. Значит скоро будет год.

Когда-нибудь мы должны увидеться. Наверное, это будет возможно, когда я буду в Москве либо в Ленинграде, только я не знаю наверняка, когда это будет. Как бы там ни было, но я непременно сообщу Вам, и если Вы не будете заняты, то встретите меня, и я сразу Вас узнаю. Заранее согласен, что Таллин - интересный красивый город, но все-таки доведись мне в нем - иншалла! - быть, буду я ради Вас больше, чем ради старого Тоомаса.

Мой друг, хорошо, что Вы сказали мне, где Вы будете в июне, где в июле и в августе. Это создает определенное равновесие и чувство покоя. Только бы Вы не уезжали дальше, чем есть теперь. Это и так достаточно далеко.

Уезжать из Хивы было непросто и нелегко, но что было делать? Зимой мне было там так скверно, что пробыть еще одну зиму я не рискнул. Ко всему вдобавок, начальство заповедника и экскурсионного бюро переругались друг с другом и работать стало по этой причине вовсе нелегко. Некоторое время я наблюдал эту административную гражданскую войну, а потом, не будучи чем-либо кому-либо обязан, подал в отставку. Тем дело и кончилось.

Но Бухара тоже интересный город. Как ансамбль Хива лучше, а врозь по памятникам - Бухара Хиву превосходит. Работа в газете не бог весть какая. Хуже всего, что нынешние нормы вовсе не обязывают газету быть интересной. От этого страдает все остальное. Отчаянное дело искать в газете жанры, образы, художественные приемы, и все такое, потому что официальная сентенция сильно теснит и жмет шаблонами, стандартами, стереотипами. Надо надеяться, что сейчас идет такая струя, но дальше пойдет лучше когда-нибудь. Хемингуэю было, наверное, легче. А попадись он теперь в газету, его бы в два счета выправили, что сам

себя в зеркале не узнал бы. Да что ж Хемингуэй. Легче было и Тэффи, и Ильфу с Петровым, и Аверченко, и даже Зощенко, хоть и прожили они ославленные при жизни хуже некуда.

Рад, что у Вас прошли благополучно экзаменовки на магистра. Когда все завершится наилучшим образом, поздравлю телеграммой маэстро И. Майдре. Вы, в самом деле, Ингрид, хорошо излагаете по-английски, и я так не смог бы. Правда, я больше привык к книгам, и всегда меня преследовала одна мысль, приводившая к наивному постоянному удивлению: как этот англичанин хорошо пишет по-английски. Или француз по-французски. Немец по-немецки. Потом я пришел к выводу, что русский лучше всех и этим вполне утешился.

Я теперь пишу мало, потому что ни времени, ни условий для работы нет. И устаю крепко. Опять-таки надежды возлагаю на будущее, а пока держу взаперти сюжеты и образы, которым хочется на волю, и мне охота с ними, да вот беда, что недосуг.

Из Бухары я не уезжаю никуда. Летом предполагаю взять отпуск за свой страх и риск сроком на месяц (с дозволения начальства) и поехать в Хиву. Но это если отпустят.

Снова возвращаюсь к мысли и говорю: Ингрид, какая Вы умница, что пишете по-английски. Вы мне рассказали историю об ипостасях, о двух крайностях в одном человеке, о двух братьях, убивших друг друга, и мне она запомнилась. Я в долгу перед Вами, но долг платежом красен, поэтому расскажу тоже одну историю давнишнюю и невыдуманную.

2350 лет тому назад греки воевали с македонцами и захватили в плен гонца. У гонца в сумке было с десяток писем. Греки растерялись, не знали, как быть, и вынесли все дело на решение народного собрания. Собрание решило: ввиду военного времени вскрыть все письма, кроме одного - письма царя Филиппа к жене Олимпиаде. Греки пришли в неопишувемый ужас, что вскрыв это письмо, они окажутся причастными к отношениям двух людей и к их личным делам. Гонцу отдали это единственное письмо и отправили во-сво-яси. Так до сих пор и неизвестно, что там было написано. Может быть, Филипп пенял маленькому Саше за шалости, а может спрашивал, по-прежнему ли Аристотель настаивает, что у женщин зубов больше, чем у мужчин. Ничего не известно.

Удивительно, насколько примитивна была мораль. То ли дело теперь, когда письмо может вскрыть родственник, знакомый и, вообще, кто угодно. А я не хочу о Вас никому говорить и тоже не хочу, чтобы и мои письма кто-то читал, помимо Вас. Потому и хорошо, что Вы пишете так.

29.3.1973.

Сегодня я дежурю в редакции ночью и правлю или “вычитываю” газету. Все четыре полосы вычитаны и сданы матрицовщикам, есть час поговорить с Вами. Расскажу Вам, Ингрид, о змее - симпатичной и милой твари, разделявшей мое общество в течение весны и лета 72 года. Жил я в узбекском доме, где кроме меня ни одной души не было. Говорили, будто за год до моего приезда в Хиву хозяин этого дома нехорошо помер и из дома все съехали. Продавать дом хозяйка по каким-то признакам сочла за грех и с удовольствием сдала весь дом и двор мне. В нем я и жил, наслаждаясь полным покоем, потому что два дома по соседству тоже пустовали без хозяев. В апреле месяце уже стало вовсе тепло и, вернувшись с работы домой, я застал в комнате прекрасную блестящего светло-серого оттенка змею. Уползла она довольно неспешно в поддувало печи, но с того времени часто выходила.

Обычно ее появлению предшествовало тоненькое шипение, похожее на свист. Возможно, это своеобразное предупреждение благородной коммуникабельной гадины относилось непосредственно ко мне. Во всяком случае, когда у меня было настроение, я в ответ тоже подсвистывал.

Каким образом рептилии воспринимают мир и жизнь, я не знаю. Но, вероятно, по-иному, чем мы: - волнами, ультразвуками или лучами, кто его знает. Если так, тогда, значит, волны, исходившие от меня, вполне змею устраивали, потому что она никогда не проявляла ко мне ни агрессии, ни боязни. Мне не пришлось видеть, чтобы она когда-нибудь вела себя экстерриториально. Змея ни разу не пересекла комнаты по диагонали или поперек, а ползла всегда вдоль плинтуса, извиваясь очень мелко, так что наступить на нее было практически нельзя. Усвоив это, я без особой боязни ходил в темноте по помещению. Вероятно, здесь со стороны гадюки была проявлена приспособляемость к условиям. Мне это показалось воспитанностью, деликатностью.

Вскоре в доме перевелись мыши и тараканы, которых было много. Мне довелось увидеть, как моя змея убивает мыш. Это молниеносное, неуловимое, как полет стрелы, движение, мгновенное и легкое, как поцелуй, прикосновение, а затем медленно-сонное оттягивание тела назад. Раз! - и все. Такой быстроты и реакции я не встречал никогда и ни у кого. Это было единственный раз. В основном же, мы оба были ленивы и неспешны и поэтому, думаю, нравились друг другу. Пробовал я оставлять ей сахар, колбасу, печенье, но она ничего этого не ела. Мне сказали, что змеи лю-

бят молоко, а мне только и не хватало, чтобы ходить на базар за молоком для змеи. Так я и не угостил ее ни разу.

Представлялась возможность много раз убить ее, но эта мысль никогда не осеняла меня, хотя брать ее в руки я все-таки не рискнул. Несколько раз она заползала в мои туфли, а однажды в скатанную рулоном постель, но всегда так, что ее хвост свисал и бросался в глаза. Я ее без церемоний вытряхивал и прогонял. Она послушно и лениво уползала, а потом совсем перестала это делать.

Изыществом ее движений, непринужденной грацией и чистотой ее линий можно было залюбоваться. Это, если хотите, ручей ртути, бесшумно переливающийся изгибами, но уж никак не ползание. У женщин есть что-то лучшее, что можно было взять от змей. Мне часто приходили в голову аналогии и абстракции такого рода - то чудовищные и страшные, то смешные. Ингрид, Вы не должны на меня сердиться за это.

Собака моя инстинктивно и дико ненавидела змею. Когда она замечала змею через низкое раскрытое окно, начиналось целое представление. Бемоль лаяла, выла, тьякала, скулила, исходила от ярости пеной, как подогретое шампанское, и ее вечно приходилось долго успокаивать. Она страшно переживала за меня, и в ее собачьих интонациях так и слышалось: "Уходи сейчас же. Это опасно. Скорее. Негодяй, ведь она тебя укусит" и все такое. Я нахожу, что у собак богатая и выразительная звуковая гамма.

Но о собаке я Вам в другой раз расскажу, а о змее кончу тем, что в конце сентября она ушла спать к себе в нору и больше я ее не видел.

А теперь я закончу, уже поздно.

Приглашаю Вас в мои сны. Спокойной ночи, будьте здоровы и радостны.

Ваш Б. Крячко.

Ингрид, Ваше ближайшее письмо мне будет проще получить по адресу:

705000. Уз.ССР, г. Бухара, Главпочтамт, до востребования, мне.

Жду от Вас известий и надеюсь получить числа 10-15 апреля. И не забудьте сообщить Ваш почтовый индекс. Без него письма мои, наверное, дольше идут, а могут, говорят, и утеряться.

## “ДОРОГАЯ МАТУШКА ТАМАРА ПАВЛОВНА!”

*В восьмидесятые годы наша семья жила в Таллинне в собственном доме. Борис Юлианович несколько раз жил у нас. Все члены нашей семьи его искренно любили, ценили его юмор, его рассказы, радовались, что с нами живет умный, остроумный, добрый и очень интересный человек. Сложились взаимные родственные отношения. Постепенно возник миф, основанием для которого послужило то, что в 1930 году я - девятнадцатилетняя - вышла замуж, а он в том же году родился. В моем первом замужестве детей у меня не было. Но мог бы, предположим, быть! По молодости я - будто бы - не хотела ребенка и отдала его в парижский приют! И только на старости лет раскаялась и радостно приняла в свое сердце - “старшего сына”.\**

Тамара МИЛЮТИНА

Милая, дорогая матушка Тамара Павловна! Поздравляю Вас и весь Ваш дом с наступающим Новым 1987 годом и Христовым Рождеством.

В новогодний вечер и в сочельник хотел бы находиться неподалеку от Вас, под сенью херувимов и серафимов, всегда над Вами витающих. Храни Вас Бог.

Целую Ваши руки. Ваш “старший” сын - Б. Крячко.

13.12.86.

Таллинн, ул. Рави, 19-11.

Дорогая матушка Тамара Павловна!

Был поначалу очень удивлен, а затем и обрадован тем, что там обо мне говорится.\*\* Самомнение мое возросло и укрепилось, как у Козьмы Пруткова, и я теперь вместе с “Наталией Ивановной” одинаково думаю. Кроме шуток, я

---

\* Три года Т.П. Милютина с мужем И.А. Лаговским, одним из руководителей РСХД (арестован в Тарту в 1940-м, расстрелян 3.07.41), прожила в Париже. Об этом, о годах сталинских лагерей и ссылок - ее книга “Люди моей жизни” (Тарту, 1997).

Полная первая публикация 21 письма Б.Ю. Крячко к Т.П. Милютиной в Тарту - журнал “Вышгород” 6,99.

\*\* Вероятно, речь идет об отзывах на рассказы, опубликованные весной 1988 года в журнале “Таллин” N 2 (“Симпозиум” и “Мясная лавка”; в 1989 году они вошли в сборник “Битые собаки” - издательство “Ээсти раамат”).

очень был утешен и даже Душеньке\* сказал: "Чуешь, с кем Ты живешь?", чем привел ее в самое веселое расположение духа. Вообще, мы на эту тему много шутили и забавлялись, а все благодаря Вам, так что большое спасибо, Тамара Павловна.

Полагаю, что одиночество Ваше сегодня закончилось с приездом Андрюши (мой ему привет). А я, между тем, взял билет на вечер 30-го июля и - иншалла - буду у Вас в тот же день часам к 23-м.

Бедненькая Таня. Надо надеяться, что ничего злокачественного у нее нет. Дай Бог! Рад был бы увидеть ее по приезде, если же не сведется, то пусть ее уведомят о моих самых добрых пожеланиях ей здоровья и продуктивного лечения. Веточку целую, Коле\*\* привет, пожалуйста.

За сим сердечно Вас поздравляю, дорогая матушка Тамара Павловна, с днем рождения и, помимо терпимого доброго здоровья и многих лет, желаю также причинять Вам одни только радости, которые продлевают нашу жизнь. Ингрид тоже так думает.

Почтительнейше и с любовью целую Ваши руки.

Ваш сын. -

*Б. Крячко.*

28.6.1988.

Пярну.

18 июня 1989 г., воскресенье, гор. Пярну.

Тамара Павловна, дорогая и милая моя матушка!

Получил от Вас письмо и рад был тому, что Вы в добром здравии, в полном благополучии Вашего жизнеустройства на новом месте... по-прежнему добры ко всем, кто переступает порог Вашего Бого-спасаемого дома. Все время не давала мне покоя мысль о том, чтобы написать Вам также и о себе, но до последнего времени состояние моего здоровья не показывало, - я ведь уже полтора месяца страдаю от острого бронхита и только вот-вот начинаю приходить в себя помаленьку. Очень сожалею, что в нынешнем году весна прошла мимо меня, но с другой стороны весьма утешен и даже развлечен тем действием, что называлось Съездом Народных Депутатов и которое мне повезло прослушать и посмотреть от первого до последнего дня. Какая грандиозная мистификация! Совершенно небывалая трагикомедия без репетиций и прогонов, где всего хватало: и высокой романтики, и низкого соцреализма при участии целой толпы героев и еще большей толпы злодеев, - ей-Богу, я смотрел

---

\* Душенька - Ингрид Майдре, жена Бориса Юлиановича. - Прим. Т.М.

\*\* Коля - сын Т.П.М. - Николай Иванович Милютин. Таня - жена Н.И.М. - Татьяна Сергеевна Милютина. Веточка - внучка Т.П.М. - Ирина Николаевна Милютина. - Прим. Т.М.

С захватывающим интересом, как фигляр сменяет трибуна, а черносотенец клеймит гуманиста, а чем все это кончится, поглядим, ибо продолжение мне обещали через полгода.

Мне очень грустно теперь ехать в Таллинн. Теперь у меня там как будто и нет никого. После Саши Зорина\* и Андрюши Мадисона\*\* меня здесь проведаль брат, с которым мы провели пять прекрасных дней. Теперь опять жду на пару дней Андрюшу Мадисона и своего брата Олега, а затем - иншалла! - младшего своего сына Володю, если ему ничего не помешает. Ингрид приедет в десятых числах с дочерью и с детьми (внуками, то есть) и дом огласится разногласьем до осени. Он (дом) приближается постепенно к своему окончательному завершению, и я надеюсь, что с приездом Душеньки у меня поубавится забот и я обрету свободу и волю для чего-нибудь такого. Потом придет осень и я хотел бы приехать к Вам на несколько дней. <...>

Будьте благополучны и здоровы. Крепко люблю Вас и помню

Ваш старший сын Борис.

Всем привет, пожалуйста.

Родненькая моя матушка Тамара Павловна!

Простите Вашего беспутного старшего сына за столь продолжительное и не имеющее оправданий молчанье. Сперва ждал фотографий с Володей, чтобы послать Вам с запоздавшим поздравлением, чтобы снискать у Вас хоть капельку прощенья, а фотографии, как на зло, не получились, и я их взял, какие есть, только в августе м-це. А там возвратилась Ингрид со внуками и дочерью, затем зять приехал да Инес с сыном, в общем до десятка душ собралось. Новый дом задрожал от такой многочисленной семьи, но все же он был так умен, добр и удобен, что никто друг другу не мешал. Разумеется, очень это было общительно и весело, но и уставать тоже было от чего. А теперь наступила возлюбленная тишина дней десять как, и я сижу вот за машинкой.

Дело-то вот какое: я взял на 18 сентября билет на самолет из Таллина в Казань. Собственно, даже не в Казань, а в одно сельцо на Каме, где я лет сорок тому назад жил и был счастлив. Теперь, думаю, время идет, надо. Раз я в Ср. Азию не поехал в этом году, так хоть в Рыбную Слободу на недельку да в Москву с Ленинградом загляну, а вернувшись, обязательно у Вас - иншалла! - появлюсь дня на три. Конечно, пребывание мое в Казани весьма скоротечно, однако же мне хотелось бы, коль часок выдастся, проведать

---

\* Александр Зорин - писатель, поэт, живет в Москве. Принимает участие в работе над архивом Б.Ю. Крячко.

\*\* Андрей Мадисон - общий знакомый.

бедную милую Галину Алексеевну.\* <...> Полагаю, что десяти дней будет вполне, чтобы мне знать, где, в каком месте или хотя бы на каком кладбище.

За сим, нежно целую Вам руки и остаюсь Вашим почтительным и любящим сыном -

- Б. Крячко.  
7.9.1989.

Привет Андрюше, Свете, Данилу, княжне и всем друзьям.\*\*

11.10.1990. г. Пярну

Дорогая, милая, родненькая матушка  
Тамара Павловна!

Получил оба Ваши письма и давно, а отвечаю, со стыда зажмурившись, только теперь. Благодарю за поздравление. В тот День я был слава Богу не один, со мной был мой брат ленинградский Олег, так что мне было с кем разменять свой седьмой десяток. Очень по Вас соскучился, хочу увидеть и - никак. Потому что не выездной по существу теперешней своей жизни: сад, огород, стирка, готовка, магазин, дом, кошка... А силы не те, устаю, передохнуть надо и время уходит. Особенно сад замучил; плодоносит обильно, все надо убрать, определить, а погода стоит просто губительная, промокаю до нитки, потом несколько дней болею. Простуда у меня странная, с тошнотой и рвотой, да и в груди боли, - так подержит пару дней и пройдет. Сейчас хорошо, то есть, нормально. А уж о том, чтобы писать, даже думать не приходится. Только-только на письма и больше ни на что. Меня сейчас издательства и редакции беспокоят: то сотрудничать, то вторую книжку делать, то повесть к сроку заканчивать. А какой у меня может быть срок, когда мне еще два месяца одному везде успевать. Такие мои хлопоты, Тамара Павловна. Надеюсь, Вы не строго взыщете со своего старшего. А я Вас люблю и помню по всяк день.

Что касается "Граней", то меня там публикуют с 86 года, и я узнал об этом совсем случайно. Дело было давно, еще при Леониде Ильиче, когда меня московские друзья застращали всякими ужасами и сроками отсидки, предложив скрыться за псевдонимом, прежде чем рукописи из рук вы-

---

\* Галина Алексеевна Каллас - дочь адмирала Щастного, спасшего в 1918 году Балтийский флот от гибели: чтобы не передавать корабли Германии по условиям Брестского мира и не взрывать, он вывел их в Кронштадт. По приговору "революционного трибунала" в июне 1918 расстрелян. Г.А. Каллас умерла в 1982 году. Похоронена на дальнем кладбище около Казани. - Прим. Т.М.

\*\* Андрюша - сын Т.П.М. - Андрей Иванович Милютин. Света - жена Андрея Ив. Милютина - Светлана Георгиевна Милютин. Данил - внук Т.П.М. - Данил Андреевич Милютин. Княжна - Татьяна Константиновна Шаховская. - Прим. Т.М.

пускать. Гарантии это, как мне говорили, никакой не дает, но отсрочку некоторую предоставляет. Ну, я и назвался груздем. Как было дальше, мне неизвестно, однако несколько рукописей, подписанные "Андрес Койт", попали туда, а тем часом Леонид Ильич дуба врезал, пошли всякие послабления, скидки и т.д. Короче, опасность миновала. И подлинность моя установлена. Уже взяли у меня интервью для "Граней", где я интересно обо всем рассказал и неплохо выглядел, по-моему. Интервью пойдет в конце года в последнем номере. Мне обещали прислать все номера с моими публикациями и с интервью, а там прошли, насколько я знаю, "Собаки", "Цветы", "Пейзаж", "Родные и близкие", возможно еще что-нибудь такое. Так что у меня завелась теперь своя конвертируемая валюта, за которой надо съездить, но это уже как Бог даст...

Ваш любящий и почтительный сын.

*Всех приветствую. Б. Крячко*

Матушка моя дорогая Тамара Павловна! В конце года даю о себе знать своим близким в приятной поздравительной форме. Сердечно поздравляю Вас, мой бесценный друг, и всех вам близких с наступающим Новым 1991 Годом и Рождеством Христовым. Дай Вам Бог благополучно пережить смутные дни Грядущего Года и Ближайших Лет, чтобы увидеть жизнь лучшую, благоустроенную, спокойную. А на Рождество желаю Вам порадоваться хотя бы тому, что уже пережито.

Я жив и условно здоров, хозяйничаю один в целом доме, занимаюсь всем понемногу, только что не пишу, но не перестаю надеяться на Бога и на Новый Год.

Ингрид у дочери в Люксембурге. Там Роджер снял дом на берегу Мозеля (предположительно до пенсии) и перевез туда из Парижа семью. Неле закончила Сорбонну по специальности "экономика и коммерция" и будет теперь работать. Конечно, они оба не хотят, чтобы Ингрид уезжала раньше срока и смотрела бы за домом и внуками, но теперь уже немного осталось, и я жду ее, иншалла, в январе.

Инес\* тоже в Париже. Она летом в Шартре на конкурсе органистов получила приз - полную стипендию на весь срок учебы в высшем муз. заведении Франции. Об остальном Вы в курсе.

Очень трудно жить стало с октября; все чертовски подорожало втрое, впятеро, сплошная зажиточность эстонцев куда-то только девалась - сразу обнаружили богатые люди и много, много бедных, обреченных на молочную диету. Говорят, что так будет до полного отделения Прибалтики от Союза, а люди готовы терпеть и ждать, только бы скорее.

---

\* Неле и Инес - дочери Ингрид Майдре. Роджер - муж Неле. - Прим. Т.М.

Бедненькая, дорогая Тамара Павловна, как Вам живется? Не голодаете ли? Не скрывайте от старшего сына Ваши нужды. Я мог бы помочь Вам, т.к. продал из сада все фрукты и у меня есть лишку денег. Сделайте такую милость.

Андрюша Мадисон мне обещал приехать на день-другой еще в сентябре, но так и не приехал.

Слышно, что журнал "Таллинн" на грани закрытия, нуждается в дотации 80 тыс. руб., но Москва вряд ли поддержит издание на территории независимой от Союза республики... Два года тому назад был выбор: либо поднять цену за номер втрое, перейдя на хозрасчет и самостоятельность, либо ничего не меняя оставаться в зависимости от Москвы. Выбрано было второе.

Сейчас установилась зима, хотя крепких холодов пока не было и, хочется думать, что зима будет такая же сиротская, как в прошлом и позапрошлом годах. В городе появились стаи серых ворон; по сельским русским приметам это нехорошо, а я помню, как много их было в войну, затем в 46-ом и в 62-ом гг. Ну, авось, переживем.

Будьте здоровы и благополучны. Всем привет.

Целую руки.

Ваш почтительный любящий сын, бывший сирота беспризорный - *Б. Крячко*.

15.12.90.

Пярну. Аули, 35.

Люксембург. 16.6.1991.

Милая матушка Тамара Павловна!

Очень хотелось написать Вам из Парижа, а не из Люксембурга, но я еще в ожидании французской визы, хотя и не знаю в точности, дождусь ли, т.к. билет обратный заказан на вторую половину июля. Я нимало не огорчен, потому что пишу здесь каждый день в Люксембургском парке и уже закончил один рассказ. То есть сбилось, о чем я так долго Богу молился. И очень, оказывается, просто: стоит лишь за границу поехать. Здесь я снял с души заботы и словно бы узы с рук снял. Теперь, если никуда не поеду да с Божией помощью, так успею еще один написать. Опять я в стихии слов, и каждое слово интересно, и за плечами на лопатках что-то растет этакое пернатое.

Конечно, очень бы хотелось повидать Париж, да отыскать родную подворотню родимого приюта, где я, бедный-несчастный, Вами брошенный, лежал, аукая и пуская пузыри. Да верно Бог знает лучше, что мне нужно больше. И то сказать, не поеду ежели, так деньги останутся и я на них книг накуплю. А уж книг здесь по искусству целое царство. Я когда в какой магазин попадаю книжный, так не могу потом из него выбраться часа два-три, а то и больше. Деньги

свои в издательстве я получил столько, сколько предполагал, так что с этим у меня хорошо.\*

Ввиду такой неопределенности я написал письмо Никите Ал. Струве\*\* и послал бандеролью пять своих книжек. Роджер говорит, что до Парижа почта доходит на третьи сутки отсюда. Я послал их недели четыре тому назад, т.е. вскоре после приезда (здесь нахожусь месяц), но ответа не получил ни на письмо, ни на книги. Еще оставил по пять книжек в редакции "Граней" и в издательстве. Да еще на радио "Свобода" послал в Мюнхен. Может, что-нибудь и выстрелит.

Чувствую себя превосходно. Сахар нормализовался, сонная одурь прошла, ночью сплю не просыпаюсь, вес мой сейчас 87 килограммов, что очень близко к нормальному. Ем всякую вкусную всячину, а диабетические отделы здесь затмевают всякое воображение: одних варений да конфитюров больше тридцати разновидностей, да еще печенья, кексы, конфеты, шоколадные наборы, мед, пломбиры. О сахаре я уже и не говорю, а о гречневой крупе и вспоминать стыд. Мне довольно часто приходится это чувство здесь испытывать за всех наших людей, столь безжалостно обманутых.

Ну, я не буду подробно описывать здешнее изобилие круглый год и его общедоступность по цене. Когда я с зятем езжу по пятницам в коммерческий центр или супермаркет, обязательно беру во фруктовом отделе что-нибудь экзотическое, диковинное, чего я не то что не ел, но и слыхом не слыхивал... Сегодня Инес дает органичный концерт в Лондоне, в Вестминстере, у нее там гастроли и Роджер поехал туда на уик-энд. По этой причине я вспомнил о Веточке и хочу написать ей несколько строчек, а Вы передадите.

За сим, Тамара Павловна, перехожу к главному. Поздравляю Вас самым сердечным образом с Днем Рождения и очень желаю, чтобы Господь послал Вам побольше сил и лет.

Прошу кланяться Андрюше, Свете, Даниле, милой княжне, Тане С. и всем нашим добрым знакомым. Целую ваши

---

\* Что издано у Б.Ю. Крячко за рубежом, точно пока не установлено.

\*\* Н.А. Струве - писатель, отв. редактор православного ж-ла "Вестник РХД", директор изд-ва YMCA-Press (Париж). В марте 1994 года, когда в Эстонии проводилась выставка издательства YMCA-Press (по инициативе Эстонского культурного центра "Русская энциклопедия" и при активном участии Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы), Н.А. Струве читал лекции в Тартуском университете и посетил Тамару Павловну Милютину, бывшую "движенку" (Русское Студенческое Христианское Движение - РСХД).

руки и остаюсь с самой сыновней склонностью и привязанностью всегда Вас любящий -

*Б. Крячко.*

Храни Бог Вас и всех Ваших.

10.3.92. Пярку.

Дорогая моя матушка Тамара Павловна!

Часто думаю о Вас, - как Вы там живы-здоровы? Я от Вас, как вернулся, так никуда больше и не ездил, по той причине, что невмочь. Очень хочется Вас повидать и надеюсь, что каким-нибудь образом к Вам - иншалла - выберусь.

Я получил от П.В. Флоренского\* две одинаковые газеты с новогодними поздравлениями, он ведь тоже в том возрасте, когда одно дело дважды делают. Там статья об о. Павле Флоренском и ради этого посылаю Вам ее в контексте всего издания. <...>

Целую Ваши руки.

Ваш старшенький, сирота несчастный, страдающий -

*Б. Крячко.*

Пярку. 23.6.1992.

Моя дорогая матушка Тамара Павловна! Как давно я Вас не видел, как хочется повидать, как было бы хорошо жить где-нибудь по соседству, а я, как приехал от Вас в ноябре прошлого года, так никуда из Пярку и не выезжал. Чувствую себя неважнецки. Слабость одолевает, глаза туманит, ступни чувствовать перестают. Порой страшная одолевает сонливость - сплю сутками. Сны бывают интересные, как у наркомана, и жизнь словно бы сместилась в сферу нереальности. Писать не приходится. Да и некогда - очень много всякой работы.

Душенька приезжала ко мне на субботу, воскресенье и понедельник; остальные дни она в Таллинне, ведет английский язык в группах. Но теперь уже скоро все закончится и она приедет до октября в Пярку.

Мои два рассказа из прошлогоднего "Таллинна" N 6 мне вернули; я их бросил, не вскрывая пакета, и они так пролежали до прошлой недели, когда приехал В.Г. Говорухин\*\*...

Мой младший сын Володя решил жениться. Невесту зовут Соня, она моложе жениха на 9 лет, кончает физико-математический в Тирасполе, живет с родителями в Бендерах. Свадьбу наметили предположительно на 8 августа с венчанием в Бендерском соборе. А я смотрю телевизор и прини-

---

\* Внук великого русского философа, погубленного в Соловецких лагерях.

\*\* "Таллинн" N 6 за 91-й год был последним номером. Журнал возобновлен в 1995 году. Покойный В.Г. Говорухенко, работавший в "Таллинне", говорил о Б.Ю. Крячко как об уникальном писателе.

маю жизнь за сомнамбулу: трупы сотнями на улицах, пожары, грабежи - Господи, о чем речь? Какая свадьба, когда бедному жениться - ночь коротка. Самочувствие, разумеется, жуткое. Молюсь Богу, чтобы пожалел моих детей.

У старшего сына Саши все путем. <...>

Целую руки. Ваш *Б. Крячко*.

Привет всем-всем, особенно молодым - Веточке и Данильчику.

25.6.1992.

29.4.1993. гор. Пяну

Дорогая, милая матушка Тамара Павловна!

Вы правы; я то болею, то пишу, но болею, кажется, серьезней и чаще, чем пишу. Вскоре после того, как я вернулся от Вас домой, я полетел с дерева и повредил руку, настолько сильно, что мне ее фиксировали, а выздоровление с возрастом замедляется, и я стал действовать двумя руками только вот-вот. По этой же причине я нарушил правило Новогодних поздравлений всем своим близким, и теперь, в той мере, в какой диабет позволяет, наверстываю, чтобы мои люди чего дурного не подумали. А диабет донимает ужасно, вплоть до того, что всякая мысль причиняет физические страдания. Взялся недавно выводить сахар французскими таблетками, и он, в самом деле, начал интенсивно из меня выходить: тело покрылось волдырями, я весь порозовел, как при кори или при краснухе, при этом повсюду, кроме пяток, ощущался нестерпимый зуд и малость температуры, - короче, полная немочь, когда ни читать, ни писать, ни задуматься. Сейчас лучше, а сегодня, слава Богу, совсем хорошо. Я написал письма сыновьям и Вам пишу, впервые за полгода наслаждаясь жизнью и хорошим самочувствием, а полтора м-ца в особенности жизнь моя была ну, ни в дугу. По пятницам приезжала Ингрид и готовила мне пищу на неделю, а во вторник уезжала, п.ч. работа, и я на три дня оставался один. Незадолго до того сиамская наша кошка Белинда принесла черненькую девочку и по возрастным причинам только одну, поэтому я не захотел "регулировать" потомство и оставил котенка жить. Он был мне вместо сиделки: когда я скулил или стонал, это милое дитя приходило меня облизывать и утешать, - я назвал ее Корасон.

Когда мне стало терпимей, я понемногу писал. М.б., в двадцатых числах мая приеду к Вам и что-нибудь почитаю, хотя начало и конец выглядят пока всмятку, надо их отработать. На Пасху стоял всенощную, но говеть на Страстной боялся из-за того же диабета. Я так был рад, словно сам с Андрюшей в Штатах побывал, - то-то, думаю, у него впечатлений! Очень по Вас заскучал, Тамара Павловна. Оно бы можно и на Ваш День Рождения подгадать, но тогда будет

толпа народу и у нас с Вами меньше будет возможности по-сидеть визави. Наверное, более уместно, если я проведаю Вас раньше.

Недавно у нас появился щенок. Ньюфаундленд. В России эту породу называют, я слышал, "Московский водолаз". Дело в том, что в первых числах марта меня в четыре часа ночи навестили двое "гостей", а поднял меня соседский сенбернар Пиратка, - она прямо-таки ломилась ко мне в окно со своего двора. Одного я увидел, не зажигая свет, в окно первого этажа, выходящего на террасу и в сторону сада. Малый стоял на винтовой лестнице "на шухере", обозревая оба этажа и подходы к дому. Другого обнаружил, поднявшись на второй этаж, - тот шарил сильным фонарем по оранжерее. Чтобы облегчить человеку "разыскания", пришлось включить свет. Фонарь моментально погас, а когда я спустился опять в зал, уже никого не было. Такие приключения в моей скучной, одинокой жизни.

А еще раньше я раздобыл кота. Он сидел неподалеку от нашего дома на высокой гладкоствольной липе и умолял прохожих, чтобы его оттуда сняли. Женщина со двора сказала, что его туда загнали собаки, и он просидел на дереве всю февральскую ночь. Она же дала и высокую лестницу, которая хоть и была из металла, но очень узкая и отчаянно подо мной прогибалась. Так что я с больной рукой и помятыми ребрами лез по ней и молился Богу, чтобы мне не упасть. Кот вцепился на плечах в пальто и не слезал до самого дома. Мы с Ингрид поспрашивали потом людей с соседних улиц, но чей он, никто вразумительно сказать не смог. Теперь он наш и зовут его Орегато (по-японски "спасибо"). Писанный сиамский красавец. Тот самый ученый кот из легенды, что у лукоморья близ дуба отирается круг да около на цепи златой. Корасон принесла от него мальчика, единственного, имя Филипок. От матери он унаследовал глубокие инстинкты, острые коготки и костюм классического покроя: черный торжественный смокинг, высокий белый воротничок, белоснежную манишку, белые штиблеты и белые же перчатки, лайковые, разумеется, а от отца - "цивилизацию" (с первого раза пошел, куда след, ни раз не напакостив) и превосходную шерстку, - в жизни не встречал шерсти нежней и мягче. Белинда же разрешилась от Орегато девочкой, тоже в единственном числе. Столбовая аристократка. Чистейшая порода. Голубая кровь. Сиамский узелочек на хвосте. Зовут Дезирé или Дéзи. Глаза цвета сапфира. Прелесть и радость. Есть еще молоденькая кошка Карина. Отец у нее черный соседский кот, я его зову Джип, но Белинда постаралась и сотворила ее по своему образу и подобию, а также по просьбе Ингрид. На редкость декоративна и необычайно ласкова. Корасон тоже от Джипа, но она постарше Карины. А Джип каждодневно приходит сва-

таться в надежде, что ему тут опять обломится чего-нибудь такого, но все места заняты, и я ему по-доброму сочувствую. Милая Тамара Павловна, я ведь нигде не бываю и никуда без дела не хожу, вот и пишу Вам о том, что меня окружает. <...>

За сим, Тамара Павловна, почтительно целую руки и остаюсь, любящий Вас

- Б. Крячко.

26.12.1993. Эстония, Пярну

Дорогая матушка Тамара Павловна!

Я жив и сравнительно здоров. Было у меня намерение приехать в Тарту хоть бы на день ко дню Галины Алексеевны, но не задалось: упал без видимой причины на ровном месте и растянул руку. Она у меня вспухла величиной в ляжку, сильно болела и на нее было жутко смотреть. Теперь уже прошла, слава Богу, и я в состоянии написать десяток-полтора поздравительных писем, а то в прошлом году из-за руки же никого не поздравил с праздниками, люди всякое худо могут обо мне подумать.

Жизнь моя текет по-прежнему. Топлю дом, хожу в магазин и на базар, готовлю еду себе, четырем кошкам и собачке, раз в месяц стирка. Не особо обременительно, и в оставшееся время я занимаюсь любимыми делами: пролистываю искусство, читаю "Историю России с древнейших времен" Соловьева, разыгрываю шахматные партии, смотрю телевизионные новости, а когда очень хочется, что-нибудь пишу. Я ведь не профессионал, и правило "ни дня без строчки" мне не подходит. Сожалею, что коньки от меня уходят, боюсь упасть. Ингрид приезжает в конце недели на два дня очень уставшая, у нее в Таллинне много работы, и я стараюсь, чтобы она передохнула. <...> Ваш знакомый котысенька Филипок превратился в красивого кота Филиппа, но, как и прежде, безумно обожает птичек и часами любитесь ими в окно с зубовным восторгом.

В конце лета я побывал в Москве, повидался с сыновьями и познакомился с младшей невесткой. Затем в первых числах ноября съездил в С.-Петербург, где встретились с братом и проведали родительские могилы. Жизнь в России, что село, что овамо, один к одному, но больше всего донимает устойчивая вокзально-сортирная вонь. Наверное, долго еще вонять будет. Вернулся молча и с такими же грустными раздумьями, как у Иеремии по Иерусалиму.

Есть и свои радости. Купил десятитомник Пушкина и с азартом читаю, точно впервые. А зятя прислали замечательного трубочного табаку. Се наша ви.

Дорогой мой друг, милая Тамара Павловна! Поздравляю Вас и всех Ваших близких с Наступающим Новым 1994 Годом. Всем желаю здоровья, успехов и благополучия, а Вам,

драгоценная матушка, сверх того желаю никуда не торопиться и не оставлять меня сиротой вторично, а подольше пожить по-Божецки и по-людски.

Счастья в Новом Году, Веселого Рождества и храни Вас Бог. Ваш любящий старший сын целует руки.

Б. Крячко.

7.12.1994. Пярну, Эстония.

Матушка моя Тамара Павловна.

Скучаю по Вас очень. Часто приходит на память Ваш милый, теплый дом и Вы по всякий день дома. Как Вы живете? Что Света, Даниил, Таня, Коля, Веточка, Доррис,\* щеглы, канарейки и крысы? Удалась ли поездка Андрюши? Где он в Лондоне обрелся?..

Сам лично жив и мало-мальски здоров, по крайней мере чувствую себя, вроде бы, сносно. Топлю дом, хожу в магазин, на базар, в поликлинику, готовлю еду себе и животным, присматриваю за цветами, раз в месяц постирушка да вот шесть тонн угля купили и я его теперь помаленьку день за днем сбрасываю в подвал, - половина уже там. Работа, конечно, необременительна, но и силы не те: быстро устаю, долго отдыхаю, то присяду, то прилягу, а то, бывает, и прихворну. <...>

Начал повесть. На взгляд, как будто сложилась и ясно просматривается до конца, хотя неувязок ужасно много. Первую главу набросал и отложил, а занялся письмами, - годовые праздники грядут. Если Бог сподобит до ума довести, это будет, наверное, самая большая вещь из мной написанных. Приезжал из С.-Петербурга мой брат Олег. Мы с ним чудно провели неделю, в церковь сходили, исповедались, причастились, в фотографию зашел сняться. Посылаю Вам снимок.

С "Вышгородом" отношения прекратил. Да ну их к шутам, голову с ними морочить. Чтобы не повторяться, прилагаю копию письма, кот. я послал гл. редактору.\*\* Но это все пустяки. <...>

Сыновьи склонный и нежно Вас любящий Б. Крячко.

---

\* Доррис - собака Милютиной. - Прим. Т.М.

\*\* Вот начало того злополучного письма от 5 ноября 1994 года: "Людмила Францевна! Во 2-м N-ре "Вышгорода" Вы тиснули "Шутливые эпистолы Давида Самойлова", где засветили меня, сотрудничающего с Вами автора..." Речь идет о публикации Ю. Абызовым его иронической переписки с Д. Самойловым ("Вышгород" 2,94, с. 85). К счастью, наши отношения очень скоро восстановились и в N 1-2,95 уже был опубликован рассказ Бориса Юлиановича "Сказал стихами". Он стал постоянным автором, вошел в редсовет, что не преминул подчеркнуть в Кратком библиографическом справочнике "Кто. Что. Когда. Литература Эстонии: новейший период (1991-1997)". - Л.Г.

9.6.1995. Пярну, Эстония  
Матушка Тамара Павловна!

Хотел к Вам приехать в мае, но сильно болели ноги, а потом несчастье случилось, убила машина мою собачку Рикки и я был в слезах целую неделю. А нынче дожди идут, дом заливает и я никуда не могу отлучиться. Собираюсь быть к Вам на День Рождения, то-бишь, через три недели, а если что опять не получится день в день, тогда числа 3-4 - иншалла! - обязательно. Собираюсь побыть с Вами тоже недели три, если помех не будет, и пописать. Наверное, в Пярну мне написать что-либо не судьба, а хочется. Словом, надеюсь.

Письмо Андрюши получил где-то вначале года. Очень рад, что его поездка удалась. В текущей полосе неудач желаю ему побольше мужества и выдержки, а дураки, надеюсь, не всегда бал править будут. Ваше письмо пришло не так давно и, как всегда, явилось добрым подспорьем и благим утешением. Младший сын Володя одарил меня вторым внуком Ванечкой, так что теперь я вполне дед. Такие мои новости... со двора редко выбираюсь, нигде не бываю, одно радио с книгами.

Очень по Вас соскучился. Храни Вас Бог. Передайте мою добрую обо всех память. Целую руки. Любящий Вас старший сын.

*Б. Крячко*

9.12.1995. Эстония, Пярну  
Возлюбленная моя матушка Тамара Павловна.

Ужасно по Вас соскучился, много думал и очень хотелось поехать. Получил вырезку из "Русской газеты",\* был удивлен, взволнован и счастлив, спасибо, спасибо, передайте, пожалуйста, мои чувства всем, кто этому предшествовал и поспешествовал. Кошечка Белинда, попавшая в историю, со мной, ей семнадцать лет, мы оба старые и болеем, но поддерживаем и утешаем друг друга, как можем. Я ей показывал снимок, но кошки не воспринимают изображений на плоскости, и она осталась равнодушна, - да не прогневаются на нее мои друзья за это.

Повесть идет хорошо, растет, ветвится и по разноплановости становится все больше похожа на маленький роман. Такой я у Вас сильный разгон взял, что по сю пору движем и одержим в надежде довести дело до конца Божьей помощью и Вашими молитвами. Десять глав отпечатаны, но что значит написать и взять на выдержку: Господи Боже мой! сколько там неряшливости, слабину, мякины, а когда отпечатано, все глупости наружи, глаза колят и в краску лица вгоняют, прямо закрываешься руками и диву даешься, ду-

---

\* В тартуской "Русской газете" публикация, связанная с 65-летием Б.Ю. Крячко.

маешь, - неужели я это написал. Так что помимо концовки (примерно глав пять) предвижу много правки, выбросов, добавлений и пр. Но, невзирая на то, считаю "Края далекие"\* отличной вещью, лучшей своей вещью. Иван Гаврилович Иванов\*\* говорит, что я кую вещь премиальную, - вот так.

Приехавши от Вас сильно заболел стенокардией, отдыхать садился через каждые сто метров и большую часть времени проводил лежа, чем иначе. Какое-то тягостное прединфарктное состояние не давало возможности ни думать, ни разговаривать, ни писать. Сейчас я мало-мальски на коне: правлю, печатаю, думаю и усердно молюсь Богу. Наметились некоторые перемены: не хватает терпения читать фабульную вещь: скучаю, зеваю, засыпаю и тем кончается, а вот Розанова прочитал с отменным удовольствием и знаю почему: п.ч. жизнь и мысль прекрасней любой фабулы. А когда выгуливал собачку у лукоморья, читал Гоголя, но он вообще особь-статья в худ. лит-ре. Если брать по части женских образов, то я ни в кого из них не влюблялся, кто меня ни сватал: Толстой ли, Тургенев, Куприн, не говорю уже о Достоевском, у которого всякая женщина на жалость бьет и на милостыню напрашивается, что же до Татьяны Дмитриевны Лариной, так эта вообще невозможный человек, обалдеешь с ней от Ричардсона. Зато Гоголь все мои пробелы компенсировал: я бесконечно влюблялся во всех шляхтянок и хохлушек, горожанок и крестьянок, аристократок и русалок, - о моя юность, о моя свежесть. И теперь на седьмом десятке почуял сильное сердцебиение и вместе с Чичиковым еще раз на ходу влюбился в губернаторскую дочку, - надо же!

По большей части один. Душенька зарабатывает на питание, а я топлю дом, присматриваю за животными и цветами, хожу за продуктами и готовлю пищу, остальное время (совсем немного, хотелось бы больше) либо пишу, либо отдыхаю. Впервые не пошел к заливу с коньками, боюсь упасть. Выпал снег, солнце совсем-совсем низко, в четверть дуба, крестьяне говорят, а ему еще две недели опускаться. Теперь отложил все в сторону и пишу письма, даю о себе знать. Старший сын Саша прислал мне испанский учебник и две книжки о том, как люди до ста лет живут. Тамара Павловна, я так люблю читать Ваши письма.

Сердечно поздравляю Вас, Андрюшу, Свету, Колю, Таню, Данилку, Веточку, княжну, Таню Сигалову и всех с Наступающим Новым 1996 Годом и Рождеством Христовым. Пожа-

---

\* Повесть "Края далекие, места-люди нездешние" опубликована в журнале "Дружба народов" № 1'2000.

\*\* И.Г. Иванов - писатель, живет в Пярну, постоянный автор журнала "Вышгород".

лания мои самые лучшие, в особенности Вам, матушка Тамара Павловна, - поживите, родненькая, поживите ради любящих Вас.

Целую ручки. Ваш старший сын.

*Б. Крячко*

17.2.1996. Эстония, Пярну

Милая матушка Тамара Павловна.

Пишу Вам по многим причинам, первая из которых, - крепко по Вас заскучал, а прочие причины из разряда новостей. Живу, как всегда, один. Душенька приезжает раз в месяц, дорóга нынче дóрога. Забот у меня не столь много, но на одного хватает, так что творчество заскрипело и остановилось, и таково будет, я чаю, до мая или июня, когда я выберусь к Вам, чтобы закончить свой рóман. Я не скучаю, да оно и некогда: топлю две печки, то-бишь, в подвале и в комнате, центральную и автономную, большую и малую, углем и дровами, и на это уходит весь день. А зима удалась чудная впервой за много лет с морозами по порядку: рождественскими, крещенскими и сретенскими; снег чистый и белый, а при солнечной погоде в распадах, где тень, еще и подсинен, - ну, волшебство. Когда мороз не больше тринадцати, я становлюсь на лыжи, закрываю дом, беру двух собачек, своего Рикки\* и соседского Лохматку, и отправляюсь в поход иной раз с утра до вечера, часов этак на шесть. Прохожу по лукоморью Пярнуского залива километров пятнадцать-шестнадцать в одну сторону, где по льду, где скатываясь с невысоких дюн, а на другой день после такой прогулки отдыхаю. Чувствую себя неплохо даже со стенокардией: постоял, отдышался, отпихнулся палками и пошел дальше. Есть, правда, и огорчительные моменты: пришлось, боюсь сказать, бросить, скажу, отложить, любезную свою трубку при запасе превосходного голландского табаку, так что я лишился (льщу себя надеждой, что на время) одного из значительных моих удовольствий. Такова моя нескучная жизнь.

В апреле Душенька поедет в Люксембург на пасхальные каникулы до мая м-ца, а я жду к этому времени брата из Петербурга, а летом старшего сына Сашу и младшего сына Володю с семьей. В августе Ингрид опять уедет на месяц: сперва в Люксембург, а оттуда в Испанию: Севилья, Барселона, Толедо, Мадрид. По ее возвращении я попытаюсь еще разок вырваться к Вам хотя бы ненадолго. Таковы - иншалла! - планы и ближайшая перспектива.

Сейчас вокруг меня собралось много всяких приятных слухов, ни один из которых покамест не проверен. Во-первых, мой собрат по перу Иван Гаврилович Иванов привез из

---

\* Новая собака названа так в честь прежнего любимца.

Таллинна новость, что в "Литобозрении" будто бы прошел анонс, что в первом номере "Нового Мира" за 96 год выйдет моя повесть "Во саду ли, в огороде", которую я в жизни им не посылал, а как она к ним попала - пути Господни. Во-вторых, Глушковская любезно сообщила, что в этом же "Новом Мире" в обзоре русской литературы за прошлый год о Вашем покорном слуге было упомянуто, что в журнале "Грани" прошла "ироническая проза Б. Крячко". Это более вероятно. Значит, мои рукописи все-таки дошли, и я радуюсь этому. Таковы новости.

Благодаря публикации в Тартуской русской газете по случаю моего 65-летия у меня завелся в Тарту корреспондент, писатель-непрофессионал по фамилии Опилатов... Ну так вот: он предлагает мне совместно с ним устроить типографию и независимо публиковать все, что мы с ним напишем. Это верно, типографии мне чувствительно недостает, все остальное есть. Собираюсь с ним познакомиться, когда к Вам приеду - иншалла! - весной или летом.

За сим, целую Ваши руки, дорогая матушка Тамара Павловна, и остаюсь любящий Вас Б. Крячко. Привет всем домашним и знакомым.

*Б. Крячко*

28.3.1996. Пярну, Эстония.

Возлюбленная матушка Тамара Павловна!

Я очень встревожен. Прошу вас, не болейте. Обязательно приеду при первой возможности, на которую рассчитываю в мае. Ингрид через неделю уезжает в Люксембург до мая м-ца, и по ее возвращении - иншалла! - смогу быть у вас. Сейчас я каждый день пишу, п.ч. выдалось свободное время: зима кончилась и теперь вполне хватает не двух печек, а одной, и не всяк день, а через один, а это много значит.

"Края далекие" задержались на десятой главе и нуждаются в дополнительных медитациях: много надо будет убрать и переделать. Тем временем, я занялся "Сценами из античной жизни", которые лет десять, если не больше, ждут продолжения. Там четыре главы готовы набело, среди них любимая ваша "Комиссия", две предшествующие главы рассчитываю сделать вскоре, самая первая, она же самая большая, уже готова, по приезде с удовольствием Вам их вычитаю. В апреле же перепечатаю и улучшу "Во саду ли, в огороде", чтобы отдать Людмиле Францевне, словом, работы много. В апреле приедет из Питера мой брат Олег и немного мне поможет. Здоровье у меня когда как, но курить воздерживаюсь. А бедненький "Реа Пестрый" погиб, - для него нужна теплая комната, а в оранжерее было десять-тринадцать градусусов всего. Попросите Свету, пусть она мне от-

садит череночек, Ингрид тоже о том просит, а я приеду, заберу и буду держать в жилых помещениях.

Тамара Павловна, простите, что ввел Вас в заблуждение, это все Иванов Иван Гаврилович напутал. Словом сказать, ничего в "Новом Мире" моего не было и не должно быть, там прошла обзорная статья о русской литературе за рубежом, где упоминалось об иронической прозе Б. Крячко, которую опубликовали "Грани" в 1995 году, - это меня вполне устраивает. Ну, а я, положившись на слово, как на факт, опростоволосился подобно бахвалу.

Прошу всем кланяться. Обнимаю Вас, целую и желаю здравствовать. Храни Бог всех вас. С наступающей Пасхой и Христос Воскресе! Любящий Вас "старшой" -

Б. Крячко.

13.5.96. Эстония. Пярну.

Дорогая матушка Тамара Павловна!

Вернулась Ингрид от дочери из Люксембурга. Вот бы и ехать в Тарту, но незадача: здоровье. Очень много собралось в крови сахара, порой в глазах темнеет. Теперь меня посылают в больницу, чтобы сбалансировать сахар, и очередность у меня в первых числах июня. Говорят, что ненадолго: неделя, от силы десять дней. Я полон надежд и нетерпения увидеться с Вами, поговорить и поработать, а здешние условия не очень способствуют творчеству.

"Во саду ли" сразу же пошла в набор.\* Я ее выправил и она стала на пять страниц больше. Отдельно поработал над Ельциным. Хорошо бы повесть подать к выборам.

Получил "Вышгород" с "Гласом вопиющего"\*\* и с памятью о Галине Алексеевне, царствие небесное.

По весне крепко донимал меня насморк аллергического свойства. Гостил у меня брат Алька две недели. А об остальном и подробно, когда - иншалла - приеду к Вам недели на три.

Целую ручки.

Ваш любящий -

Б. Крячко.

18.12.1996. Эстония, Пярну

Милая и дорогая матушка Тамара Павловна.

Дней десять, как вернулся из больницы, где лежал с почками (пиэлонефрит) и еще некоторое время отлеживался дома. Теперь сил, как будто, прибыло и меня хватает на одно Новогоднее письмо в день. Прочее время расходую на иные письма. Предпоследняя глава "Сцен" лезет с боль-

---

\* Повесть "Во саду ли, в огороде" опубликована в ж-ле "Вышгород" 3,96.

\*\* "Вышгород" 1,96. Рассказ "Глас вопиющего" посвящен Г.А. Каллас.

шим трудом: я на нее потратил Бог знает сколько времени и переписывал от начала до конца добрый десяток раз. Сейчас более-менее. Стенокардия давит меня безжалостно, хотя бывают дни, когда она меня отпускает, становясь мягкой и незаметной. Письма получаю изредка; не так давно получил от младшего сына Володи. Там кошмарные вещи происходят, в России. Зарплату не выплачивают полгода, живут впроголодь и в полном отчаянии. Да хоть бы пенсией можно было помочь, а то ведь нет, воруют все, кроме писем и телеграмм...

В последних вестях от Вас, невзирая на многотрудную Вашу жизнь и массу бытовых забот, порадовался добрым вестям: перво-наперво, что Андрюша не уехал и слава Богу; что Данил пробился-таки в университет, подумать только, какой молодец, хоть "браво!" кричи; в третьих, что квартира не продана и у меня есть надежда - иншалла! - когда-нибудь по свободе и возможности приехать к Вам и поработать так, как мне нигде, кроме Вас, не работается. Домашние дела берут у меня много времени и сил: один дом топить чего стоит. Ингрид забрала у меня стирку и готовку, она теперь половину недели в Таллинне, половину здесь, затоваривает меня продуктами и что-либо готовит на время своего отсутствия, так что у меня бывают такие дни, когда я часок-другой занимаюсь с самоучителем испанского языка и приближаю давнюю свою мечту, - взять в руки подлинного "Дон Кихота". Благодаря моим недугам, мне и почитать стало доступно. Недавно прочел по-английски книгу моего детства "Принц и нищий" и ощущал себя таким же счастливым, как 55 лет тому назад. Сейчас читаю "Маленький лорд Фаунтлерой" и тоже превосходно себя чувствую. Да плюс к тому мои дорогие кошечки и собачка делают жизнь приятной.

Возлюбленная Матушка Тамара Павловна! Желаю Вам сил и здоровья, дабы пережить лихое время наступившей демократии и свободы, и дай Бог, чтобы Ваши домашние и семейные дела процветали и не были бы Вам в тягость. Поздравляю Вас, Андрюшу, Свету, Данила и всех, кто к Вам придет, с Наступающим Новым 1997 Годом. Желаю также веселого и радостного Рождества. Обнимаю Вас и целую. Привет и поздравления от Ингрид.

Ваш любящий старший сын.

*Б. Крячко.*

2.1.1998.

Дорогая милая матушка Тамара Павловна!

Душевно поздравляю Вас, Андрюшу, Свету, Данила, а при случае Колю, Таню и Веточку с Рождеством Христовым и с Новым Годом 1998. Желаю всем здоровья, благих дел и всяческого благоустройства, а Вам, Тамара Павловна, ми-

лостью Божией еще маленько годков прихватить, потому что в дольном мире Вы нужны больше, чем в вышнем. Напомните обо мне также нашим общим знакомым пожеланием им счастья в Новом Году и сорок сороков всяческих благ, в особенности Марине - она так меня превосходно подстригла, как никто. Я и сего числа свободно возвращаю головой и волосы меня ни мало не беспокоют. Прошу также обласкать крошку Доррис и посвистеть Семену Семеновичу,\* да и прочей живности, буде такая завелась...

У меня по-прежнему. Но не без неприятностей, разумеется. По осени прикинулся у меня далекий палец на ноге (тот, что рядом с большим) и начал портить мне самочувствие: ступня распухла, с трудом в обувь лезла, краснота пошла и жар какой-то, не говоря уже о болевых ощущениях. Я к врачу. - А он говорит "Надо отнимать". Ну, жалко своего, понятно, не казенный, поди, палец-то. "Ладно - хирург говорит - попробуем подлечить". С третьей попытки нашел нужную мазь, снял опухоль, краснота полиняла, в общем все прошло и сейчас - нормально.

Ну, беда одна не приходит: в октябре померла одна из моих муз Талика (Талия) кисанька, а в декабре скончалась по старости кошечка Белинда сиамская красавица, с которой сняты на Вашей фотографии. Словом, число моих друзей заметно убавилось. Осталась по ним вечная память да молитва. Тут еще всякие досады помельче.

А самая большая радость постигла меня в сентябре, когда приехал мой старший сын Саша. Он пробыл месяц и переделал кучу дел: утеплил дом, покрасил окна и двери, сделал стеллажи в подвале, помог Ингрид управиться со сбором фруктов и еще много чего. В том числе из липового бревна, вернее бруска, вырезал деревянную скульптуру и подарил Инес. Тема такова - скрипичный ключ, перевитый лозой розового куста, и на ветке два раскрывшихся бутона, а рядом соловей свои чувства декларирует. Скульптура называется словами романса Кабалевского: "Как соловей о розе" - чистый Восток, ей-Богу...

Для Ингрид он привез готовую вещь: шкатулка в виде головки сыра с надписью "Российский", а наверху, на крышке, сидит крыска и держит в лапках отрезанный ломоть, наполовину съеденный. Шерстка у нее точь в точь натуральная, а на самом деле деревянная, и вид у нее осмысленно самодовольный. Много фотографировал нас с Ингрид. Карточку, где я с собачкой Рикки, посылаю Вам в качестве Новогодней открытки. В общем - это был целый месяц сплошного счастья.

С творчеством ни шибко, ни валко по понятным причинам: быт, работа, мелочи жизни. Начал рассказ "Слово и

---

\* Семен Семенович - не человек, а щегол. - Прим. Т.М.

дело", но он не пошел покамест дальше третьей страницы. Ладно, Бог даст.

Собирался в Петербург, но не получил вызова и не смог съездить повидать родительские могилки. Теперь - иншалла - до лучших времен.

За сим целую ручки, дорогая матушка Тамара Павловна, и храни Вас Бог.

Ваш любящий старший сын -

*Борис Крячко.*

10.5.1998. Пярну. Эстония.

Дорогая Матушка Тамара Павловна!

Очень надеюсь, что Вы дома, в добром здоровье и приподнятом состоянии духа, что Вас всегда отличало от всех прочих прозаических и скучных людей, столь жаждущих общения с Вами и внутренней подзарядки от Вас на более-менее длительный срок. Я хоть и не особо здоров, но жив и вынашиваю корыстные планы приехать к Вам и сесть за письменный стол, дабы творчески воспарить, с ощущением свободного полета и таликая многая. Ей-ей, давно не писал по делу. Нижайше прошу сообщить, Тамара Павловна, когда можно будет приехать к Вам и сделать хотя бы пару рассказов.

Знаете ли, я разочарован новым своим знакомством с Марком Максимовичем и Тамарой Денисовной. Однажды я у них побывал и мы договорились встретиться через неделю на выходной. Получилось по присловью: "Приходите, когда нас дома нет". Раз пришел, два, три - все впустую. Затем пришла Т.Д. и сказала, что сообшит запиской, когда мне можно будет у них появиться и почитать что-нибудь этакое. Мне это не понравилось и я решил больше туда не ходить. Наверное все правильно: на старости лет дружественные отношения не складываются. Да и я себя у них чувствовал не ахти как вольготно.

Страдаю аллергией. Пять носовых платков в день, как накрахмаленные. Сейчас малость полегче. С поездкой за рубеж у меня, возможно, ничего не выйдет: у меня ведь паспорт негра/жданина/, сокращенно - негра, а с таким паспортом в другие страны по большей части не пускают, как Франция, Италия - категорически...

Милая матушка! Вы не беспокойтесь, я сам буду и борщи варить и на базар ходить, и все такое. Очень хочется быть неподалеку от Вас и отдохнуть душой, а я так устал за год, как никогда прежде.

Душенька кончает работу через неделю, и я могу ехать вскоре после того. Целую ручки.

Ваш любящий старший сын -

*- Б. Крячко.*

Всем привет.

30.6.1998. Пярну. Эстония.

Милая дорогая матушка, Тамара Павловна!

Все время день за днем ждал оповещения, что Левушка Гордон\* защитился и, стало быть, можно трогать в Тарту. Но, наверное, что-то не устраивалось, и я не решился ехать наудачу. А сейчас уже не смогу из-за нездоровья: и почки и сердце взяли меня в такой оборот, что я души не чаю поправиться!

Конечно, времени уже не будет, т.к. надо оформлять документы в Люксембург. Но это, конечно, проформа, поскольку приглашение оттуда, а по делу мне надо во Франкфурт-на-Майне, чтобы выручить от редакции "Грани" свой гонорар, поскольку пересылкой и перепиской они не занимаются, и в условиях сотрудничества журнала с авторами стоит условием прибытие автора собственной персоной и личное получение заработанных кровных. Я бы и не поехал, будь возможность перевести деньги из Дрезденского Банка в Ганзейское отделение Пярнуского Банка, поэтому приходится.

Постараюсь быть осторожным и загодя молюсь Богу, чтобы нас было двое, а откладывать поездку на будущее - никак, п.ч. предвижу собственное здоровье не лучше, а хуже.

При хорошем самочувствии, возможно, Божьей милостью заеду в Лондон на недельку-другую, да и назад. По возвращении - иншалла! - загляну к Вам, но не для творчества, а повидать и поговорить - соскучился по Вас ужасно.

На днях Ваш праздник. Поздравляю Вас самым сердечным образом и желаю терпимого здоровья и спокойного житья, а я Вас по-прежнему люблю отныне и вовеки.

Если в чем-то я утратил Ваше расположение, то желал бы его вновь вернуть и когда-нибудь приехать к Вам с творческими намерениями.

Нынешний год абсолютно пустой, я ничего не смог сделать оттого, что заниматься писательством в Пярну никак нельзя - проверено практически. Пожалуй, нынешний год наиболее пустой, бесплодный и пропащий - очень сожалею, но ничего не могу поделать. Остается одна надежда на Бога, что я еще в этом году как-то увижусь с Вами. Всем привет.

Храни Вас Бог, Тамара Павловна.

С любовью и надеждой -

- Б. Крячко.

(Вложена поздравительная открытка.)

---

\* Лев Гордон - сын таллинских друзей Б.Ю. Крячко, в это время учится в Тартуском университете, живет у Милютиных; Б.Ю. ждал, когда освободится комната.

## СОДЕРЖАНИЕ

Л. Глушковская  
*Оборванная сюита*  
**5**

Корни  
*Автобиографические эскизы*  
**9**

Во саду ли, в огороде  
**36**

Сцены из античной жизни  
*Роман*  
**69**

На круги своя  
*Пропущенная глава*  
**231**

Битые собаки  
*Повесть*  
**238**

Глас вопиющего  
**287**

Движение масс  
**292**

Письма к Ингрид  
**308**

“Дорогая матушка Тамара Павловна!”  
**314**

## **Борис Крячко Избранная проза**

В "Избранную прозу" Бориса Юлиановича КРЯЧКО (1930, Курская обл., Красная Яруга - 1998, Эстония, Пярну) вошли произведения, опубликованные в 1990-е годы в журнале "Вышгород" (Таллинн). Прекрасный филолог, в совершенстве владеющий английским языком, Б.Ю. Крячко кем только и где только не прошел по свету. Учитель, гид-переводчик, он увлекался Востоком, влюбился в Среднюю Азию, скитался, "вкальвал" судоремонтником на Камчатке, но как писатель начал воссоздавать свою одиссею в 70-е, в Таллинне, чернорабочим-котельщиком. В Эстонии прожил почти четверть века, в основном в Пярну. В 80-е печатался в местной периодике и за рубежом - в журнале "Грани". В 1989 году в издательстве Eesti Raamat вышел его сборник рассказов "Битые собаки".

Технический редактор-оформитель  
Олег Костанди

Корректор  
Алла МалOVERьян

Издатель:  
Eesti Kultuurikeskus Vene Entsüklopeedia (VE) -  
Эстонский культурный центр "Русская энциклопедия"  
Box 1016, Tallinn 10302

Tallinna Raamatutrükikoda

